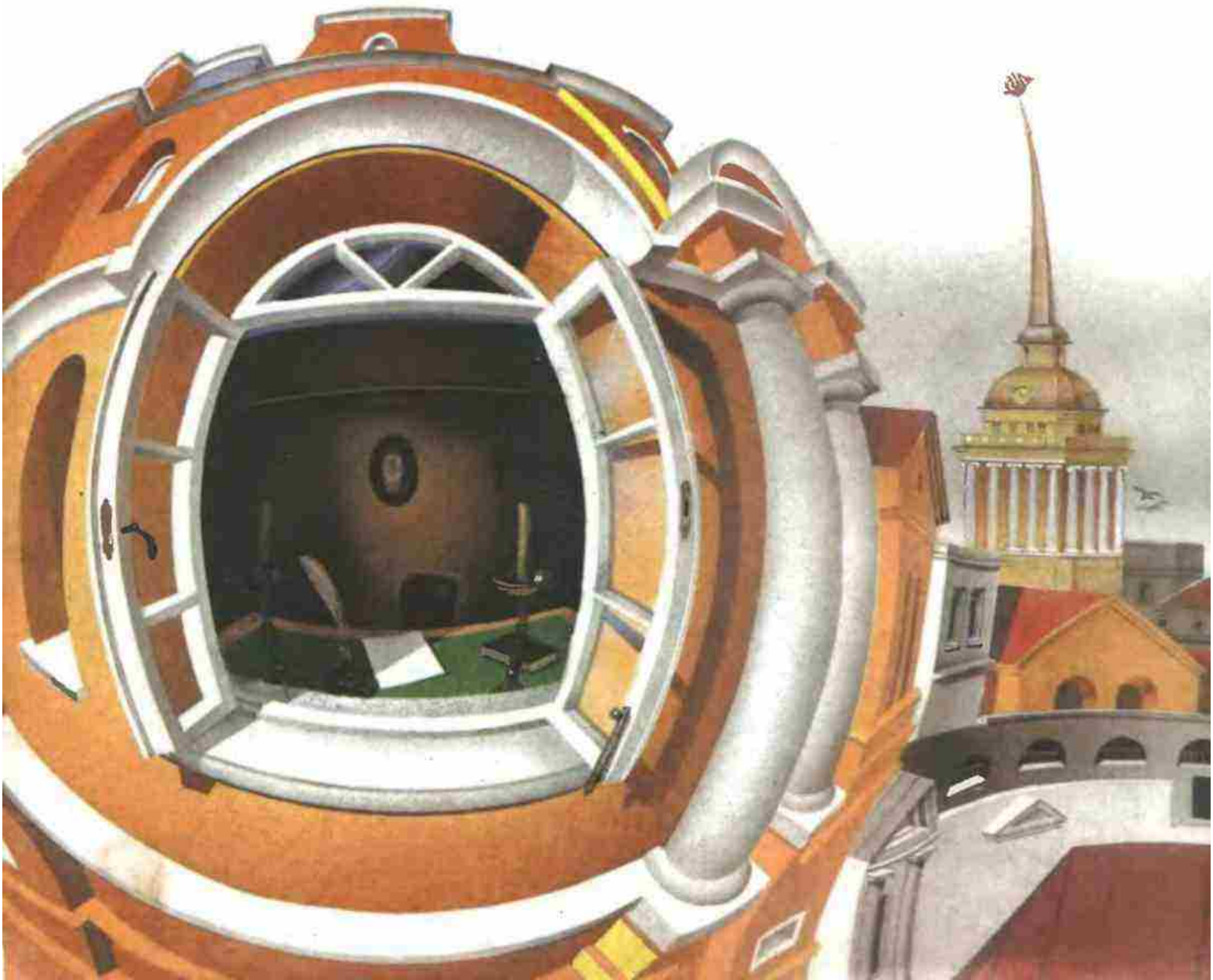
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

6 '89



АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА. 1889-1989 гг.

Комарово. 1964 г.
Фотография Бориса Шварцмана, г. Ленинград.
Публикуется впервые.

ЮНОСТЬ

6 (409) '89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

20 КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Нелинованный лист

Александр ТКАЧЕНКО

Фото Юрия Садовникова.

ВАВИЛОНСКАЯ ПАШНЯ

города города
Помпеи
пепел прошлых чувств засыпает их
ночь
извержение вулкана
осыпаются сны
бродят клошары
над пропастью Сены
слетаются птицы
с хищными клювами
страсть душит мужчин и женщин
в объятьях они засыпают
засыпает их пепел
прошлых чувств
гипс и глина
мрамор и диорит
поглощают все лишнее
для грядущего Родена
волосы Помпеи
погребающие миллионы мыслей
под повседневностью
откровении Иоанна
с прической хиппи
Тихо

В НЕБО ВВИНЧИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛАЯ СТЕНА ВСЕМИРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ РУХНЕТ И ПОГРЕБЕТ МИР...

Каждый день распинается новый Христос
канцелярскими кнопками бюрократа
бабочки подкалываются в гербарии
и заживо усыхают на глазах
холодных исследователей
рыбы подплывают к аквариумам университетских зданий
и просят им поменять воду в мировой акватории
Гомер с ужасом смотрит на свои гекзаметры
в прокрустовых ложах типографий и пытается увести их
назад в Ионию чтобы обкатать на длинных волнах
Времени и Истории
«Челенджер» и «Нахимов» погружаются
в мировые впадины
в разрывы магнитных полей в провалы напряжений

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ

человеческая система дает сбои
люди погружаются в мировые глубины
не осознав сущность трагедии
почему
кожа человека натягивается выступают капельки крови
из пор вместо пота
компьютеры берут взятки
ибо их создают по своему образу и подобию

В НЕБО ВВИНЧИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛАЯ СТЕНА ВСЕМИРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ РУХНЕТ И ПОГРЕБЕТ МИР

речи несут нас по течению и мы не замечаем
окружения
каждый о своем каждый по-своему
нет единой веры нет единой идеи
Помпеи Помпеи
пепел сожженных городов осыпается на наши головы

КОГДА ХОЧЕТСЯ СНЕГА, СНЕГА-СЫРЦА САПОЖНЫХ ГВОЗДИКОВ ТРАВЫ В ГУБАХ ЗЕМЛИ

«в белом плаще с кровавым подбоем»
«с кровавым подбоем»
вот зримая основа тайны происходящего
петля радиации все туже стягивается
под челюстями планеты
и в каждого из нас ввинчивается тяжелая стена
отчуждения и упирается в небо нашего сознания
которое вот-вот рухнет и погребет мир под собою
ибо взрывается только то что внутри
тихие вирусы
бомбы замедленного действия
грехопадения тысячелетий наказаны СПИДом
и папа Римский ужасаясь распадом человека
готов отказаться от кары господней
Африка и Америка похищают Европу вновь
Ракеты всей Земли нацелены друг в друга ДРУГ В ДРУГА
на кнопку компьютера может упасть нечаянная капля
с цветущего дерева после дождя
каждая прицепка сейчас заставляет корчиться в муках
грядущее в неимоверных размерах
ибо кончилось время арифметических прогрессий
возврат очищение только через падение
через смерть

В НЕБО ВВИНЧИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛАЯ СТЕНА ВСЕМИРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ РУХНЕТ И ПОГРЕБЕТ МИР

сейчас нет идей панславизма идей панамериканизма
пандемии мирных выбросов радиации
пандемии нигилизма и насилия
пандемии неприятия непохожести
пандемии психоза сорванных масс
пандемии неосознанных бунтов и сознательного террора
пандемии наркотиков и страха
ибо вавилонская башня из ядерных ракет возводится
в столпотворении
во главе которого всегда
идет блудница
возвещающая что это возводится новая башня Эйфеля
или Пизано
миллионы Везувиев в одной боеголовке
города города
Помпеи
раскаленная лава уже так близка
что природа дает сбои
взрыв Чернобыли
выбросы на африканском озере
горные обвалы Сванетии
гибель трансатлантического парома
люди погружаются на глубины не зная что они близки
к природе
первовзрыва
и может быть им откроется тайна
зарождения жизни на Земле после смерти
раньше думалось что с каждой завинченной гайкой
мир становится крепче
раньше думалось что с каждым отпущенным ремнем
дыхание становится все свободнее
раньше думалось что все уже было раньше
во раньше только впереди
сожженные «ведьмы» средневековья
выгоревшая здоровая
ветвь человечества
кто же тогда мы

В НЕБО ВВИНЧИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛАЯ СТЕНА НЕПРИМИРИМОСТИ КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ РУХНЕТ И ПОГРЕБЕТ ПОД СОБОЮ МИР

восток начинается на западе
запад на востоке
все скручено мировыми течениями
на Земле нет ничего неземного
НЛО парапсихология филиппинская хирургия
будоражат умы свернутые в единую систему
лабиринтов
магнитные бури трясут его ходы
но ни один человек еще не натыкался
на «EXIT»
в результате
в результате выход в начале
в постоянном начале
генетики напали на золотую жилу двойной
спирали
но мысли их только бродят вокруг
создания себе подобного
когда природа делает это ежесекундно
если не мешать ей
но реальность гомункулуса уже
отмутирована на улицах мира
бунтуя против романтической души
не живущей по законам двойной морали
во всех экологических трудах и борениях
забыто что самое беззащитное на Земле
это человек ЧЕЛОВЕК
космонавты взглянули на обратную сторону Луны
но обратная сторона Земли еще не открыта
телевидение забирается в самые заброшенные
уголки
и поэтому в них долго еще не ступит нога человека
чтобы оставить там следы цивилизации и культуры
по нашим пятам ходит Франкенштейн 20-го века
возмездие висит в воздухе

В НЕБО ВВИНЧИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛАЯ СТЕНА ВСЕМИРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ РУХНЕТ И ПОГРЕБЕТ МИР

И когда голодные всей Земли
ведут свои глаза вслед спутникам в небе
звезды стоят на месте
освещая великую пашню Земли
засеивая ее зернами духа
звезды стоят на месте
песчинки Кеплера
в часовом механизме вселенной
звезды стоит на месте ибо все движется
голодные всей Земли вспахали великую пашню
для сытых
ибо сытые всегда стоят на месте
и все вращается вокруг них
и им незачем поднимать свои глаза
к небу
сеять сомнения
делиться
ибо одноклеточные делятся
только в случае размножения
они проникли во все поры мира
и разрастаются разрывая поле
милосердия
сшитое на вырост роду человеческому
но черные ломти пашни лежат взрезанные
плугами сочась дождевыми червями
перегнившими корнями некогда зеленевших
государств
но черные ломти пашни лежат открывая сердцевину
Земли дымящуюся дыханием новой жизни
она прет из глубины
вопреки
но черные разломы женского лона
рождают и рождают
пружинящих человечков
вопреки
напряженью пространства и времени
они тут же выбегают на бесконечные дорожки
краснофигурных киликов и финишируют в наших днях
на асфальтированных дорогах
лавируя меж надменных угарных грузовиков
дети Помпеи дети пепла
дети истмийских стрижей
дети еще не расщепленного ядра
дети неба
еще не напомнившего кубик Рубика
они вырастают мгновенно
и упираются головой
в
ТЯЖЕЛУЮ СТЕНУ ОТЧУЖДЕНИЯ
КОТОРАЯ ВВИНЧИВАЕТСЯ В НЕБО
И ПРОБИВАЮТ ЕЕ
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ

1987 год, июнь.

20 минут

РЖАВЧИНА

1

...«Вскрыть через десять лет, в 1997 году:

Здравствуйте, Александр Витальевич! Поздравляю с 27-летием! Желаю Вам всего самого лучшего, а главное крепкого здоровья и большого тепла в душе!

Товарищ капитан, я уверен, что Вас любят и ценят солдаты и офицеры, как Борейко и Звонарева в «Порт-Артуре». Извините, Александр Витальевич, за сумбурное письмо, но ведь Вы помните, что я явился прямо со стрельбища, в ушах стоит звон и чувствуется усталость, но все-таки я удовлетворен.

Думаю, что Вы не орете матом на подчиненных, читаете художественную литературу, уделяете большое внимание своим сыновьям, которые растут физически развитыми и духовно одаренными, конечно, не пьете и не курите!!!

Ваш план на будущее как сейчас, так и тогда, в семнадцать лет, один: стать Маршалом СССР, а также привести в порядок нашу родную Армию.

...Почему я выбрал эту девушку своей женой? Черт побери, я еще не видел этой девочки, но точно уверен! Она будет красивой, доброй, умной, терпеливой, умеющей хорошо готовить, аккуратной (ну, аккуратности ее научит бабушка Шура), а еще — тактичной...

Кто в классе из девушек может стать хорошей и милой спутницей на всю жизнь? Пишу, что думаю: Шаля, Дятлова...»

Александр АЛУРДОС
10 «Б» класс.

25 мая 1987 г.
г. Никополь

«Военная прокуратура Краснознаменного Киевского Военного Округа 25 мая 1988 г.

Военному прокурору Полтавского гарнизона тов. Блощаневичу В. А.

Направляется для проверки в ходе следствия и разрешения по существу адресованное в Главную военную прокуратуру заявление гражданки Алурдос А. В. по уголовному делу о гибели ее сына курсанта ПВЗРККУ Алурдоса Александра Витальевича.

О результатах расследования прошу уведомить заявительницу и доложить ВП округа.

Военный прокурор следственного отдела В.П.К.О. И. Овчаренко».

Из «Характеристики выпускника 10-го класса средней школы № 9 г. Никополя Днепропетровской области Алурдоса Александра, 1970 года рождения»: «...За особые успехи в начальной военной подготовке награжден грамотой, занимается совершенствованием физподготовки, защищая честь школы в соревнованиях по стрельбе, показывая хорошие результаты. Мечтает продолжить семейную традицию — стать офицером Советской Армии. Целеустремлен, настойчив в достижении цели...»

«19 мая 1987 г. *Исх. № 3/430*

Ваши документы получены. Вы зачислены кандидатом для сдачи вступительных экзаменов в Полтавское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище им. генерала Ватутина. Срок прибытия в училище — 6 июля 87 г...

Начальник отдела кадров».

Из писем Саши Алурдоса:

«9 сентября 1987 г. Сегодня я принял Воинскую Присягу, это значит, что я уже военный человек. А с маленькой или большой буквы — покажет время...»

«Октябрь 1987 г. За оставшиеся полтора месяца 1-й курс так распустился, что начальник училища, когда мы пришли с поля в родное ПВЗРККУ, буквально орал на построении. Из его речи я понял, что таких результатов училище еще не видало, и т. д. и т. п. Но это общие дела, а мои делишки немного лучше. Выбиваюсь в отличники боевой и политической подготовки. Порой в редкие часы самоподготовки моя голова дымится от получаемой информации. Учиться здесь можно, тем более если есть желание. А оно у меня есть».

«Объяснительная записка.

Я, курсант Козлов Роман Валентинович, ходил на квартиру к бабушке курсанта Алурдоса вместе с младшим сержантом Гелеватым и лейтенантом Белюженко...

По прибытии в канцелярию командира дивизиона с курсантом Алурдосом разговаривал командир дивизиона. В разговоре оскорбительных фраз в сторону Алурдоса не последовало, личного достоинства затронуто не было. Весь разговор проходил в спокойных тонах. Командир дивизиона говорил,.. что он, Алурдос, еще ржавого гвоздя не забил, а уже нарушает дисциплину.

20 мая 1988 г. Козлов».

«Объяснительная записка.

Я, сержант Ралко А. В., объясняю следующее: после того, как курсант Хурсенгенов обрезал ремень, на котором повесился курсант Алурдос, пробовал, есть ли пульс... 19 мая, сержант Ралко».

Из писем Саши Алурдоса:

«15 декабря 1987 г. Недавно отказались от ужина. Почему? Да потому, что мы не рождены ходить строевым шагом по льду; мы учимся не в тюрьме, а в вузе, следовательно, мы должны иметь увольнения (так гласит устав). А некоторые из нас два месяца не были в городе. Представляешь, Наташа, сто семьдесят человек как один отказались есть — это грандиозный скандал на все училище. Конечно, потом были жертвы, но «борьба» продолжается (и к великому сожалению), т. к. я уверен, что это ни к чему хорошему не приведет...»

«19 декабря 1987 г. ...Чего мы добились? Каждую неделю, в воскресенье, с 4.00 утра по сигналу «боевой сбор» 1-й дивизион, 7-я и 8-я батареи — первый курс — поднимают по тревоге и полностью экипированными отправляют в тридцатикилометровый марш-бросок. А в увольнения мы теперь ходим через одного...»

«19 января 1988 г. Иногда я задумываюсь о прошлом, какие были раньше офицеры! Вот это были действительно и люди, и военные. В свое время кадет обязан был играть на одном из музыкальных инструментов, знать не один, а несколько иностранных языков, уметь танцевать, разбираться в искусстве и т. д.

Пойми, писать о нашей жизни в ПВЗРККУ я не хочу, так как ты здесь не была и вряд ли сможешь оценить все недостатки и прелести...»

«Военная прокуратура
Полтавского гарнизона
8 июня 1988 г. № 371

(...) В ходе проведенного тщательного расследования допрошены ближайшие командиры и сослуживцы (в т. ч. близкие товарищи) Вашего сына, которые категорически заявили, что каких-либо фактов несправедливого («издевательского») отношения к Вашему сыну в период его службы в училище не было. (...)

Разбор с курсантами допущенных ими грубых нарушений воинской дисциплины (Ваш сын в ночь на 1 мая с. г. совершил самовольную отлучку) входит в обязанности соответствующих командиров (начальников) и не противоречит требованиям воинских уставов.

По результатам проведенного расследования законных оснований для привлечения кого-либо из командиров или других сослуживцев к уголовной ответственности за самоубийство Вашего сына не имеется.

Военный прокурор
Полтавского гарнизона Блощаневич».

Из писем Саши Алурдоса:

«31 марта 1988 г. За короткий период учебы замечаний от командиров не имел, но зато съехал в учебе. Такие сдвиги характерны для всех, кто занимается спортом в нашем родном ПВЗРККУ. Честно говоря, быть последним в учебе для меня никакой перспективы не имеет. Поэтому всеми силами стараюсь установить динамическое равновесие учебы со спортом. После тренировки «забиваюсь» в библиотеку и сижу там до потери пульса (учу лекции), а иногда почитываю зарубежную классику, но это крайне редко...»

Из ответа начальника училища В. Старуна:

«...Кроме того, высылаем Вам несколько копий объяснительных записок курсантов. Надеемся, что Вы, проанализировав этот материал, убедитесь, что Вашего сына никто не терроризировал и грубо не обращался и что он склонен к различным нарушениям — это подтверждает и расследование... Сон у бабушки — это самовольная отлучка, а в канун праздника еще и с политической окраской...».

Из писем Саши Алурдоса:

«22 апреля 1988 г. Здравствуй, мама... Сейчас мой курс на отличную учебу подкрепляется «материально» — оценками. Бабушку вижу редко, но стараюсь почаще ходить в увольнения (этак раз в 2 недельки — стимул для хорошей учебы)...

Вопрос к вам: как у вас обстановка в доме, требует ли она разряжения или, наоборот, необходима подзарядка?

Мама, если тебе не трудно, пиши кой-какие латинские фразы (без перевода), перевод я буду искать сам. Но условие у меня одно: латинские выражения брать из словаря иностранных слов, что лежит у меня в комнате, со следами зубов Вовочки...

Целую, твой сын Саша».

АННЕТА ВАЛЕНТИНОВНА АЛУРДОС:

— 30 апреля Саша был в резервном патруле по городу. После дежурства их отпустили ночевать в казарму, рядом с которой живет бабушка Саши. Вот к ней он и пошел ночевать. В два часа ночи за Сашей пришел патруль, и его увели в училище. Там с ним разбиралось семь человек. «Беседа» длилась два часа (это ночью!). Первого мая в 5.40 утра его без признаков жизни обнаружил курсант Хурсенгенов... Нам сообщили, что он, курсант 1-го курса, Алурдос Александр, повесился... Что же он должен был перенести в 18 лет, чтобы решить уйти из жизни? Но мы не верим! Что произошло ночью? Может быть, ударили в переносицу и убили? Что говорили и КАК? Кто виноват в гибели Саши?..

«Военная прокуратура Краснознаменного
Киевского Военного Округа № 1/1639
22 июля 1988 г.

(...) В связи с поставленными Вами в заявлении вопросами из военной прокуратуры Полтавского гарнизона и ВЗРККУ истребовано и изучено уголовное дело, а также материалы расследования по факту самоубийства Вашего сына. (...)

Следствием установлено, что неуставных отношений к Вашему сыну, что явилось бы причиной для его самоубийства, со стороны сослуживцев не было. Имевшийся в июле 1987 г. конфликт курсантов Бахницкого, Назаренко, Чеснакова с Вашим сыном командованием училища не был оставлен без внимания. Указанные лица за проявленную недисциплинированность отчислены из училища (...)

В материалах уголовного дела по факту смерти Вашего сына достаточно полно и объективно исследовались обстоятельства его смерти; оснований для дополнительного расследования не имеется.

Военный прокурор СО ВП КВО
подполковник юстиции (Ю. К. Софийский)».

«Вскрыть в 2000 году! *Это двум детям, двум сынишкам, «обормотам»:*

Здравствуй, дорогой друг!

Пишу тебе в свои 17 лет из далекого 1987 года. Тебе, как и мне сейчас, семнадцать лет. Все изменилось, но люди как были, так и остались, и хочется верить, что они стали лучше нас.

Я хотел, чтобы ты вырос не только физически развитым, но и духовно одаренным, уверен, что ты любишь Высоцкого Володю, его песни так же верны, как и в наше нелегкое время; ты, конечно, слышал о разных там «перестройках недоделок», и твой будущий отец принимал в этом деле непосредственное участие.

Мне очень хотелось, чтобы ты умел много делать сам, чтобы на тебя равнялись, но и чтобы ты не задирал свой нос. К сожалению, ты так и не увидишь своего прадеда, это был очень хороший мужик, я благодарен ему буду всю свою жизнь. Дай бог, чтобы тебе встретить таких людей — настоящих Человеков,— которых встречал я в свои 17 лет. Как бы там ни было, запомните, товарищ Алурдос: любите людей, и они ответят Вам тем же.

Извини, что плохой почерк. Не говорю до свидания, потому как ты сейчас выйдешь из своей комнаты, и со своими верными друзьями и любимыми родителями, и мы будем вместе веселиться, и будем пить, гулять всю ночь!!!»

Александр АЛУРДОС.
10 «Б» класс

25 мая 1987 г.
г. Никополь

Умные, упрямые глаза и улыбка, которую не спрячешь,— симпатичный парень смотрит на меня с фотографии. Почти год, как его нет. Когда писался этот материал, между родителями Саши и командованием училища, прокуратурой Полтавского гарнизона и Киевского военного округа шло выяснение обстоятельств его гибели. Что же произошло? Прокуратура «за отсутствием состава преступления» прекратила уголовное дело, классифицировав происшедшее как самоубийство. Попробуем исходить из этого. У всего есть свои причины, ничто, тем более такой страшный шаг, не совершается без должных оснований.

Неуставные отношения (доведение до самоубийства)? Но «следствием установлено», что их, «что явилось бы причиной для его самоубийства, со стороны сослуживцев не было»! Круг замыкается! «Оснований для дополнительного расследования не имеется», а на два важнейших вопроса: ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛО? и КТО ВИНОВАТ? (прямо или косвенно) в смерти 18-летнего курсанта, ответа так и нет.

«...Вся моя трагедия еще и в том, что мне 41 год и у меня растет второй сын, трехлетний братик Саши — Вовочка, а сколько ему нужно заботы, внимания, любви, чтобы он вырос достойным старшего брата. А где взять силы, чтобы воспитывать? И как? По-другому я не умею, а если он будет такой же честный и прямолинейный, как Саша, как трудно

ему будет в жизни!.. Вся наша семья — это династия военных, которая 70 лет «стоит на страже» нашей Родины. А я смотрю на младшего — Вовку — и не хочу, чтобы он продолжал нашу семейную традицию...» (Из письма Аннеты Валентиновны Алурдос в редакцию.)

2.

«В армии встречают
Ласково ребят.
Наши командиры
Любят всех солдат.
(Из детской радиопередачи.)

«...29 июня 1986 года наш сын, ПАШКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, член ВЛКСМ, был призван в ряды Советской Армии после окончания первого курса Московского института стали и сплавов.

Однако в учебном танковом полку Забайкальского военного округа, куда для прохождения службы был направлен наш сын, имел место крайне нездоровый психологический климат, усугубляемый антисанитарными условиями. За 2,5 месяца пребывания сына в учебном полку в их части были такие инфекционные заболевания, как дизентерия, гепатит.

10 сентября 1986 года наш сын был госпитализирован в ОВГ 321 в г. Чите с подозрением на гепатит. 16 сентября Юра был прооперирован — ему удалили селезенку. Это явилось следствием ее травмы, которую получил сын в результате удара, нанесенного сержантом. В госпитале наш сын находился по 15 декабря 1986 года, был комиссован ВВК и отправлен домой. 16 декабря он выехал из Читы поездом, хотя мы выслали ему деньги на самолет. Со слов Юры, билет на самолет не смогли ему достать. 21 декабря мы встретили его в Москве.

После тяжелой операции, когда организм еще полностью не адаптировался, пять суток в поезде, отсутствие теплой одежды (его отправили в шинели меньшего размера, легких ботинках) привели к тому, что 22 декабря, на второй день приезда, у сына поднялась температура до 40,9 градуса.

После принятия анальгина и амидопирина у него резко снизились температура и давление: попытка врачей «Скорой помощи» спасти больного ни к чему не привела, и 23 декабря наш восемнадцатилетний сын Юра скончался...» (Из обращения в Военную прокуратуру родителей Юры.)

Из писем Юры Пашкова:

«28 сентября 1986 г. Привет вам, мои дорогие, от вашего сына. Теперь, наверно, нужно рассказать о моем царском быте. Сейчас я нахожусь в хирургическом отделении, а оно находится в современном каменном главном корпусе. В отличие от инфекционного отделения, которое представляет собой деревянный барак, здесь ветер по ночам не дует. Спим мы каждый на своей постели, а не 6 человек на двух койках, как было в инфекции. И вообще палаты здесь максимум по десять больных, а не по 42, как было».

«5 октября 1986 г. ...Операцию мне сделали на селезенке, в бедной моей селезенке был разрыв. Разрыв был, конечно, не просто так, а, видимо, ее мне отбили в роте. Хирурги сказали, что достаточно и одного точного удара...»

Из ответа командира войсковой части Н. ГАРИДОВА, 25 апреля 1987 г.: «...Мне, конечно, сейчас трудно убеждать Вас о том уровне воспитательной работы в подразделении, где проходил службу Юра. Но я должен сказать, что в течение всего 1986 года и 4 месяцев этого года в подразделении, где служил Юра, не было фактов рукоприкладства со стороны сержантов роты. В целом моральный климат в подразделении здоровый...»

Из письма сослуживца Юры, Захарина В. И.:

«...Когда я узнал о смерти Вашего сына, я был глубоко возмущен всей этой волокитой в разбирательстве. Поверьте, уважаемая Маргарита Александровна, я искренне заинтересован в наказании этих извергов. Я не был свидетелем избиения Вашего сына сержантами, но такие «процедуры» происходили со всеми нами... И, что самое интересное, никто за москвичей не хотел заступаться, всем было все равно, кого бьют, за что бьют, лишь бы их не трогали. Наши смоленские ребята держались намного сплоченнее, хоть и нас не любили, как и всех западников.

Единственное, что я могу подтвердить под присягой, что Вашего сына заставили подписать бумагу, что травма селезенки произошла уже в госпитале... Вам, Маргарита Александровна, обязательно надо встретиться с земляками Юры, кстати, они оба (Миша Р. и Ч-ов) были избиты, и не раз, сержантом Т-овым. Не буду утверждать, но я думаю, что именно Т-ов был инициатором всех избиений и, вполне возможно, что он был причиной смерти Вашего сына. С уважением, Владимир. 4 июня 1988 г.».

«Я, Пашкова М. А., обращаюсь к Вам еще раз по делу моего сына Пашкова Ю. Н. Я ждала демобилизации ребят, которые служили с моим сыном в учебном полку, в г. Чите, чтобы окончательно выяснить обстановку в части, которая привела к трагическим событиям, связанным с травмой селезенки и в конечном итоге со смертью моего сына. В самом первом письме, направленном в Главную Военную прокуратуру 16 февраля 1987 г., все приведенные факты о неуставных отношениях в роте подтвердились ребятами, которые служили с моим сыном...» (Из письма Маргариты Александровны Пашковой военному прокурору Читинского гарнизона тов. Маркову В. А.)

«Военная прокуратура
Читинского гарнизона
11 октября 1988 г.

Гражданке ПАШКОВОЙ М. А.
№ 4386

Уважаемая Маргарита Александровна!

По фактам, изложенным в Вашем заявлении от 27 июля 1988 г., нами проведена прокурорская проверка.

В настоящее время предприняты меры по вызову бывших сослуживцев Вашего сына в гор. Читу для проведения следственных действий, после чего будет решен вопрос о возобновлении предварительного следствия по делу о получении травмы Вашим сыном.

О результатах следствия Вы будете уведомлены.

Военный прокурор Читинского гарнизона В. МАРКОВ».

Следствие возобновлено. Больше двух лет прошло со дня смерти Юры. И до сих пор нет ответа на тот же вопрос: кто виноват? И это жажда не мести, а справедливости. Она должна быть найдена. Не так много осталось до нового призыва...

3.

В Саратове трое офицеров и старослужащий жестоко избили солдата, отбив тому печень. Эдуарда С. положили в военный госпиталь и ...не назначили практически никакого лечения. А «провинившихся» офицеров командование «в целях оздоровления обстановки» перевело в другую часть. Только что ушел из редакции отец этого солдата, Арсений Иванович, приехавший «искать правду» в Москву. В Петрозаводске «оригинально» замяли дело о неуставных отношениях: Роман Л., пострадавший от «дедовщины», был... помещен в психиатрическую больницу. «Москва» не подтвердила диагноз, но солдата уволили в запас со статьей «Семь «бэ» (психопатия) и поставили на учет в ПНД...

Я хочу понять, что происходит. Я хочу понять истоки звериной агрессивности тех, кто хоть на сантиметр стоит выше другого в жесткой иерархической армейской лестнице. Я хочу понять, почему, поднимаясь по этой лестнице вверх, человек скатывается глубоко вниз.

Военная прокуратура — в ее руках щит и меч армейского правосудия. Что необходимо предпринять, чтобы щит защищал невиновных, а меч карал за преступление закона?

К несчастью, я не могу поставить точку. Потому что пришла еще одна, до времени постаревшая женщина в черном...

Вероника МАРЧЕНКО.

Пока материал готовился к печати, от Аннетты Валентиновны пришло письмо. Она пишет, что в училище, где учился Саша, произошла еще одна трагедия...

...В Чите состоялось заседание Военного трибунала. За неделю до суда мать Юры смогла познакомиться с материалами дела, в которых обнаружила справку за подписью командира части: «...травма получена в результате неуставных отношений...» Суд признал виновным сержанта Тушемилова по статье 260 А — за «превышение служебных полномочий»...

НА НЕФОРМАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

«БЕЛАЯ КНИГА» И КОНСТИТУЦИЯ

«Сограждане! Товарищество «Марксист» из города Волгодонска начинает новую политическую кампанию по защите Конституции СССР — Гражданское движение за ликвидацию паспортной системы СССР. Мы призываем соотечественников совместными усилиями создать «БЕЛУЮ КНИГУ» нарушений конституционных прав и свобод из-за помех паспортной системы. Мы просим присылать по адресу:

347340, Ростовская обл., г. Волгодонск-23, ул. Королева, 10, кв. 127, Товариществу «Марксист» письма с рассказами о конкретных фактах подобных нарушений прав и свобод со стороны административных органов, предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений, официальные ответы этих организаций, объявления, рекламные афишки, проспекты и другие материалы, подтверждающие, что людям отказывают в поступлении на работу, учебу, в переселении, связанном с изменениями семейного положения. Все эти сведения войдут в «БЕЛУЮ КНИГУ» как неопровержимые доказательства СОЦИАЛЬНОГО ВРЕДА, причиненного паспортной системой нашему обществу. «БЕЛАЯ КНИГА» будет передана в Президиум Верховного Совета СССР. Мы будем добиваться ее публикации...»

АСПИ

АНОНС

ЖУРНАЛ «КВАНТ»: АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ!...

На двадцатом году издания у научно-популярного физико-математического журнала «Квант» появились новые интересные возможности. По предложению группы американских ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии Шелдоном Глэшоу начались переговоры о создании на основе «Кванта» советско-американского предприятия «Квантум», которое будет заниматься переводом статей журнала и книг серии «Библиотечка Кванта» на английский язык, организацией полиграфического производства и распространением изданий в США. Подписанный протокол предусматривает также организацию обмена школьников и другие совместные мероприятия для популяризации физики и математики. Выпуск нескольких номеров «Квантума» в США будет распространяться бесплатно, чтобы окончательно оценить экономические возможности предприятия. Издание будет считаться необходимым только в случае его полной самоокупаемости.

УРОК ROCK-МУЗЫКИ

ДАЕШЬ ФАН-КЛУБ!

Рисунки Дмитрия Кедрина.

«Неформальный клуб любителей рок-н-ролла заявляет: в любой цивилизованной стране существуют десятки фан-клубов или «Рок-н-ролл-кафе» (по типу «Хард-рок-кафе» в Лондоне). Почему их нет у нас? Имеем в виду их серьезность и реальную деятельность (от атрибутики до организации концертов) Пипл! С этим нужно что-то делать! Пишите, звоните, приезжайте.

448-16-89 — Дима; 143-70-32 — Женя, г. Москва».

РЕКЛАМНЫЙ РОДНИК

«Добрая, стройная девушка двадцати лет с трудной судьбой ищет спутника жизни...» «Отчаявшись встретить свой Идеал — симпатичную, добрую девушку,— решил написать вам. Помогите...» Письма с таким содержанием в нашей редакционной почте не редки. Всем нам нужно не так уж много. И, наверное, главное — любить и быть любимым. Остается найти друг друга. Но как найти Его или Ее?

С этим вопросом мы обратились к автору проекта автоматизированной системы поиска идеала (АСПИ), кандидату физико-математических наук Рафаэлу Арамовичу Оганяну.

— Разработкой АСПИ я занимаюсь около тридцати лет, но только в 1982 году в журнале «Студенческий меридиан» впервые рассказал об этой системе. Прежний проект был рассчитан на резкую компьютеризацию общества, внедрение новейшей вычислительной техники в домашний обиход. Поиск идеала должен был осуществляться так: абонент через персональный компьютер с дисплеем подает заявку в Центральный банк женихов и невест и получает на экране вариант фотопартнера. Вы можете анонимно пообщаться с любым вариантом и увидеть, скажем, пятиминутный видеофильм об этом человеке и так далее.

К сожалению, персональная компьютеризация в СССР ожидается не раньше чем лет через 10—15. Как же быть тем, кто ищет свой идеал сегодня? Им и адресован упрощенный автоматизированный проект: на почтовой открытке с фотографией указывается адрес, телефон, национальность, возраст, рост, вес — всего около 30 признаков, а также «требование к идеалу» по той же схеме. Абонент посылает открытку к нам — в межотраслевой молодежный комплекс «Идеал» при Одинцовском горкоме ВЛКСМ. Затем эти данные вводятся в компьютер, и выдается ответ, совместимы ли партнеры.

В теории соответствия, автором которой я являюсь, есть принцип определения «оптимальной пары». «Пара считается оптимальной, если каждый партнер недостаткам другого придает минимальную значимость, а достоинствам — максимальную». Есть и еще ряд принципов, которые лежат в основе программы, подбирающей анкеты. Скажем, при наличии хотя бы двух анкет мы, специалисты из «Идеала», можем с уверенностью сказать, подходят партнеры друг другу или нет.

Так что если вы мечтаете обрести свое счастье, найти Идеал, обращайтесь к нам, и вы его найдете.

Выпуск подготовила Нина ВЕРОНИКИНА.

Лилия ГУЩИНА

Дебют в ЮНОСТИ

Приятели поэта

Он сгинул уже. Они еще снуют,
Хотя таланта след давно простыл.
Раз в пятилетку сборник издают
И занимают важные посты.

Я не в укор. Дай боже, до седин
Дожить в почете и в тепле почить.
Но их так много! Он же был один.
Его не спутать, их не различить.

Следователь

В ботинки утепленные обут,
Он шаркает за хлебом и кефиром.
И ограничен навсегда маршрут
Скамейкою, сберкассой и сортиром.

Годков уж тридцать отошел от дел,
И нафталином пересыпан китель.
Зачем явился и чего хотел
Непрошеный вечерний посетитель?

Не вспомнит ни при встрече ни потом
(Усилия вредны при диабете)
Врача из Витебска, забитого при нем,
В его служебном личном кабинете.

Да мало ли случалось на веку!
Давно и лес, и лесорубы сгинули.
Зачем вы приходили к старику,
Одной ногой стоящему в могиле?

Он выполнял приказ.
Он ни при чем.
Сменились времена, смягчились бури.
Внук у него работает врачом...
А внук того врача — в прокуратуре.

Колыбельная

Слетаются чайками ласки,
Качают на волнах тела.
У полночи легкие ласты,
Как быстро она проплыла!

За окнами, точно акула,
Февральская мечется мгла.
Как старая ведьма, сутула,
Как техник-смотритель, нагла.

Но что нам бездарные козни,
Что корки горелых ковриг.
Когда на груди моей, возле
Души, от щеки твоей блик.

Спи, светлый, твой сон будет соткан
Из лучшего лунного льна,
Покуда ковчег наш высотный
Не вынесет в утро волна.

г. Воронеж

Павло МОВЧАН

В горах

Агаси Айвазяну

И тучи в долину ползут через горы,
наря, как во сне, огибают хребты.
Становится призрачным мир твердокорый,
стоят против ветра из камня кресты...

Во времени необходимость отпала,
исчезли куда-то приметы веков.
Нас только реальность и определяла
рельефностью смысла, конкретностью слов:

кресты и жилища, стоящие сиро,
и воздух, и мы, точно сгустки его,
на грубой поверхности мнимого мира,
что в грунт превращается из ничего...

И где оно, время? Мы с ним незнакомы.
Из грунта течет в пустоту или вспять?
Куда мы? Из дома идем или к дому?
Как время увидеть, узнать, осязать?

Каков его вкус? Вдруг оно сладковато,
как в детстве моем с голодухи пырей?
День, только начавшись, склонился к закату,
в глазах угасали прожилки огней.

А тучи все ниже, и видно лишь ноги,
да комли деревьев, да камни в земле.
Вот так по чешуйчатой шли мы дороге,
вслепую брели в неизвестность во мгле.

По запаху мы распознать не смогли бы,
в какой мы эпохе и сколько идти
от нас до рукастой чернеющей глыбы,
где время сноткнулось и сбилось с пути...

Запахло хлебами, растертым орехом,
и чьи-то сквозь тучу дошли голоса...
Но лиц не видать, лишь доносится эхом:
за кем-то во мгле волочится коса.

«Иван,— я промолвил, унявши содроганье,—
по чуням тебя и узнал, это ты?»
«Но... ты... же... ведь... помер...» — звенело молчанье,
на оклик из мрака шагнули кресты.

Мгла дрогнула под дуновеньем несмелым,
и эхо туман поглотил и роса.
И что-то внезапно взметнулось над телом —
и, чиркнув о крест, зазвенела коса.

☆☆☆

И тучи померкли, насытившись светом,
час пробил химерам обличья менять.
И ночь прибывала за вечером следом,
она меж деревьями крадась, как тать.
Все краски ворун, ночь шла по равнине,
сужала простор, расширяла зрачки.
Мне туч этих самых не видеть отныне —
в дожди превратится, в снега, в ледники.
Где дня окончанье и ночи начало?
Я только что жил в этом конченном дне.
Заречные дали туманом качало,
и тучи сгорали в последнем огне.
Расколоты надвое зренье и разум,
вечерний зазор уплывает в туман.

За проблеском дня, еле видимым глазом,
я гнался с одышкой сквозь мокрый бурьян.
И чертополоха несчетные жала
вонзались мне в тело, кусались репьи.
И мглв, словно птица, встречь мне расправляла
огромные плавные крылья свои.
Меня перенолнили звуки погонн.
Опомнившись, слышал я, миг погодя,
стук сердцв, как будто бы в обе ладони
оно мне вбивало два ржавых гвоздя.

Лечь навзничь в траву...

Нет, не один я, муравьи со мной.
Лежу, снеленут тканью травяной,
п глубину небес вбираю взглядом.
Сухой ручей звенит негромко рядом
и знать дает, что он еще живой...
Чужою равнодушной оболочкой
висит поодаль на суку сорочка,
п я лежу, как спелое одно,
очищенное от плевел, зерно.
Земля родная, как зола, в горсти.
Лежи и ртом зеленым шелести
о том, как жил ты на земле не раз
во времена, мнпувшие до нвс...
И каждый мнг рассвета, мне сдается,
мгновенно сумерками обернется,
а то, что еле вижу в глубине,
уже давным-давно живет во мне.
И корни шевелятся нод снпною.
Пренебрегая тяжестью земною,
мой голос поднимает нменп
тяжелые, вобравшие былое,
но эхо в прах развеет тишина.
Полоска крнка в воздухе видна.
От сырости ржавея, квк кольчуга,
она мне тело спеленвет туго.
Тону в себе и в небе — и со днв
смотрю вокруг, и тихо гаснет зренье.
И так прекрвсно с миром едпненье,
что смерть безлпкая мне не страшна.

Перевел с украинского
С. ГАНДЛЕВСКИЙ

Геннадий РУСАКОВ

☆☆☆

Худое наследство оставил мой род,
а я и его промотаю.
Спустил бы за грош, да никто не берет:
боятся, на грош обсчитаю.
Так что же, радельцы — сядельцы, дьячки,
тамбовско-таерская орава,
лпкбезовцы, ввучн, политруки,
полегшие слева и справа?
Как плотно устелена вами земля!
А я вам на ней не защита:
я сам после вас нвчинаю с нуля,
очесок, дитя общенпта.
Мне горечь взросления губы свела,
я время окликнуть не смею.
И как мне доделывать ваши дела,
когда я своих не умею?

Остввьте мне злую гордывю мою,
мое крохоборное детство!
Инвче зачем я за грош отдаю
свое родовое наследство?

☆☆☆

Ты мне страшна в горячности занала —
любой ценой поставить на своем...
Гы стольких нас, родная, закопала!
а мы опять на очередь встаем.
Возьмешь и нас — прочнее будут корни.
Мы нв земле для этого нужны.
И ничего не может быть просторней
моей огромной ветреной страны.
Но что же ты меня так долго прячешь
и не зовешь меня к своей судьбе?
Твк погоди ж — и ты по мне заплачешь,
как и когда-то плвкал по тебе!

☆☆☆

Холодное лето встает надо мной,
прощальной ладонью колышет.
Я выйду тягаться с огромной страной,
а кто эту тяжбу услышит?
Но как меня кружит азарт-кнпяток,
с носка нвступает на пятку,
тонорщит затылок, острит локоток,
сует кулачком под лопатку!
Российская страсть к невозможным делам
и зуд но вселенским началвм...
Ах, жизнь — о колено, судьбу — пополвм!
И вроде уже полегчвло.
А нет у нас тяжб — мы отспорили, мвть.
Я нросто от этого зуда,
от болн, от воли судьбу поломать:
в битье, грошевая посуда!
Твк пусть нвс окатит и нвземь швырнет,
и кости азартом ломает!
Лишь крови дв воли нвследственный гнет
душа на себя принимает.

☆☆☆

Ну, рвз пошли такпе перемены,
то нам, похоже, все теперь с рукн:
вон чью-то слвву тащим на безмены,
покойникам заштопываем вены
да подшиваем скорбные листки.
Привычные сыновние обряды:
перетряхать отцовское добро,
прикладывать линялые наряды —
гляди-ка, и такому были рады! —
перебирать в серванте серебро.
А немудрено жили-бедовали!
Кругом грешны, но святы в нищете.
Рапортовали, жилы надрывали,
то на конейку гривенник сдавали,
то выбирали нстнны не те.
Конечно, мы, как водится, почище.
Не пуганы, не бпты без вины.
А их лежат немеряные тыщи.
Кудв нн глянь — погост и пенелище
нв нустырях ненстовой страны.
Отцы, отцы!.. Над вывалепной кучей
сиди, суди недожпвших и лги,
что прошлое тебя чему-то учит.
А боль не жжет, и стыд уже не мучит,
и отдвны поспешные долги.

☆☆☆

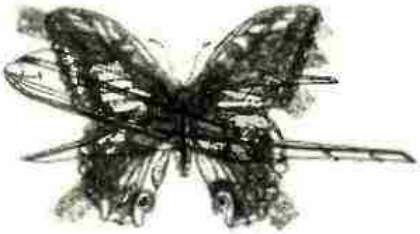
Четырехдневный дождь отморосил.
Пчела доутрамбовывает соты.
Для счвстья нет ни времени, ни снл.
Осталось только время для работы.
Всех позабыл, кого хотел забыть.
Не буду вам ни другом, ни соседом.
Осталось лишь самим собою быть
до приглашенья к гефсимвнским бедам.
Как ломок ноготь и гремуча кость!
В ней ходит воздух, пламенный и жесткий.
Осталось только мужество и злость,
И век, иглой отчеркнутый на воске.

Проза

Василий АКСЕНОВ

ЗОЛОТАЯ НАША ЖЕЛЕЗКА

Юмористическая повесть с преувеличениями и воспоминаниями



Рисунки Ивана Бронникова

К истории публикации

Первый номер журнала «Юность» вышел в июне 1955 года. Очень быстро стал нарастать поток авторов всех возрастов. Уже в 1955—1959 годах по отделу прозы были опубликованы произведения как широко известных писателей — Юрия Германа, Александра Довженко, Вениамина Каверина Льва Кассиля, Валентина Катаева, Юрия Нагибина, Николая Носова, Анатолия Рыбакова, Николая Тихонова и других,— так и молодых, еще никому не известных.

Назовем некоторых дебютантов тех лет в хронологическом порядке публикаций. Анатолий Гладилин — 21 год; повесть «Хроника времен Виктора Подгурского». Евгений Шатько — 26 лет; рассказ «Разъездной инспектор Кашкина». Анатолий Кузнецов — 28 лет; повесть «Продолженне легенды». Владимир Амлинский — 22 года; рассказ «Станция первой любви». Анатолий Приставкин — 27 лет; рассказы «Трудное детство». Евгений Евтушенко — 25 лет; рассказ «Четвертая Мещанская». Назвали мы лишь тех, кто более тридцати лет назад не без робости входил в отдел прозы со своим «нервым детищем». Молод был журнал, молоды были и они. Сегодня известно — из них выросли талантливые писатели.

Об одном из молодых прозаиков расскажем поподробнее.

В седьмом номере «Юности» за 1959 год лаконичная справка: «Автор рассказов «Наша Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги» — врач. Ему 26 лет. Печатается впервые».

Рассказы в редакцию автор сам не приносил и не присылал. Передал кто-то из его друзей. Рассказов было много. Подумалось, что автор не без способностей, и решили два рассказа показать главному редактору — тогда им был выдающийся советский писатель Валентин Катаев. Он полистал страницы машинописного текста, задумался, встал, снова сел. Хвалил Катаев нас редко, а тут вдруг сказал:

— Молодцы, ребята, нашли автора, он станет настоящим писателем. Замечательным.

Обрадованные, мы ожидающе смотрели на него. Почему он так решил? Неплохие рассказы и все!

— Дальше читать не буду. Мне ясно. Он — писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное,— продолжал Валентин Петрович.— Перечитайте одну эту фразу, она говорит о многом: «Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля». Поняли? Сдавайте в набор.

С того седьмого номера «Юности» за 1959 год началась творческая биография Василия Аксенова.

Через несколько дней после выхода «Юности» с его рассказами Аксенов уезжал на военные сборы в Эстонию. Перед отъездом принес в отдел прозы толстую рукопись.

— Почитайте, пожалуйста, а я оттуда позвоню.

Называлась повесть «Рассыпанною цепью». В центре повествования выпускники медицинского института, будущие врачи, начало их самостоятельной работы, когда они после распределения «рассыпались» по стране. Но в трудную минуту жизни они снова вместе, слетаются со всех сторон, помогая тому, кто в этом особенно нуждается. Повесть заинтересовала увлекательным сюжетом, яркими образами героев, красочными деталями. Были у нас, конечно, и замечания, и пожелания. Когда Аксенов позвонил, ему сообщили, что на уровне отдела решение положительное, но прежде, чем показывать руководству, хотелось некоторой авторской доработки. Однотипны, к примеру, Карпов и Мошковский. Да и нужен ли образ Мошковского — он вторичен, иные его поступки и слова дублируют Карпова.

Через несколько дней Вася — так его уже звали в редакции — приехал в Москву. Он решил соединить образы Мошковского и Карпова в один. Получился полнокровный персонаж — доктор Владька Карпов. Два других — Саша Зеленин и Алеша Максимов доработок не требовали. Итак, три товарища! Вспомнилось название популярнейшей в те годы книги Ремарка. Но не повторять же его! И вообще «Рассыпанною цепью» неплохо, но хотелось бы более броское, более запоминающееся название.

Неожиданно в маленькую комнатку отдела прозы вошел Валентин Петрович. Повесть он еще не прочел, но много слышал о ней и доброжелательно заговорил с автором.

— Что задумались?! Говорят, все хорошо! А как называется? Кто герои?

Аксенов — он тогда еще был нерешителен в застенчив — тихо ответил:

— «Рассыпанною цепью», а герои — молодые врачи, три товарища.

— О, друзья мои! — воскликнул Катаев.— Русские врачи издавна называли друг друга «коллегами». Не дать ли такое название повести? «КОЛЛЕГИ» — звучит интеллигентно и ясно.

— «Коллеги», «Коллеги»,— как бы про себя повторил Вася,— действительно, звучит.

В шестом и седьмом номерах «Юности» за 1960 год «Коллеги» увидели свет. Василий Аксенов сразу стал знаменитым. А вскоре он принес в «Юность» роман «Орел или решка?» о десятиклассниках. Острый, почти детективный сюжет, сочно выписанные образы, непростые взаимоотношения героев разных поколений. Жизнь современных подростков без всяких прикрас. В редакции читали взахлеб, отбирая друг у друга странички. Конечно же, немало нашлось и замечаний: что-то нуждалось в доработке, что-то в сокращениях, что-то в стилистической правке. Когда рукопись была готова к сдаче в производство, Аксенов смущенно признался:

— Когда я принес роман в редакцию, я одновременно показал его на киностудии и там...

— Что «там»? Мы уже в набор отправляем.

— Помните сцену в самом конце: Дима после гибели своего старшего брата Виктора приходит в их старый, полуразрушенный дом и ложится на чудом уцелевшие подоконник. Дима знал, что Виктор любил лежать на подоконнике и смотреть в небо, усыпанное звездами. В финале есть такая фраза: «...ЭТО ТЕПЕРЬ МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ». На киностудии роман дали читать Константину Михайловичу Симонову. Он прочел, все ему нравится, кроме названия. По его мнению «Орел или решка?» мелковато и кокетливо. Предлагает назвать роман «Звездный билет»...

Мы согласились с новым названием, но решили все-таки сохранить и «орла», и «решку» в названии первой части.

Итак, снова, уже третий год подряд, в летних номерах — шестом и седьмом — публиковались произведения Василия Аксенова, на этот раз роман «Звездный билет». Аксенов стал знаменитым не только на родине, но и за рубежом. В этом «помогли» и критики. Очень много писали: одни

Фотография эта относится скорее всего ко второй половине 1974 г. В этом году в нашем журнале была набрана «Железка» и... не пошла. А вскоре Аксенов попал в автокатастрофу. Наш постоянный фотограф Сергей Иванович Васин сделал этот снимок не для писательского архива, а для протокола ГАИ. Два неприятных для Аксенова события произошли почти одновременно. С тех пор прошло 15 лет — «Золотая наша Железка» печатается в «Юности». Думаем, что и автодела у Василия Павловича сейчас тоже в полном порядке...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
с высоты 10 000 метров

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

Борис ПАСТЕРНАК

Для того, чтобы начать эту повесть, автору пришлось сильно потратиться, а именно купить самолетный билет от Москвы до Зимоярска. Затем ему пришлось встать ни свет ни заря, чтобы занять место в аэропорту Домодедово, в диспетчерской по транзиту.

Автору важно было разместить большую группу будущих героев, возвращающихся из летних отпусков, в одном самолете, чтобы раскрутить по всем правилам стройную экспозицию. Сейчас он приносит благодарность Аэрофлоту за то, что это удалось без особых трудов и при помощи самого незначительного авторского произвола. Насилие над героем всегда удручает людей нашей тоже гуманной профессии.

Итак, все прошло благополучно: герои умудрились встретиться в огромном порту и получить билеты на один рейс. Довольный автор уже собирался начать спокойное повествование от третьего лица, как вдруг заметил на трапе фигуру в кожаной крылатке, фигуру своего недавнего и неприятного знакомого — молодого «авангардиста» Мемозова, который за последние несколько лет умудрился пробить три бреши в его творческой цитадели. Более того, автору показалось, что сквозь бушующие на аэродромном ветру черные пряди сверкнул дьявольский зрачок Мемозова, а на бледном его лице мелькнула издевательская улыбка в его, автора, адрес.

Что влечет этого неприятного завсегдатая буфетной залы Общества Деятелей Искусств в далекое сибирское путешествие? Ведь не собирается же он в самом деле написать повесть о Железке?

хвалили, другие нещадно ругали, но так или иначе в начале шестидесятых годов имена Аксенова и его «звездных мальчиков» не сходили со страниц газет и журналов.

А «Юность» продолжала печатать В. Аксенова: «Апельсины из Марокко» (1963), большой цикл «Новые рассказы» (1964), «Затоваренная бочкотара» (1968), «Любовь к электричеству» (1971).

«Любовь к электричеству» — историко-революционный, биографический роман-хроника о жизни и деятельности удивительного и сложного человека, одного из ближайших соратников Ленина — большевика Леонида Красина. Аксенов взялся за эту тему не случайно. Тот, кто прочитал в № 4 «Юности» интервью с Аксеновым, поймет, что поиски подлинной справедливости и живых ее носителей для него не пустые слова.

В начале 1973 года Василий Павлович предложил «Юности» новую юмористическую повесть с преувеличениями и воспоминаниями — «Золотая наша Железка». История подготовки ее к печати очень не простая. «Золотую нашу Железку», как и ранее «Затоваренную бочкотару», встретили в редакции по-разному. Нашлись яростные противники и яростные сторонники. Казалось, что победили вторые. Была сделана необходимая авторская и редакторская правка. Тогдашний главный редактор журнала Борис Николаевич Полевой писал из больницы редактору отдела прозы: «Дорогая Мария Лазаревна! Сегодня меня спустили с койки, и я хочу дописать письмо... Речь идет, конечно же, о великолепной, обожаемой Отделом «Железке»... Мне тоже хочется напечатать Аксенова. Может быть, не меньше, чем Вам...» И далее следует ряд советов автору и отделу. А заключает свое письмо Полевой так: «Это программа-максимум. Если хотите увидеть повесть напечатанной, реализуйте ее... А вообще-то взяться бы ему за ум, вернуться к временам великолепных «Коллег», «Звездного билета», «Апельсинов»... Всего Вам хорошего... Ваш Б. Полевой».

Аксенов многое учел и поправил. И написал предисловие, которое должно было облегчить восприятие повести:

«В этой повести, что сейчас ляжет перед Вами, дорогой читатель, автор пытается выразить то, о чем он думал в течение долгих уже лет. Поколение автора, поколение послевоенных мальчиков, сохранившее память об эвакуациях и блокадах, поколение юношей пятидесятых годов и молодых строителей шестидесятых, подошло сейчас к серьезному возрастному рубежу — сорокалетию, за которым начинается полоса других, может быть, самых ответственных лет. Юношеские очарования, увы, остались за кормой, но впереди нас ждут годы напряженного труда, продолжение поиска и новый поиск. Автору кажется, что нужно на миг остановиться, глубоко вздохнуть и наполнить легкие кислородом Родины и подумать, как мы прожили лучшую половину жизни и как будем жить другую половину, может быть, и не худшую. Книга эта и есть для автора такая остановка, такой вздох.

Возможно, главная черта нашего поколения — это преданность своему делу, полное страсти служение этому делу, более того — поклонение своему делу. Именно с этой преданностью и с этой страстью наше поколение поднимало целину, строило огромные сибирские электростанции и города науки, штурмовало космос. Да, ведь именно парни нашего поколения первыми покинули родную планету и первыми прикоснулись к другому небесному телу. Да, ведь Юрий Гагарин и Нийл Армстронг — именно парни нашего поколения!

Конечно, поколение неоднородно, и рядом с одухотворенностью живет еще и бездуховность, дешевый снобизм, тщеславие... В столкновении духовности и бездуховности происходит размышление.

Автор избрал для повествования юмористическую канву, ибо считает, что рядом с юмором размышление выглядит строже...»

Планировали «Золотую нашу Железку» на шестой номер 1974 года. Но, увы, тогда она света не увидела.

Ныне мы рады предложить ее вниманию читателей.

Отдел прозы

Тягостное беспокойство на какое-то время охватило автора, но люки были уже задраены, пора начинать, и он смалодушничал, ухватился за испытанное оружие, за «я» и загудел как бы от лица старшего научного сотрудника Вадима Аполлинариевича Китоусова и в то же время как бы от себя.

Если вы ничего о Ней не знаете, вы можете Ее и не заметить с высоты полета транссибирского аэро. Может быть, ваш безучастный взгляд и отметит небольшую розоватую проплешину среди «зеленого моря тайги», но уж, во всяком случае, вы не прильнете к иллюминатору и не испытаете никаких чувств, если только вы вдруг не почувствуете ничего особенного, что не исключено. Если же вы не только знаете Ее, но и служите Ей уже многие годы, то есть если вы Ее любите, то вы, конечно же, влепитесь в иллюминатор задолго до приближения к Ней, чтобы как-нибудь не проглядеть, и будете волноваться, словно перед встречей с близким человеком или любимым животным, и разглядите все ее составные пятнышки, камешки, прожилки, блестки, и, может быть, вам Она даже покажется не просто близкой, волнующей, но и красивой; может быть, даже с десятикилометровой высоты Она напомнит вам нечто нежное и беззащитное, с крылышками и тонким стержнем-тельцем, нечто вроде бабочки, эдакой терракотовой баттерфляй, изящной и непрочной, как иностранное произведение искусства. Вот она какова с высоты, наша Железка! Все уставились в окошки: Паша Слон и Наталья Слон, Ким Морзицер, Эрнест Морковников и сам Великий-Салазкин, и даже директор нашего торгового центра Крафаилов вместе с женою.

В десяти километрах от Железки, то есть за узенькой перемычкой «зеленого моря тайги», начиналась белоснежная геометрия нашего городка, но на нее-то как раз никто не обратил внимания. Все наши провожали взглядом уплывающую на запад Железку. Одна только моя жена Рита не смотрела в окно. Вот уже битый час она была занята беседой с новым самолетным знакомым Мемозовым. Вообразите, бука Рита вместо обычного своего сигаретного презрительного и «тианственного», именно тианственного, а не таинственного молчания оживленно беседует с чужим мужчиной, кивает ему головой, понимающе улыбается ртом, вырабатывает целые периоды устной речи да еще подрабатывает милой ручкой — поясняет сказанное пленительным жестом, и даже ее неизменная сигаретка весело участвует в диалоге. Чем же ее так расшевелил Мемозов?

Познакомились на свою голову. Ты, Рита, не видишь рядом серьезной драматической натуры, а верхогляды, оказывается, тебе по душе. Ты, Рита, даже не повернула свою нефертитскую головку, даже не скосила продолговатый свой «тианственный» глаз, ты равнодушно пролетела над нашей Железкой, в недрах которой десятилетие назад ты, глупая Рита, помнишь ли, звездочка моя вечерняя...

Десятилетие назад

С диким топотом, словно стадо африканских слонов, неслись по синхрофазотрону мои нейтроны, а я, новичок, еще не кандидат, а лишь романтик тайных физических наук, стоял, прижавшись молодым ухом к вороненой броне, и пытался сквозь этот грубый беспардонный батальонный топот уловить шорохи истинного микромира.

— Мотри, начальник, вухо обморозишь,— ласково сказал мне бесшумно подошедший сзади ночной сторож.— Усе гении давно пиво дуют в «Дабль-фью», а етот усе на стрёме. В твои года я девчат шелушил, а не частицы считал. Подвижники изнемогли от дум, а тайны тоже сушат мудрый ум.

Он снисходительно смазал меня слегка по шее и косолапо удалился в пятый тоннель, а я снисходительно хмыкнул ему вслед и мимолетно удивился человеческому невежеству. Здесь, под моим ухом, за жалким трехметровым слоем вороненой брони шуршат титанические процессы, а этот — о пиве, о девчатах... Даже рубаями рубит! Вот они, полюсы человеческого интеллекта: один сидит под яблоней, развлекает свою нервную систему мыслями о законах тяготения, другой — проникает в глубину соблазнительного фрукта, рвет пытливыми зубами умопомрачительное сцепление молекул. Однако, пардон, пардон, откуда этот типус Хайяма знает?

Все! Зажглась лампа — мое время кончилось. Я вытащил кассеты и куда-то поплелся по огромному, пустому зданию. Теперь вместо топота нейтронов слышались только мои шаркающие шаги, да еще где-то в юго-западном секторе зацокали каблучки: это вступал на арену новый гладиатор — наша аспиранточка Наталья Слон.

В устье шестого тоннеля я обнаружил еще одну живую душу: девчонку-сатураторщицу. Она сидела на железном шестке и читала книгу. «Дым в глаза», как сейчас помню. Не отрываясь от захватывающего чтения, сокровенно улыбаясь шалостям молодого в те дни Гладилина, она нажала что-то нужное и подтолкнула ко мне пузырящийся стакан.

Любопытно, подумал я, для чего к сатуратору сажают девчонку? Неужели я не разберусь, где что нажать, а если для контроля, то неужели я, ученый физик, буду злоупотреблять водой, стаканом, сжатым воздухом?

— Для чего ты здесь сидишь? — спросил я.

— Я люблю одиночество,— ответила она.

Она подняла лицо, и я тут же понял — не зря тут сидит. Затихшая было вода в недопитом стакане вновь закипела. Плотный заряд пахучего воздуха с далекой хвойной планеты пролетел по шестому тоннелю.

— Еще стакан, будьте любезны,— отдуваясь, проговорил я.

Вновь удар по клавишам, органный гул, трепет крыл, и блаженная газировка в кулаке — пей, пока не лопнешь. Интеллигентная девушка с вопросительной усмешкой смотрела на меня. Мне полагалось пошутить. Я знал, что мне сейчас полагается пошутить, а мне хотелось с ходу заныть: «Любимая, желанная, счастье мое, на всю жизнь, Прекрасная Дама». Шли секунды, и страх сегмент за сегментом сжимал мою кожу: если я сейчас не пошучу, все рухнет.

— А на вынос не даете? — наконец пошутил я.

Она засмеялась, как мне показалось, с облегчением. Кажется, она обрадовалась, что я все-таки пошутил и наш контакт не оборвался. Слабосильная шуточка открыла нам головокружительные перспективы.

— То-то, начальник,— услышал я за спиной.— Таперича ты по делу выступаешь.

Ночной сторож, засунув руки в карманы засаленной нейлоновой телогреечки, покачивался на сбитых каблуках, как какой-нибудь питерский стиляга, и возмутительно улыбался в мокрую бороденку.

— Что вам угодно? — вскричал я.— Что это за отвратительная манера? Экое вмикошонство!

— Не базарь, не базарь! — Ночной сторож бочком отправился в смущенную ретираду.— Я ведь тебе по-хорошему, а ты в бутыль! Али для тебя нейтроны дороже такой красавицы?

— Что вы знаете о нейтронах! — крикнул я уже не для сторожа, а для моей Прекрасной Дамы.

— Я ими насморк лечу,— ответил он уже издали, повернулся и быстро ушел, дергая локтями, как бы подтягивая штаны.

— Каков гусь! — воскликнул я, повернулся к девушке и увидел ее глаза, расширенные в священном ужасе.

— Как вы можете так говорить с ним?! Вы, сравнительно молодой ученый! — шепотом прокричала она.— Ведь он сюда приходит по ночам мыслить.

— Кто приходит мыслить?

— Великий-Салазкин.

— Вы хотите сказать, что это он...

КОТОРЫЙ написал три десятка томов три десятка громов чье эхо не иссякает в наших гималаях
КОТОРОГО ум сливается с небом с наукой
КОТОРЫЙ привел в тайгу первую молодежь
КОТОРЫЙ воздвиг на болоте нашу красавицу Железку.

— Ну, конечно, неужели не узнали,— горячо шептала она,— это сам Великий-Салазкин. В шутку он говорит, что лечит здесь насморк шальными нейтронами, а на самом деле мыслит по вопросам мироздания.

— Хе,— сказал я,— пфе, ха-ха, подумаешь; между прочим, не он один по ночам мыслит и, задыхаясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит...

Выпалив все это одним духом, я уставился на целое десятилетие в палестинские маргаритские тианственные, именно тианственные, а не таинственные, глаза.

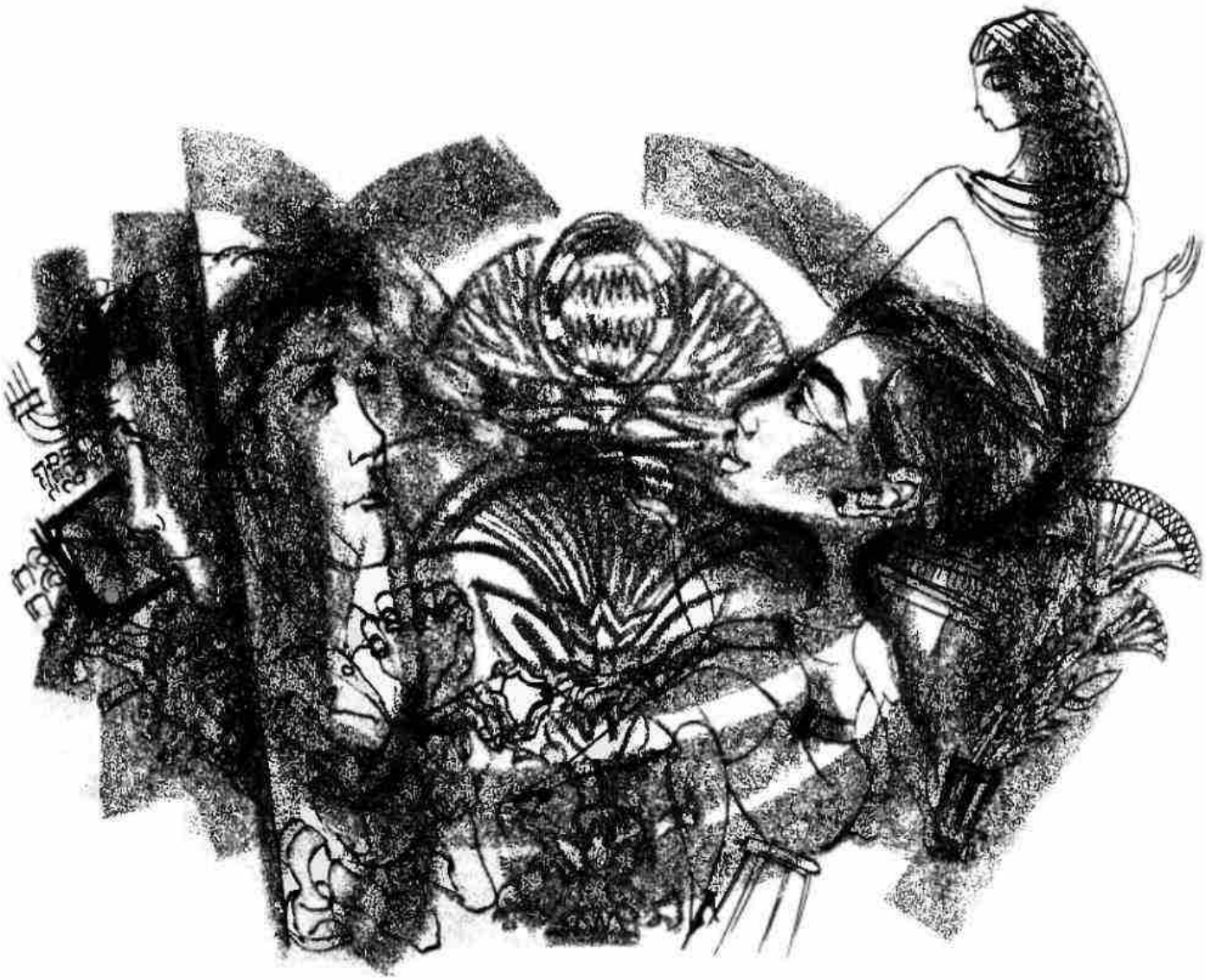
О ветер, полынный запах космоса, газированная ночная мысль моего кумира, которого я сегодня впервые увидел, о девушка за сатуратором, о тайны ночной смены...

— Давайте уйдем отсюда?

— Но кто же будет поить людей?

— Жаждущий напьется сам...

Мы пошли к выходу, держась за Гладилина, объединяясь



его переплетом, электризуя его и без того гальваническую прозу.

В сумраке ничейного пространства из-за бетонного упора вышел Великий-Салазкин. Голова его лежала на левом плече, как у скрипача, а лицо было изменено трагической усмешкой пожилого Пьеро.

— Уводишь, начальник? — спросил он.

— Угадали,— ответил я, плотнее сжимая «Дым в глаза». Кумир — не кумир, а девушка дороже.— Увожу насовсем.

— Не по делу выступаешь,— хрипло сказал Великий-Салазкин.

— А чего же вы держите ребенка по ночам в подземелье? — с неизвестно откуда взявшейся наглостью завелся я.— Неужели нельзя поставить автомат с водой? Вряд ли такую картину увидишь в Женеве, товарищ Великий-Салазкин.

— А теперь по делу выступаешь, младший научный сотрудник Китоусов,— печально, но понимающе проговорил легендарный ученый.

На следующий день в шестом тоннеле уже красовался пунцовый автомат Лосиноостровского сиропного завода, а Рита на ближайшее десятилетие заняла свое место на моей тахте среди книг, кассет, пластинок и окурков.

Молчание ее было тианственным. Суть этого слова еще не совсем ясна нашему вдумчивому, проницательному, снисходительному, веселому и симпатичному читателю, который у нас, как известно, лучший в мире, потому что много читает в метро.

Тианственное молчание пахучими корешками уходит в прошлое, к царице Нефертити, в Одессу, в киоск по продаже медальонов с чудесной египтянкой. Именно здесь девочка Маргариточка получила тягу к прекрасному, к тианственному, и чтение в милом, пыльном отрочестве лохматого тома «Королевы Марго» с «тианственной» опечаткой было первым оргбриллиантом в образе нынешней тианственной красавицы.

Когда впервые, уже на тахте Китового Уса, она прочла вслух: «Ночь проходила в тианственном молчаиии»,— ее молодой супруг долго хохотал, просто катался рядом по линолеуму, а после сказал:

— Утверждаю! Теперь ты будешь тианственной Марго. Это очень в образе!

Ты, Рита, подарила мне за эти десять лет столько счастья, но ты, Рита, так мало подарила мне взаимопонимания, ты лишь вставляла в мои монологи ядовитые реплики...

Вот, к примеру, один наш вечер.

Я, Китоусов: Блаженные мысли нас посещают под утро. Вечер — опасное время для философских забот.

Она, Рита: Глубоко копаешь, Китоус!

Я, Китоусов: Дымный морозный закат над металлозаводом. Химфармфарш вместо облаков. Грозно остывающие внутренние органы, лиловые процессы метаболизма... а в углу, над елочками, над детским садом полнейшая пустынность и бесконечная зима... бесчеловечность...

Она, Рита: А ты не графоманишь, Китоус?

Я, Китоусов: Мысль о случайности рода людского не раз посещала меня в морозный химический вечер. Случайные чередования слов и нотных знаков, случайное пересечение путей, случайность нашей орбиты, одни случайности, без всяких совпадений... зависимость от бесконечной грозной череды случайностей... взрывы на солнце и вирусов тайный бессмысленный нерест, случайные сговоры и ссоры, коррозия отношений, зыбкость биологической пленки — ах, друзья, случайность и зависимость от нее угнетают меня в такие сорокаградусные вечера.

Она, Рита: Ребята, больше Китоусу не наливайте.

Я, Китоусов: Впрочем, ночью где-нибудь в уголке твоего организма может пройти какая-нибудь случайная реакция, и ты проснешься Светофором Колумбом, Фрэнсисом Ветчиной или братьями Черепановыми и по дороге на работу, по

хрустящему насточку, по пушистому лесочку, среди красноносых живоглотов, среди вас, ребята, среди порхающих удодов, тетеревов и снегирей, среди анодов и катодов, жуя хрустящий сельдерей, идя по насту шагом резким и подходя к родной Железке, ты забываешь вечерние энтропические страдания и думаешь о будущем, где исчезнет власть случайностей, где все будет предопределено наукой,— все встречи, разлуки, биологические процессы, открытия, закрытия, творческие акты, где все будет учтено, весь бесконечный, грозный ныне, вызывающий мистический страх конгломерат случайностей, где люди будут жить, сами того не подозревая, под зорким оком и с надежным набрюшником Матери-Науки.

Она, Рита: Я бы удавилась в таком будущем, Китоус.

А ты, Рита, даже и знать не будешь о набрюшнике, ты даже не заметишь, как под влиянием антислучайной регуляции изменится в разумную сторону твой характер, и ты даже не будешь перебивать своего вдумчивого мужа ядовитыми репликами. Ты не будешь столько курить и презрительно букать своими губками, ты будешь преклоняться перед своим избранником и сольешься с ним не только физически, но и духовно, и даже не будешь мучить себя вопросами: «почему я с ним слилась?» — сольешься, и все. И уж, конечно, ты, Рита, не будешь уделять в самолетах столько внимания случайным, именно случайным, попутчикам, быстроязыким верхоглядам, у которых ротовая полость похожа на шейкер для смешивания небезвредных коктейлей.

Рассуждая таким образом и вспоминая прожитое, Китоусов, разумеется, не шевельнул ни одним мускулом лица. Откинув голову и прикрыв веки, он плыл в вечно-синем пространстве, и желающие могли сравнить его простое и чистое, весьма одухотворенное лицо — с пошловатыми бачками, претенциозными усиками, блудливой эспаньолкой, шустрыми суетными глазками Мемозова, сравнить и дать Вадиму Аполлинариевичу большую фору. Однако жена Рита лишь презрительно щурилась левым глазом, как бы ничего им не видя из-за выпущенных ею клубов дыма, правым же — внимательно внимая дерзким речам авангардиста:

— ...а вам, Маргарита-плутовка, следует помнить о зловещей роли вашей тезки в плачевной судьбе магистра Кулакова, вступившего в непродуманную коллаборацию с нечистой силой, представитель которой Мемозов-эсквайр ныне касается вас своим биологически-активным локтем...

Итак, горело уже табло, и сосали аэрофлотовские карамельки пассажиры, и среди них было и несколько ученых, жителей знаменитого во всем мире научного форпоста Пихты, излучающего на сотни таежных километров вокруг себя прекрасное сияние футурума.

Вот генетик Павел Аполлинариевич Слон, седой и все еще молодой, невероятно тренированный физически и в нервном отношении незаурядный человек. Он возвращался в Пихты из подводного царства, из сумрачных глубин, из гротов и расщелин подводного вулкана, возвращался отчужденный, отстраненный, со смутной дельфиньей улыбкой на устах. С этой улыбкой он и встретил случайно в домодедовском буфете жену свою Наталью, которая возвращалась из отпуска, но не из глубин, а с высот, с заоблачных вершин, с седловины Эльбруса.

Надо ли говорить о том, как прекрасна была красиолицая слаломистка и как бледен, зеленоват был аквanавт. Единственным, что объединило супругов в момент встречи, были легкие симптомы кессонной болезни, которые они почувствовали, увидев друг друга.

— Наталья, да ты озверела совсем! — возопил муж, быстрыми шагами приближаясь к жене.

— Пашка, да я тебя придушу! — воскликнула жена, вьюном стремясь к мужу между тумбами буфета.

Многие пассажиры, ставшие свидетелями встречи этой зрелой, то есть почти уже немолодой пары людей, умилились и усомнились в ценности своего собственного багажа: в сладости сабзы, кишмиша и зеравшанского винограда, в пухлости мохера, в эластичности европейских кожзаменителей.

Загорелая Наталья развалила свои выцветшие патлы по плечу зеленоватого гиганта. Ах, черт дери, озверела она совсем: без предупреждения встречает мужа в аэропорту. Разве же так можно? А вдруг он с глубоководной русалкой? И он тоже хорош: носом к носу столкнуться с супружницей в последний день отпуска! Отпуск — дело святое. А вдруг какой-нибудь малый ее провожает, какой-нибудь Черный Альпинист с Ушбы? Так они покачивались в объятии, ворча традиционные для их поколения упреки, за которыми слышалось другое: ах ты, балда эдакая, да как же так можно — за целый месяц ни одной телеграммы, ни одного звонка, ни единого лучика в небе, ни единого пузырька на поверхности.

Павел Слон был представителем стареющего поколения научных суперменов, которые лет двадцать — пятнадцать назад стали героями публики под лозунгом «что-то лирики в загоне, что-то физики в почете». Эти загадочные небожители, пионеры новых видов спорта, давно уже никого не интересовали, давно уже стали объектами снисходительных усмешек, но Слон все еще держался в образе: грубыми словами камуфлировал нежность к своей подружке, сохранял в душе святыню юности — «хэмовский айсберг», на четыре пятых скрытый под водой, изнурял себя аквалангом, часами слушал устаревшие бибопы, скалил зубы на манер покойного Збышека Цибульского.

Иногда он вдруг наливал себе чаю в большую кружку, пускал в рейс ломтик лимона, втягивал жгучий напиток, который втайне любил гораздо больше всяких там суперовских «спиртяшек», «колобашек», «кровавой Мэри», и долго смотрел на читающую, вооруженную сильными линзами Наталью, тихо грустил, созерцая ее слегка уже отвисшую щеку, и ждал момента, когда она поднимет голову и сквозь ее маску сорокалетней усталой и уверенной в себе физикессы вдруг робко проглянет та девочка, лучшая девочка их поколения, поколения пятидесятых, что прошлепало драной микропоркой на закат, по Невскому к Адмиралтейству, и испарилось в кипящей пронзительно-холодной листве.

В конце концов смирись

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти,—

прочел я напоследок, закрыл книгу, сунул ее в баул и подумал о вечно юном поэте: как он юн! Какие нужно иметь ноздри, чтобы сохранить до седин юный нюх! Какова свежесть слизистой оболочки и нежность мерцательного эпителия! Истинный запах леса, дождя, женщины, типографской строки, истинный запах смысла может уловить только поэт. Когда ты ловишь этот смысл, ты становишься молодым. Увы, нам, смертным, даруются природой лишь редкие озарения.

Однажды в тишине своей трехкомнатной комфортной юдоли я читал американский роман. Я лежал плашмя на тахте, вяло читал не очень-то энергичный роман и чувствовал себя разбитым. Истекал очередной напряженный до предела день, в течение которого мозг мой трудился, стремясь достичь подобающих моей зрелости высот, а потом и мышцы мои трудились на хоккейной площадке, стремясь обмануть природу. Сейчас я лежал, расслабясь, слыша, как сквозь вату, голоса детей и веский голос из телеящика, голос нашего ежевечериего гостя, очередного вервольфа, и, словно сквозь слой воды или сквозь толстое мутное стекло, следил за движением некоего расплывчатого пятна, которое было не кем иным, как героем американского романа.

Герой двигался по Елисейским полям, и они, эти поля, тянулись в моем усталом сознании какой-то бесконечной черствой коврижкой из кондитерской Елисеевского магазина. Герой думал о двух женщинах, сравнивал их, страдал, но я никак не мог разлепить этих женщин, отделить их от Елисеевского магазина, сравнить их со страданием героя и для масштаба приложить к страданию ладонь.

Как вдруг я прочел обыкновенную фразу, очередную фразу повествования, отнюдь не выделенную каким-либо типографским излишеством и вроде бы не смазанную изнутри ни фосфором, ни рыбьим жиром. Кажется, эта фраза звучала так: «Когда он вышел из кафе, ему показалось, что наступил вечер. Сильный северо-западный ветер нагнал тяжелые тучи и теперь в неожиданных сумерках раскачивал деревья вдоль Елисейских полей».

Меня вдруг судорогой свело. Вдруг меня скрючило всего от мгновенного ужаса и восторга. Я вдруг все это увидел так, как будто это я сам вышел из кафе на Елисейских полях. Столь пронзительное и незримое временем мгновение, ярчайшая вспышка, озарившая сумерки, тяжелые тучи, качающиеся ветви, стадо машин, толпу на широком тротуаре и отчетливый запах этого мгновения... Контроль-

ное устройство в мозгу, охраняющее нас от поэтического безумия, тут же щелкнуло, и видение было изгнано, шквал пролетел, но студенистые волны еще качались, и я вскочил с тахты и даже не успел опомниться, как оказался за стойкой бара в «Дабль-фью» и уже что-то болтал, что-то возбуждению насвистывал, мне хотелось куда-то улететь, где-то шляться, кого-то искать... Следует сказать, что вовсе мне не хотелось в этот момент на Елисейские поля и уж тем более мне не хотелось стать героем американского романа. Просто я в этот счастливый и страшный миг неизвестно по какой причине вдруг увидел от начала до конца все содержание этой простой фразы. Так вот бывает и в отрочестве, когда внезапно и мгновенно осознаешь истинный знобящий смысл влажного весеннего склона, черной мясной земли, папоротников и «куриной слепоты». Осознаешь и тут же теряешь это осознание.

Хорошо, что теряешь. Что было бы с человеком, если бы он трепетал от каждого запаха, музыкального звука или фразы? Если бы депрессия и восторг бесконечно раскачивали его, как килевая качка в шторм. Ведь он не смог бы тогда логически мыслить, не смог бы заниматься своим делом, воспитывать своих детей, гладить брюки, получать зарплату.

Как хорошо — неизбывная горечь: никотином и алкоголем ты сушишь гортань и ноздри, а житейские катары превращают тебя в матерого трудягу, диоптрии здравого смысла усмиряют буйство глаз, а дренажная система пятого десятка отлично справляется с половодьем чувств. И ты колупаешь диетическое яйцо и отводишь взгляд от аквалангa, ластов и гидрокостюма.

В конце концов смирись, говорю я себе, ты никогда больше не будешь молод. В конце концов есть в твоей жизни еще кое-что, кроме былых восторгов. Есть твои маленькие мужички, три сына — тройка нападения. И есть еще нечто — подсвеченный в ночь портал Железки, и там, за проходной, твой алтарь, жертвенник, ложе вечной любви. Пусть наши девочки стареют, но за воротами Железки отливает оловом и перламутром вечная клеопатра, муха Дрозофила, мать мутаций.

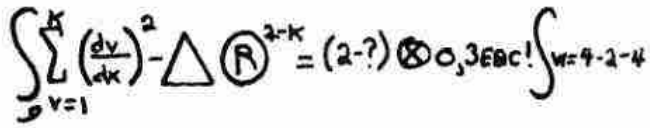
Тут Павел Аполлинариевич улыбнулся своим мыслям, подмигнул своей Наталье, замурлыкал мотивчик «Гринфилдс», поиграл для душевной гармонии мускулами брюшного пресса и попросил своего соседа, математика Эрнеста Морковникова, сообщить, который час, какой день недели, месяц, год и «какие милые у нас тысячелетия на дворе».

Эрнест Аполлинариевич с фальшивым равнодушием взглянул на свои часы и не без скрытого удовольствия сообщил Слоану все эти данные и, кроме того, барометрическое давление, затем собственное артериальное давление, температуру своего тела и счет пульса.

Удивительные часы были призом, который принесло Эрнесту Морковникову его недюжинное дарование на весенних математических играх озера Блед. Не более сотни этих удивительных аппаратов было выковано фирмой Лонжин для выдающихся особ нашего времени, не более сотни. Кроме перечисленных уже свойств, часы Морковникова обладали и еще какими-то уже не удивительными, а удивительнейшими, неясными еще владельцу свойствами. В частности, они действовали на психику и вегетативную нервную систему в самом положительном тонизирующем смысле.

Эрик стал действительным академиком в неполные двадцать пять, а в неполные тридцать исписал своими отечественными и иностранными титулами целиком школьную тетрадку своего сына. Он все начал рано и всего очень рано достиг. Он был вундеркиндом и стал вундерменшем. Он был несказанно популярен и не только как гениальный математик, но и как личность, как обаятельный джентльмен, борец против загрязнения окружающей среды.

Но все-таки он был гениальным математиком и, увы, ничего не мог поделать с этим своим качеством. Это качество порой не только не помогало ему, но даже и мешало, выставляло порой в нелепом и смешном виде, ибо принимало характер мании. Председательствуя, например, однажды в консультативном подкомитете ЮНЕСКО по вопросам экологии, стоя под софитами в белом старинном зале с тончайшей резьбой по мрамору, Эрнест Аполлинариевич вдруг заметил в галстуке пакистанского коллеги заколку, похожую на дальнейшее сползание сигмы к катеноиду удлиненной под вечер тройной альфы в кубе обычной урбанической дисгармонии банахового пространства, откуда следовало, что



о чем он и сообщил изумленным коллегам по борьбе.

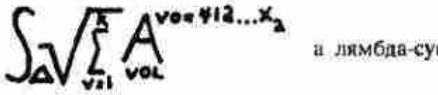
Вот и сейчас в комфортабельном кресле наиновейшего аэро, предаваясь приятным воспоминаниям о недавнем отдыхе и наводя порядок в своем кейсе, Морковников вдруг почувствовал подкожный гул и мощные под печень толчки крови, отрабатываемой любимой математикой.

Письмо к Прометею

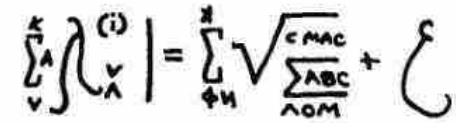
Скрипнув зубами, я написал под анкетой журнала «ВОГ» свою сигнатуру, вложил анкету в именной конверт, приклеил марку «Семидесятилетие русского футбола».

Проклятая марка без всяких оговорок и намеков говорила, вернее даже не говорила, а вопила об углублении синусоиды кью в противозвездном противолунном кабацком пространстве.

О Боги Олимпа! ∝ и & ты, Прометей, кацо, душа лубезный, за что мне такие муки? и неужели



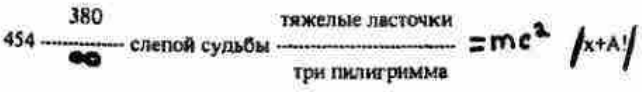
а лямбда-сука убежала с пропущенным пропуском через проходную в дебри окаменевшего за четыре столетия винегрета, чтобы снова выплыть уже как



дважды или

не упирайся!

О батоно, ты помнишь ту непристойную картину[1], где четверо тигроподобных усачей в трико играют в регби двое голубых и двое оранжевых один из них вполне пенсионер как они под неспокойным и прохладным небом в кустах лаврового листа который мы с тобой о Прометей с таким риском на рынок в Олимпию возили пусть так. Пусть так! Ах так, месье Руссо? Как мы с тобой смертельно рисковали, генацвале, а они — гоняют мяч без всяких выражений молча в нелепых позах с кошачьими порочными мордашками рантье пускай теперь текут в водораздел родиой Железки измельчаясь в состав молекулярный и внедряясь в обмен веществ Сибири необъятной — адью! — и вот на память



мученья печени, истерзанной орлами... там на Кавказе, помнишь,

[1] Имеется в виду известная картина Анри Руссо «Футболисты».

потери — я ухожу, захлопываю двери: сперва фанерную, дубовую потом, потом цемент, потом асбожелезо, теперь броня и цинк, и алюминий... я наконец убрался в уединенный сейф в родной Железке, в которой я плюю на все анкеты журнала «ВОГ» и Литгазеты унылые вопросы оставляю за проходной и шлю тебе привет, вот эту птичку

Ох, оох, уух и на этом спасибо, дайте воды... мы, кажется, проходим облака? Что-то тряхнуло? Не обращайте внимания, однажды я летел в Перу, так нас так тряхнуло, как... как... как в автобусе, знаете ли... Вам приходилось, должно быть, ездить в автобусе? Прошу вас, это дурно — заглядывать в чужие бумаги... да я нарисовал птичку... дайте воды... ах, вы из молодежной газеты? Сейчас, я отвечу на все ваши вопросы.

— Простите, Эрнест Аполлинариевич, который час? — спросил корреспондент, чтобы сделать академику приятное.

Морковников сквозь ресницы посмотрел на свой чудесный аппарат:

— Восемнадцать часов двенадцать минут Москвы. Соединив эти цифры, опытный журналист получит дату Бородинской битвы. Пульс 200 ударов в минуту.

Уже давно все были привязаны и курение прекратилось, когда из туалета выскочил человек и непринужденно пошел по снижающемуся в тучах коридору.

То ли полноватый, то ли малость отекший, то ли кудрявый, то ли нечесаный, то ли малость «с приветом», то ли «под мухой», то ли нарочито художнически расстегнутый, то ли потерявший пуговицы, то ли еще не старый, то ли уже не молодой, то ли застенчивый, то ли просто смурняга — человек этот своей неопределенностью корябал нервы приличной публике. Это был, конечно, Ким Морзицер, кинофотомузлиткульт-работник из клуба города Пихты, зачинатель всяческих зачинов, новшеств, нестареющий искатель новых форм, прожевавший осколками зубов не один десяток сенсаций, бескорыстный ловкач, основатель поликлуба «Дабль-фью», словом, законченный неудачник, разменявший личную жизнь на молодежное движение шестидесятых годов.

— Риток, есть инфернальная идея,— с напускной бодростью сказал он, зацепившись за кресло, в котором столь картинно снижалась ленивая активистка и первая красавица Пихт Маргарита Китоусова. Снижалась, покачивая ногой, или, если угодно, покачивала ногой, снижаясь, что вернее.

— Ах, Кимчик, сядь, пожалуйста,— досадливо отмахнулась красавица. Она изо всех сил не обращала внимания на Вадима Аполлинариевича, спускающегося в одиночку в гипсовом скорбном величии.

— Моменто, синьоре! — вдруг воскликнул ее новый знакомый, пружинистый динамичный Мемозов и ухватил Кима за коротковатый полузамшевый полуподол.— Идеи, рожденные в самолетных чуланчиках, стоят недешево! — Он пронзительно улыбался, глядя снизу на отвисающие сероватые брыла и старомодный узенький галстук пихтинского пионера новых форм. Чуткий нос Мемозова сразу уловил запах соперника, а зоркое око сразу оценило его слабость, полнейшую беззащитность перед мемозовским авангардным напором. Все знал Мемозов наперед, все эти кимовские идеи: спальные мешки и вечера туристской песни, фотомонтажи и капустники, и синтетическое искусство, и кинетизм, и джаз, и цветомузыку, и все это старо-новосибирское мушкетерство. И всего этого старомодного новатора он видел насквозь, а потому сейчас дерзко накручивал влажную полузамшу на свой палец и готовился одной фразой сразу покончить с жалким соперником, чтобы больше уже не возиться.

Однако стюардессы помешали Киму изложить идею и таким образом сразу рухнуть к ногам Мемозова. Ким был усажен в кресло, пристегнут и усмирен леденцом. Вначале обескураженный, а потом тронутый и даже слегка возбужденный женской заботой, Ким бормотал, бросая лукавые взгляды плененного фавна:

— Да что вы, девчонки! Кого привязываете? Кому леденец? Да я, девчонки, с Юркой Мельниковым летал в ледовом патруле от Тикси до Кунашира. Да я, девчонки...

Стюардессы с холодным спокойствием смотрели на него, а он вдруг осекся, вдруг замер, как бы новым взглядом увидел воздушных фей своего воображения, столь популярных в недалеком прошлом героинь молодого искусства, этих «простых девчонок из поднебесья», и тут все сто четыре страницы его любви отщелкали, как колода карт в тугом кулаке. Морзицер даже рот открыл.

— Эх, девчонки!

— При засасывании взлетно-посадочной карамели глотательные движения помогут вам преодолеть неприятные ощущения, гражданин.

Стюардессы удалились, а Ким вслед им уважительно хохотнул, давая понять, что оценил невозмутимость и чувство юмора, хотя никакого юмора в служебном глотательном напутствии не было. Он подумал, что всегда в самолетах будоражит себя какими-то несбыточными надеждами, стереотипно романтизирует бортовую проводницу, и какой-то быстрый, но болезненный стыд пронизал его.

Впрочем, пронизал — и улетучился. Ким движением лица прогнал этот мимолетный стыд и стал смотреть на мокрую черную рвань, сменившую за окном фантастическое зрелище высотного заката. Он попытался подумать о своей новой идее, но тут обнаружил, что идею начисто забыл, помнил лишь, что она, как и все его прочие идеи,— сногсшибательная. Вдруг снова какое-то неприятнейшее чувство, словно тошнота, стало подниматься, и все выше по мере того, как он вспоминал что-то смутное — какие-то чужие лица, недоуменные взгляды, странные улыбки; и вскоре стало ясно, что тошнота эта — тоже стыд, но уже большой стыд, от которого не отделаешься, даже если встряхнешься всей шерстью, по-собачьи.

Сегодня утром в круговерти аэровокзала к нему подошел некто в лихо сдвинутой и сильно истертой за полтора десятилетия кепочке-букле. Некий нетипичный человек, истертый и лоснящийся от истертости франт пятидесятых годов с отекшим лицом и с красными слезящимися глазами.

— Послушай, друг, сделай мне одолжение на одиннадцать копеек,— обратился он к Морзицеру.

Он смотрел на Морзицера нетипичным смущенно-насмешливым, но совершенно независимым взглядом, и глаза его слезились, но не от жалости, и голос дрожал, но не из подобострастия. Он стоял перед Морзицером, большой, оплывший, но еще сильный, совершивший в своей жизни множество гадких поступков, усталый, опустившийся, но все-таки еще на что-то годный и чистый. Он смотрел на Кима добродушно и заинтересованно, совсем не с точки зрения одиннадцати копеек, но все-таки надеясь получить эту небольшую сумму.

— Врать не буду, старик, не на билет и не на бульон для больной мамы прошу,— зябко, со всхлипом сказал он, запахиваясь в просторный и старый, но не потерявший еще формы и даже некоторого шика пиджак.— Сам видишь, старик, какое дело. Весь дрожу, старик, в глазах туман.

— Понятно, старик! Ясно! — с готовностью воскликнул Ким и суматошно завозился по карманам.— Мне-то можешь не объяснять. Сочувствую тебе, старик, сам не раз...

Эх, черт возьми, как пришлось тут по душе Киму это свойское словечко «старик». Ведь так не обратишься к чужому человеку, к постороннему. Так можно сказать только своему парню... мужское московское братство... «Старик» — и все понятно, не надо лишних слов. Он вынул горсточку мелочи и протянул просителю.

— Бери, старик, забирай всю валюту. Бери, не церемонься, мы люди свои. Я и сам не раз переворачивался кверху килем,— зачастил Ким, и тут его понесло.— Да что там, старик, мне ли тебя не понять, ведь мы одной крови, ты да я. Ведь ты, старик, родом из племени кумиров. Ты был кумиром Марьиной Рощи, старик, в нашей далекой пыльной юности, когда торжествовал континентальный уклон в природе. Ты был знаменитым футболистом, старик, сознайся, или саксофонистом в «Шестигранниках»... Бесса ме, бесса ме мучо... или просто одним из тех парней, что так ловко обнимали за спины тех девчонок в клеенчатых репарационных плащах. А что, старик, почему бы тебе не рвануть со мной в Пихты? Хочешь, я сейчас транзистор толкну и возьму тебе билет? Сибирь, старик, золотая страна Эльдорадо...

молодые ученые, наши, наши парни, не ханжи, и никогда не поздно взять жизнь за холку, старик, а ведь мы с тобой мужчины, молодые мужчины,— что, старик? Ты хочешь сказать, что корни твои глубоко в асфальте, что Запад есть Запад, Восток есть Восток? А я тебе на это отвечу Аликом Городницким: «И мне ни разу не привидится во снах туманный Запад, неверный лживый Запад»... извини, старик, я пою... Старик, ведь я же вижу, ты не из серой стаи койотов, ты и по спорту можешь, и по части культуры... а хочешь, я устрою тебя барменом? Выше голову, старик... друг мой, брат мой, усталый страдающий брат...

Его несло, несло через пороги стыда, по валунам косноязычия, бессовестным мутным потоком пошлости, графомании, словоблудия и неизбывной любви, жалости, воспоминаний, а впереди поблескивало зеленое болото похмелья.

— Я беру у вас одиннадцать копеек,— вдруг холодным чужим тоном сказал «старик», «кумир Марьиной Рощи», будущий верный спутник в золотом нефтеносном Эльдорадо, и Ким сразу прикусил язык, понял, что зарвался.

— Да бери всю валюту, старик,— пролепетал он.— Бери все сорок восемь.

Мясистый щетинистый палец со следом обручального кольца подцепил два троячка и пятачок, спасибо.

— Да как же ты опохмелишься на одиннадцать копеек, старик? — пробормотал Ким.

— А это уже не ваше дело,— зло и устало сказал кумир, резко повернулся, шатко прокосолапил прочь, прошел за стеклянную стенку на холодное солнце и заполоскался на ветру — обуженные штанцы, широченный пиджак, остатки шевелюры из-под кепи — все трепетало, а кепка вздулась пузырем. К нему подошли двое: один малыш, почти карлик с большим лицом, важный и губастый, и второй, обыкновенный старичок в обыкновенном пиджачке, но в шелковых пижамных брюках. Троица в приливе неожиданной бодрости развернулась против ветра и, набычившись, целеустремленно и дельно зашагала. Должно быть, малая сумма, изъятая столь непростым путем у неизвестного фрея, как раз и гармонизировала для них это ветреное солнечное холодное утро.

Они шли, как показалось Киму, крепко и определенно, они, все трое, были на своем месте в это утро, причем огромный проситель был явно не главным в троице: он был тут явно мальчиком, эдаким Кокой или Юриком, он весело, по-мальчишески подпрыгивал и заглядывал карлику в суровое спокойное лицо.

— Боже мой, что же я за человек такой? — с неожиданной тошнотой подумал Ким и впервые тогда понял, что тошнота — это стыд и тоска.

Что же я за человек такой

Ненастоящий, нелепый, неуклюжий, недалекий, как я всегда тянулся к настоящим ребятам и как часто мне казалось, что я сродни им — уклюжий, лепый, далекий...

Но если бы я мог вспомнить — ловил ли я на их лицах мимолетное снисхождение, тень понимания моей жалкой сущности? Нет, этого не было никогда, они всегда относились ко мне, как к равному,— и на Памире, и на Диксоне, в подвальчиках Таллинна и на Сахалине, на Талнахе, на Эльбрусе, в Разбойничьей бухте, на Карадаге, в Якутии и на Крестовой... Вот если только вспомнить все до конца, уж до самого конца без поблажек, тогда, может быть, и мелькнет в темноте смешливая и немного недоуменная искорка, которая всегда (ВСЕГДА?) — да вовсе и не всегда, а лишь только вначале... если уж быть единственный раз в жизни смелым до конца, то всегда появлялась (мелькала, а не появлялась), да, мелькала в глазах у этих настоящих парней при виде меня: а этому, мол, чего здесь надо? Была эта искорка? Была! Но все-таки настоящие ребята никогда не издевались надо мной, на то они и настоящие ребята.

Да вот и сейчас можно отмахнуться и прекратить дурацкий мазохизм. И снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет... Да, Кимчик, тебя все-таки неплохо знали в этих палатках на Карадаге и Кунашире и во времянках на Талнахе... Ах, что же я за человек с ложными воспоминаниями? Ведь не был же я на Кунашире. Ну, сознайся, старик, самому себе — не был ты на Кунашире. Десять лет ты уже рассказываешь, как был на Кунашире, а на самом деле там не был. Ты сам совершенно — или почти совершенно — убежден, что был на Кунашире и видишь как наяву дикий кунаширский пляж с выброшенными и отмытыми Паснфиком добела корнями американских деревьев, с обломками ящиков, разбухшими ботинками, рваными оранжевыми штанами китобоев, яичными прокладками и бутылочками из-под тоника. Ты видишь отчетливо и того раненого морского льва, который с дним упорством пытался преодолеть стену прибоя. Об этом льве тебе рассказывал кто-то в южносахалинском буфете, и ты присвоил себе этого льва и весь кунаширский берег.

Я мог бы быть на этом островке. Что тут особенного — побывать на Кунашире? Просто три дня была нелетная погода, а потом уже кончилась командировка, и надо было возвращаться в редакцию... Черт с ним, могу и отказаться от этого жалкого Кунашира. Мало ли я путешествовал — можно и пожертвовать крохотным Кунаширом.

На Кунашире? Нет, ребята, на Кунашире мне не пришлось побывать. Шесть дней была нелетная погода, снегу в Южном навалило до второго этажа... Итак, решено — я не был на Кунашире.

В таком случае надо отказаться и от ледового патруля и вычеркнуть из воспоминаний «эти тяжелые волны, которые вот-вот заденут крыло, когда мы в нелетную погоду шпарим с Юркой Мельниковым из Охотска в Магадан за бутылкой водки».

Да разве я трусил? Я никогда не трусил! Я ведь как раз собирался полететь с Мельниковым в ледовую разведку, но наш вездеход застрял в тайге, и мы всю ночь проваландались с ним, а когда приехали на аэродром, увидели самолет Мельникова уже в небе.

Ну и нечего присваивать себе «тяжелые волны, которые едва не задевают за твое крыло, когда ты в нелетную погоду шпаришь из Охотска в Магадан за бутылкой водки».

Не буду присваивать. В ледовую разведку я не летал, у меня и кроме этого немало ярких эпизодов в биографии: вулканы, гроты, гитары, костры... и снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет... Как-никак я на короткой ноге с тремя космонавтами, с Валеркой Брумелем, Володечкой Высоцким...

Почему-то эти первоклассные парни моего поколения находят время, чтобы и выпить со мной, и поговорить по душам. Я знаю джазистов и пантомимистов, менестрелей, подводников, скалолазов, альпинистов, гонщиков, танцоров, режиссеров, писателей, вулканологов, арктических летчиков и философов, и множество девушек, старики, не прошли незамеченными мимо меня.

Ах, что же я за человек такой — чего же я вру сам себе про девушек? Почему же я сам себя утвердил в ложном эдаком донжуанизме, почему и сам себе киваю с ложной эдакой многозначительностью и грустью — эх, мол, девушки шестидесятых годов?.. Есть ли на свете человек более несмелый с девушками?

Это вечное кружение девушек в моем кабинетике в «Дабль-фью», этот каскад хохмочек, мимолетные поцелуи, эти взгляды исподлобья... Да ты, Морзицер, просто фавн, сатир какой-то,— сказал мне однажды Вадим Китоусов. Вадим, умница, смельчак, вечно дрожит над своей Риткой. Ха-ха, Вадим, сказал я ему, может быть, я и сатир, может быть, и монстр, но законов дружбы я не переступал никогда. Спроси у кого хочешь — хотя бы и у Эрика Морковникова или у Крафаилова, у Пашки Слона, спроси хотя бы у Велнкого-Салазкина — все тебе ответят: хоть Кимчик у нас и сатир, но законов дружбы он не переступал никогда. Да, сказал Китоусов, успокоенный, это верно — законов дружбы ты не переступал.

Только он ушел, как я посмотрел в зеркало и подумал про себя уже на всю оставшуюся жизнь: ох, и сатир же ты, Морзицер, глаза у тебя и рот, как у неутомимого козлоногого грека. И все мои сердечные раны — ужасная нелепая женитьба на Полине, позорное бегство из Феодосии от Генриетты, переписка с Мясниковой,— все это укатилось в темноту, я тут же убедил себя, что я мужчина особого рода, с особым ярким мускусным флюидом, и лишь верность снятым законам дружбы мешает мне предаться... и так далее...

И Рита перестала приходить ко мне в кабинет и часами сидеть с ногами на диване в сигаретном дыму и в «таинственном», сводящем с ума молчании.

Я один — стареющий, с полурасплавленной челюстью, с запущенной язвой, с утренней пакостью во рту — негерой, неталант и непросточеловек и даже не алкоголик, как тот, что попросил у меня одиннадцать копеек... Кто виноват в том, что я такой? Мои тетки, декадентные старые девы? Их нелепое воспитание, отсутствие в доме «мужской руки»?

В самом деле — вот результат стародевичьего воспитания: ведь не было же у меня ни отца, ни дядьев, чтобы научить плавать, ходить на лыжах, управлять мотоциклом, бить по зубам обидчиков. Ничему этому тети мои не учили меня, а лишь вскармливали мое сиротское тело, лишь пестовали его сэкономленными желтками и вот вырастили тяжеловатого, отчасти, будем честными, вислозадого, угреватого мужика, склонного к замедленному обмену и фурункулезу.

Зачем же ты грешишь на старух, Ким? Тетя Софа идеально знала английский и старалась (безуспешно) тебе его передать, а тетя Ника, пианистка серебряного петербургского века, несколько раз на коленях просила тебя сесть к инструменту. Они пытались тебе что-то передать и все-таки передали — именно «что-то», может быть, более важное, чем навыки плавания или фортепианной игры.

Я помню какой-то вечер, резко и безоглядно порванные бумаги, свирепые струи ветра сквозь аллеи Летнего сада и красный с прозеленью закатный ветер, прогнувший внутрь в квартиру голубоватые стекла и обозначивший, отчетливо и навсегда, тонкие бескомпромиссные профили теток. Вот в этот вечер они тебе что-то и передали, когда стояли неподвижно, каждая в своем окне, а потом с наступлением темноты приблизились друг к другу и быстро обнялись.

Что-то шевельнулось во мне тогда, что-то непозволительное моему тринадцатилетнему возрасту, недоступное нашему седьмому классу и неподобающее нашему хапужному послевоенному двору с задами продмага и банными окнами.

Две старые девочки... вечер... молчаливое объятие. Сквозь старые вещи, которые, как мне казалось, пахли чем-то стыдным, вдруг повеяло на меня Джеком Лондоном, далеким небом, прелестью и гарью жизни.

Вот эти лучшие минуты (может быть, секунды?) всегда возвращались ко мне, чаще всего неосознанно возвращались в дни подъема, в мои «звездные часы», когда...

Опять ты, мизерабль несчастный, разошелся? Тебя только и знай — лови за руку. Какие «звездные часы»? Что ты сделал в жизни? У тебя, будем честными, всего одна пара брюк, ты ничего не написал, ничего не смастерил своими руками, не женился по-настоящему, детей у тебя нет, катастрофически расползается замшевый блейзер (какой, к черту, замшевый и почему блейзер?), и впереди в Пихтах что тебя ждет? Вечный твой спутник и враг, зеленый с пятнами дракон-единоборец по имени раскладушка.

А все-таки... Эти минуты спирального подъема были в твоей жизни, и спиритус твой взлетал по спирали, хотя бы в тот год, когда ты приехал сюда вслед за Великим-Салазкиным.

Да, я был среди первых в тот болотистый год, в ту бесконечную комариную хлябь, когда не было здесь еще и запаха нашей любимой Железки. Пусть всегда будет так, и назовем вещи своими именами — я бездипломный суетливый мужичок с сомнительным аттестатом зрелости, я обыкновеннейший массовик-затейник, но я здесь был среди первых и вместе с Великим-Салазкиным, и Эриком, и Слоном копал обыкновенной лопатой котлован для нашей красавицы Железки, и вот тогда мой спиритус взлетел по спирали, и сквозь накомарник я видел ветви Летнего сада и моих старых девочек, непреклонных и таких героических на фоне безжизненного ветра.

А вот когда ты попадаешь на осыпь, нужно ложиться плашмя и руки делать крестом. Ни в коем случае нельзя удерживать равновесие на ногах. Нужно увеличивать площадь сцепления, валиться на пузо и растопыривать руки и ноги.

Между тем, старик, ты все стараешься балансировать. Ты влезаешь со своей гитарой в незнакомую палатку, и смотришь на всех своим знаменитым взглядом сатира, и вдруг убеждаешься, что в этой палатке сидят совсем другие, новые уже люди, и они тебя не знают, им даже не знаком твой тип. Тебе бы надо не смотреть на эти насмешливые и неприязненные лица, а вылезти вон и лечь всем телом на осыпь, а ты стараешься балансировать, берешься за струны, вытаскиваешь бутыль «Гамзы», к слову и не к слову о Кунашире мелешь всякий вздор, и «охоту на волков» изображаешь популярным хриплым голосом, и называешь имена некогда знаменитых парней, которых ты действительно знаешь, а тебе бы надо... Чего здесь надо этому отцу? — слышишь ты громкий шепот некоего декоративного красавца-скалолаза.

Они, наверное, всех называют «отцами», они и друг друга зовут «эй, отец», думаешь ты. Ведь не выгляжу я в самом деле как их отец. Пусть слегка брюхат, пусть слегка лысоват, но в общем-то я им не отец, а может быть, лишь старший брат. И ты поешь:

Он был слегка брюхатый, брюхатый, брюхатый,
немного лысоватый,
но в общем ничего...—

и вызываешь наконец смех.

...а тебе бы надо раскинуть руки и ноги и скатываться вместе с осыпью, закрыть глаза и слушать шорох осыпи, пока физические законы сцепления не остановят над краем пропасти твое солидное тело.

Сверхновый отечественный авион был почти бесшумен в полете, но, увы, излишняя застенчивость заставляла его заглушать симпатичное журчание турбин эстрадной музыкой, далеко не всегда приятной для слуха, а если и приятной, то далеко не каждому уху. В самом деле, согласитесь: в чреве авиона сто пятьдесят пассажиров — значит, триста разных ушей. Одному уху нравится Дин Рид, а другому он неприятен.

Вдруг ни с того ни с сего аэрогигант запел «Болеро» Делиба.

«Влюбиться, что ли? — тоскливо подумал Ким Морзицер.— Возьму и влюблюсь тайно, безответно, мучительно. В кого бы? — он очертил глазом малую полуокружность.— Возьму и влюблюсь в Ритку Китоусову. Нечего оригинальничать, так и сделаю».

Мысль эта принесла ему неожиданное умиротворение, и он самым нелепым образом заснул, хотя спать уж и времени-то не было: спев «Болеро», аппарат стал неумолимо снижаться и теперь дрожал крупной дрожью в плотных великих тучах евразийского сверхконтинента.

— Я не понимаю, что такое со мною, со мною,— пел ТУ-154 теперь, как бы извиняясь за тряску и обращаясь непосредственно к каждому пассажиру.— Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет!

«Чегой-то я нынче такой квелый, соленый, квашеный,— бормотал про себя, мочаля бороденку, Великий-Салазкин.— Влюбиться, что ли? Эдак молчком, втихаря, платонически втюриться. А в кого? Да в Маргаритку Китоусову и влюблюсь, как десять лет назад. Чего оригинальничать? «Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем», — замурлыкал он, а на объект своей платонической любви даже и оборачиваться не стал. Без всяких оглядок он знал эти виноградины, розаны, перламутры. Не первый, далеко не первый раз влюблялся старик в этот вариант. Как только почувствует какую-то квелость, унылую соленость, некоторую заквашенность, так сразу и влюбляется, и сиова, как в книгах, «о, весна без конца и без краю», и мысль из вареной лежалой куры превращается в живую птицу, и тетеревом, удодом, выпью носится по тайным промыслам научной теории.

Основатель Железки, вдохновитель и организатор всего пихтинского эксперимента Великий-Салазкин так же, как и все остальные ученые в самолете, возвращался из отпуска, но чувствовал себя, в отличие от молодых коллег, очень усталым.

Доконал меня окаянный исландец Громсон гольфом своим чужеродным, своей модной мракобесией и сумасшедшими своими гипотезами Дабль-фью. Благословенный мэтр, ведь вторую сотню уже разменял и как все успевает? И лекции шарашит в трех университетах (скачет из Копенгагена в Кембридж, оттуда в Падую), и тинктуры в тиглях варит (хобби, видите ли, у него новое — алхимия), а теорию свою держит на высоте и еще на фильмовой звезде опять женился; должно быть, увидел в ней образ неуловимой Дабль-фью.

Великий-Салазкин хоть и поражался достоинствам старого Громсона, корифея североевропейской школы, сам тоже был весьма не лыком шит. Тщедушный вид, подслеповатость, ужасная, на грани позора, манера одеваться сочетались в нем с исключительным напором и витальной силой. Чего только не проверил Великий-Салазкин за месячный отпуск! Во-первых, выколотил дополнительные ассигнования в Госплане и Совмине. Шутки шутите? Во-вторых, это была культурная житуха: массу слушал, по выставкам погонял, моральную и материальную поддержал зимнее количество начинающих гениев. Шуточки? В-третьих, посетил всех роди-

чей, которые расползлись за последнюю пятилетку из Замоскворечья, кто в Чертаново, кто в Мазилово, и всем подарочки привез: кому коня из фибергласа, кому 0,5 зубровки, иным пастилы, иным сибирский сувенирчик — шишку из полихромдифенолаттилы. Не шутка! В-четвертых, Великий-Салазкин отправился в центральную часть Карибского моря на симпозиум.

Там был остров в синем течении, на который под видом рыболовов (чтобы журналисты не мешали) съехалось несколько десятков мировых теоретиков. Среди знаменитостей были и самые знаменитые: американец Кроллинг, азиат Бутан-ага, африканец Ухара, австралиец Велковески, а также и наш Великий-Салазкин в своей лучшей ковбоечке. Чтоб сбить с толку докучливую прессу, ученые действительно удили рыбу, варили уху под окнами отеля, допоздна стучали в баре костяшками покера и домино. На самом деле происходил серьезнейший и полезнейший обмен идеями по поводу неуловимой частицы Дабль-фью, за которой вот уже пару десятков лет гонялись по всем ускорителям, в бездонных шахтах и лабиринтах мирового интеллекта.

...И вот появляется профессор Громсон, сухопарый и независимый, как целое отдельное столетие, внедрившееся между XIX и XX. Естественно, появление его на карибском горизонте было отмечено гигантской белой кустистой молнией, озарившей размочаленный ураганом пляж.

По кромке безумной стихии профессор в развевающемся плаще двигался как олицетворенный «штурм унд дранг». В одной руке у него был клетчатый непромокаемый сак, другой он влек за собой кинематографическое дитя, юное существо, теледиву. Громсон прошел сквозь стену ветра, воды и песка, ударом ботфорта проник в уютный бар и гаркнул с порога на языке своего столетия:

— Молока даме, джину — мне!

С этого и началось: ночи безумные, ночи бессонные...

— Ты, Великий-Салазкин,— мой лучший ученик, ты единственный, на кого могу опереться,— кричал под потолком старик, пуская дым из глиняной трубки, стуча бронзовой тростью, свистя простреленными еще в первую балкаскую войну бронхами.— Неужели ты не понимаешь, что для истинного ученого важно не открытие проклятой потаскушки Дабль-фью, а лишь ощущение ее близости, мысль о возможности выварить ее в петушином бульоне и подать к столу с брюссельской капустой?! Кто она, эта малышка, за которой мы охотимся всем скопом уже столько лет? Временами, Великий-Салазкин, когда я сжимаю в объятиях это юное существо,— узловатый вековой перст поворачивается к свернувшейся на софе пушистым лисьим калачиком TV-леди,— мне кажется, что она и есть желанная, ускользающая, как мираж, Дабль-фью. Иногда, Великий-Салазкин, в сумеречных наркотических иючах Зеландии я улавливаю посвист Дабль-фью в древних дырах Эльсинора. Что мне остается, Великий-Салазкин? Я принимаю дозу мавританского яда, закутываюсь в какой-нибудь древний норманский стяг и галлюцинирую. Я вижу ее — она со мной, я знаю!..

Утром перед гольфом я бросаю взгляд на свои записи — опять все то же: все эти Кемпбеллы, Фукатосси, Эйнштейны, ваши, дорогой мой Великий-Салазкин, умопостроения, мои собственные конструкции — и все это, переплетаясь, влечет мысль к цели, к нашей желанной Дабль-фью, а в конце вместо желанной — свистящая дырка, глазок в вечность. Как это прекрасно, мой друг. Похмелье, разочарование, отчаянье, кофе, гольф! Как это великолепно!

— Позвольте уж не согласиться, Эразм Теофилович,— нервно ие соглашался Великий-Салазкин, бегая по апартаментам, нюхая цветы и флаконы, поглаживая на лету юное существо, путаясь в шторах, крича из разных углов.— Мне ваша хиппозная медитация не подходит, и дырку свою свистящую, свой глазок желточный ешьте сами!.. Вы уж меня, Эразм Теофилович, простите, но хоть я и ученик ваш и уважаю ваш сумрачный германский гений, но нам эта ваша фея, окаянная эта частичка Дабль-фью очень нужна не для любования, не для щекотания ума, а для пользы народам земли, и мы ее, заразу, поймаем и заставим что-нибудь делать — может, малярию лечить, может, бифштексы резать, может — допускаю! — вдохновлять творческий акт пожилого иаселения — в общем, не пропадет!

— Наивный материалист! — хохотал древний Громсон и открывал один за другим походные колдовские ящички.

Глазам Великого-Салазкина открывались реторты, колбы, змеевики, тигли. Громсон напевал что-то пуническое, карфагенское и вместе с тем какой-то чарльстои.

— Глядя на вас, Эразм Теофилович, иной раз задумаешься — имеете ли высшее образование? — обиженно сморкался Великий-Салазкин в свой спасительный реалистический платочек.

— Черчеляменто! Гзигзуг бонифарра! Орилла экстеза хилионуклеар! — кричал на незнакомом языке древний гигант, развешивая по невидимым нитям комочки сморщенной кожи, птичьи лапки, фарфоровые непристойные формы, разные колобашки, спустки, вздутия. Затем он освещал все это хозяйство фиолетовым лунным рефлектором и прыскал на Великого-Салазкина чем-то из пульверизатора (показалось вначале — близким, своим, магнитогорским «Тройным» одеколоном, оказалось — не то).

На глазах густели и разжижались моря, уходили в сумасшедшую перспективу стекляшки горных систем, хлористый водород героической симфонией в брызгах, в лиловом с окисью накате двигался на щемяще знакомую, родную и близкую биологическую среду. Как много опасностей вокруг нашей малой жизни! Все соединилось, взбухло, закипело... промелькнул и распался в бездонности сонм исторических эпох, и вдруг — словно павлиньим опахалом провели по лицу — сошлись сосновые неоэвклиды, и в паутинке сверкнул лукаво, тревожно-музыкально и нежно девичий зрачок Дабль-фью.

...Учитель смущенно скосил на ученика желудевое столетнее око.

— Ну-с, что скажете, Великий-Салазкин?

— И ничего вы мне не доказали, Эразм Теофилович. Ничего, кроме фикции, дыма, идеалистической мерехлюндии. Стыдно за вас, господин учитель, бывший глава Североевропейской школы. Идете на поводу у обскурантов. Приезжайте-ка к нам в Пихты, познакомьтесь с нашей любимой Железкой, пообщайтесь с духовно здоровой средой, в хоккей поиграйте!

— Приеду! — гаркнул Громсон.— Давно хотел я лично познакомиться с вашей знаменитой Железкой. Как только грянут рекордные морозы, так и заявлюсь. Как только минус сорок будет, сразу звоните в Рейкьявик или в Копенгаген.

Стараясь отогнать столь свеженькие и пахучие еще карибские воспоминания, Великий-Салазкин потуже подтянул себя ремешком к мягкому воздушному стулу, попробовал подумать о новой своей и такой привычной любви — ничего не получалось, не думалось на эту тему, предмет равнодушно сиял слева по борту, как реклама молочного магазина, а квелость, замшелость Великого-Салазкина пока что только увеличивались.

Глушь моей юности

Огни уже летят в окружающем черном просторе, уже пора мне становиться гениальным хитрым старикашкой с легкой придурью, пора уже входить в роль, а пока что не хочется. Эти несколько минут до завершения посадки в багровом закатном тумане... они напоминают мне багровую глушь моей юности, глушь, которая вдруг окружала меня даже на людных улицах, полную глухомань. Затерянность и нищету юности.

Я помню очень хорошо странные перепады от агрессивно выпяченного подбородка, от бокса и бесконечного вращения тяжестей к благолепному смирению, к эдакому всепрощению, к переводам из раннего Гете и акростиху в честь полковничьей дочери Людочки Гулий.

Я помню, как по торцовой гладкой мостовой под безжизненной морозной синью ураганное солнце тащило кусок тяжелой бумаги — то ли сорванную афишу, то ли плакат — и как бессовестно, постыдно, грубо, бессмысленно мяло и швыряло эту большую измученную бумагу, и как эта измученная бумага то волоклась по мостовой с жалобным посвистом, то вдруг вставала дыбом в последнем сопротивлении, то улетала в стремительном отчаянии, а ураганное солнце грубыми ударами и хлопками формировало из оборванной бумаги то крокодила, то измордованную женщину.

О, как ярко я это помню и как мне хотелось спасти! Кого спасти — ведь не бумагу же эту, бесстыдную в своей погибели и мне чужую? Всех спасти, кто попрятался в штормовой солнечный день, себя самого спасти и ее — бессмысленную, жалкую, хохочущую и погибающую бумагу!

Я вдруг увидел в бесконечном далеке на набережной, на ледяном небе, еле различимого прохожего, может быть, самого себя, и подумал с пронзительной жалостью о его глухоманн, о тишине его глуши и о том, как будут стареть ткани его тела, что́ ждет его в конце концов: контрактура мышц, свертывание крови... Какое немыслимое превращение и для какого умопомрачительного путешествия — куда?! Не слишком ли мы слабы для подобных метаморфоз, впервые подумал я, достойный ли выбран объект для таких фантастических приключений?

Он промелькнул и пропал, этот прохожий, и бумага куда-то уволоклась, и осталась только безжизненная улица и подступившая близко ледяная природа — беспредельный голубой свод, в котором ни зги... И вот распахнулись обитые клеенкой и ватой, прошитые шпагатом двери, и я оказался на скрипучих полах, в теплом человеческом логове, где полки вкусных лохматых книг, бак с кипятком и прикованной кружкой; шахматный блицтурнир... ах, только бы не заплакать!..

Да, нелегко позабыть это голубое до черноты небо, но зато и спасительные густые краски человечьего угла не забываются никогда.

И от любви к ним, ко всем таким же, как я, странным созданиям, от благодарности к ним я едва ли не заплакал и скрылся среди библиотечных полок, где пахло так зыбко, но все-таки уловимо Анатолем Франсом и Буниным и там заплакал все-таки.

Странно, я подумал тогда, что зря спрятался. Мне, юноше, не было стыдно слез, может быть, мне даже хотелось, чтобы шахматисты и читатели увидели мои слезы и поняли их смысл. Мне даже казалось, что и они все заплачут вместе со мной, потому что эти слезы — клятва. Должно быть, тогда среди библиотечных полок, в слезах, я и начал превращаться в мужественного старичка Великого-Салазкина, будущего основателя всемирно известного научного города Пихты, в повивальную бабку любезной, благословенной нашей Железки. Должно быть, именно тогда в юношеском озарении любви, в неистощимом и бурном желании «спасти-спасти-спасти» я, Великий-Салазкин (через черточку), увидел нерасторжимую и бесконечную человеческую молекулу, которая ярко сверкает, если ее увидеть, и в которой спасательными нитями соединился сонм существ: и Достоевский, и Кант, и водопроводчик Дома культуры, и Галилей, и Чайковский, и дядя Миша-лаборант, и Энгельс, и Гомер, и многодетная сторожиха...

Мы все, такие небольшие и мягкие, с такой ничтожно малой амплитудой жизненной температуры, с преобладающим процентом нестойкой влаги в тканях, могучим и непобедимым желанием «спасти» соединились в нерасторжимую и сверкающую сквозь пространство молекулу.

...И я тогда уже бесповоротно прикрутил себя к этой структуре «спасения», и обозначил свое место малым кружком, и написал свое имя (через черточку), и черточку свою укрепил потуже, ибо, как я полагаю, без подобной черточки любая, даже и самая грандиозная персона становится малость смешноватой, ибо...

Тут внезапно в мысли Великого-Салазкина вторгся непосредственно сам поднебесный экипаж и продолжительным многоточием (впрочем, весьма деликатным) показал, что мысли следует прервать, ибо он, экипаж, уже катится по земле и полет, собственно говоря, окончен.

Огромный восточный аэропорт, где произошло приземление, пульсировал огнями, поглощал и распространял радиосигналы, резал батоны, срывал пробки с пива, загружал контейнеры, подвинчивал клиентам гайку, делал им подмазку, поил горючим — работы у него было «под завязку», и потому никакого особого торжества по поводу прибытия очередного столичного аппарата он не устраивал, а жаль [1].

Первыми вышли из чрева авионского супруги Крафаиловы, и были они так примечательны, что стоило бы их в момент выхода запечатлеть и даже сыграть в их честь на медных инструментах торжественный туш.

Собственно говоря, непосвященному даже и в голову не пришло бы, что на верхней площадке трапа появилась супружеская пара — так напоминали Крафаиловы больших, полнокровных и молочных однояйцевых близнецов-тяжелоатлетов. Сходство усугублялось еще тем, что супруга была облачена в брючный костюм, а муж носил длинные волосы, чуть ли не до плеч.

Говорят, что супруги в процессе долголетней совместной жизни становятся друг на друга похожи. Крафаиловы были исключением из этого правила, ибо они были пронзительно похожи друг на друга с самого начала, с самой первой случайной встречи в галерее Гостиного Двора, тому уже полтора десятка лет.

Прямая гренадерская стать, гипсовый надменный — византийский — профиль отличали обоих. С годами равномерно прибавилось тела под округлыми мощными подбородками, на грудных клетках и в подвздошье, румянец приобрел сочную зрелость, голубые четыре глаза сохранили многозначительную и непонятную прозрачность.

Оба супруга были руководителями торговли: он директорствовал в показательном торговом центре «Ледовитый океан», она управляла по соседству художественным салоном «Угрюм-река». Оба супруга были немногословны, бездетны, не курили, не пили, любили симфоническую музыку, теннис и «родную душу» — пуделя Августина, по которому тосковали весь месячный отпуск в южном минеральном Пятигорье.

Скучный, но очень полезный минерально-теннисный отпуск вдали от любимого торгового дела и кучерявой «родной души» завершился для Крафаиловых странным событием, еще более усилившим их зеркальность.

Играя парой в теннисном финале против заезжих калифорнийских профессионалов, супруги сломали руки: он — правую, она — левую. Теперь руки покоились в гипсе на дощечках и занимали положение, параллельное к земле и перпендикулярное к груди, словно у регулировщика, когда он открывает движение.

Впрочем, сравнение с регулировщиком не совсем удачно. Загипсованные параллельно-перпендикулярные руки придавали Крафаиловым дополнительную и очень естественную монументальность. Казалось, что Крафаиловым так и пристало ходить или стоять в позе живых памятников. Никто из пихтинских друзей при встрече в Московском аэропорту даже и не заметил ничего странного, и это совсем не говорит о равнодушии или пренебрежении: Крафаиловы пользовались в Пихтах заслуженным почтением.

Вот некоторые болтают про торговых работников, что есть среди них и такие, что на руку нечисты. Отрицать существование этих вредных жучков было бы нелепо. Есть еще, конечно, и в современной прогрессивной торговле жрецы хитроглазого божка-воришки, поклонники вонючего анахронизма «не обманешь — не продашь». Есть и слабые людишки в нашей среде: трудно удержаться от расхищения, когда вокруг тебя все лежит. Вот, например, бочонок с медом — ну, как не сунуть в него палец, как не облизать? Вот, к примеру, масла куб — ну как не срезать ему боковинку? Или, скажем, перед вами флакон парфюма — разве не побрызжешь?

Нужно быть волевым и интеллигентным человеком, чтобы пальцы не совать, не облизывать их, не срезать боковинку и не брызгать на себя тем, что тебе не принадлежит.

Таковы Крафаиловы. Они никогда ничего себе не брали, и подарков не принимали, и совсем не потому, что презирали свое торговое дело. Напротив, они его чрезвычайно любили, держали в умах новые идеи, а в душах — мечту о заре прогрессивной торговли.

Принцип торговли будущего, по идее Крафаиловых, состоял вот в чем: два лица, продавец и покупатель, вступают между собой в особые и очень важные для жизни торговые отношения. Ну, конечно, тут приходит сразу в голову набивший оскомину призыв «будьте взаимно вежливы»; уж сколько шуточек было по этому поводу, сколько юмора выработано. Нет, не вежлив должен быть продавец с покупателем и не любезен. Это пусть там в разных вулвортах и лафайетах любезничают; у нас в будущем все будет иначе. Продавец должен стать для покупателя пусть на

---

[1] Разумеется, автор субъективен: аэроомнибус привез моих героев, и мне, конечно, хочется какого-нибудь скромного торжества, хотя бы маленького оркестра, кучки фотографов, маленького микрофона. Ничего этого на аэродроме не было: мало ли авторов со своими героями летают нынче в небесах.

короткий срок, но другом, проникновеным товарищем, врачом-психологом, поводырем в лабиринтах изобилия. Продавец нового типа должен хрустальными глазами смотреть на покупателя и облагораживать его своей духовной филигранью и музыкальной простотой. Продавец будущего ни в коем случае не должен иметь дела с деньгами. Деньги получают автоматы. Могут получать, могут не получать — продавца это не касается. Собственно говоря, это даже не продавец, а... а... а... нужно какое-то новое слово для новой профессии. Ну скажем... «Дружелюб». Как замечательно!

— Сегодня в отделе обуви дежурный дружелюб Агафон Ананьев.

Вы приходите в отдел обуви без точной цели, просто в растерзанных чувствах, в между тем вам нужны новые водонепроницаемые сапоги, хотя вы об этом даже не думаете. Дежурный дружелюб мгновенно улавливает вашу вибрацию и первым делом улыбается вам. Несколько секунд нужно специалисту-дружелюбу, чтобы разобраться в вашем характере и психическом типе. Ведущую роль в этом деле будет, конечно, играть интуиция, но и без электроники здесь не обойтись. Разобравшись, дружелюб мгновенно выбирает средство воздействия. Может быть, это стакан холодного пива или, наоборот, горячего чая, может быть, анекдот, может быть, просто молчание, проникновенный взгляд, может быть, музыка, может быть, стихотворение. Если вы подавлены какой-то очередной неудачей, потеряли веру в себя, нужно подхлестнуть вас каким-нибудь Фрэнком Синатрой. Если же вы, наоборот, раздражены и растрепаны семейным или любовным разладом, в дело пойдет, скажем, 67-й квартет Гайдна ре-мажор.

Между прочим, в поле вашего зрения вплывут вдруг дивные сапоги модели «Ураган», и вы наверняка уйдете из магазина с замазанной трещиной души.

Еще раз подчеркиваем: цель контакта «дружелюб — покупатель» состоит вовсе не в сапогах, цель — в солнечном пятнышке, в волне теплого воздуха, в ободряющем биотоке.

Вы уйдете из торгового центра, а ваш «дружелюб» прислонится спиной к стеклянной стене, взглянет на отраженные в стеклянном же потолке сосны, оползающие пленки непогоды, мокрый подлесок с яркими точками волчьих ягод и шиповника и крепко зажмурит глаза, чтобы вспомнить нечто из детства, чтобы дослушать квартет, или для того, чтобы подумать о старике Гайдне,— ведь и сам он человек, несмотря на профессию, и ему тоже нужен дружелюб, хотя бы из неживых, но оставивших о себе звуковую ясную память.

Гигантские шаги

Тогда я вдруг вспомню ярко-синее взлетающее небо и «гигантские шаги» на опушке елового бора. Как я взлетал тогда и как я кружил со свистом вокруг шатающегося столба часами, изо дня в день, на устрашение всему пионерлагерю, толстый румяный мальчик-мускул, с мрачными хрусталями грешника по обе стороны непримиримого носа.

Сколько дней я кружил вокруг столба в молчании и тишине, прерываемой лишь жалобным скрипом ржавых подшипников, да возгласами птиц, да отдаленными сигналами горна!

Прежде я внимания не обращал на «гигантские шаги», у меня не было времени на такие пустяки, я был деятельной и могущественной фигурой — председателем кухонного совета, каждый день назначал из старших отрядов дежурных по пищеблоку и контролировал их работу. Это было над Свиягой, на горе, в сосновых и еловых просторах сорок шестого года, и в смысле сытости пионеров тогда было очень прохладно, поэтому все и тянулись на кухню: там было теплее.

В канун праздника флота в сумерках к подножию нашей горы, к мосткам, подошел катер с гостинцами от шефов, моряков Волжско-Каспийской военной флотилии. Старший пионервожатый отобрал десяток ребят покрепче и послал нас за гостинцами вниз.

Мы скрестили весла, принайтовили к ним ящики и пошли в густых уже сумерках вверх, воображая себя воинами Ганнибала, берущими альпийский перевал.

Мы шли, такие крепкие, такие мощные, самые сильные мужчины лагеря, и несли на своих плечах некоторые вкусности для девочек и малышей. Путь был нелегок по крутой мордовской тропе, по корням мачтовых сосен, по разбойному волчьему лесу, под призрачным ночным аэлитовским небом и альпийскими звездами над карфагенскими головами.

Ночной таверны огонек
Мелькнул вдали, погас.
Друзья, наш путь еще далек
В глухой полночный час,—

запел мужественным форсированным басом председатель кухонного совета.

— Между прочим, в ящиках шоколад,— почти равнодушно произнес известный в городе билетный перекупщик Вобла, зампредседателя.

Предательский шоколадный довоенный новогодний сладостный дух давно уже облачком дьявольского соблазна плыл над маленьким отрядом, и маленький отряд, вся дюжина кухонных апостолов, уже давно дрожал от позора и сладости неизбежного грехопадения.

— Молчи, Вобла!

— А я чего? Шоколадом, говорю, пахнет. Шоколад, говорю, пацаны, тараним.

— Вобла, молчи!

— А я чего? Досточку, говорю, одну поднять надо, попробовать шоколадку. Даром, что ли, корячимся?

— Вобла!

— А я чего? По кусманчику, говорю, отколем, не убавится.

В глуши, во мраке, в дебрях мира совершилось почти невинное мародерство. Треснула «досточка», со сдавленным нервным смехом ночные рыцари набили рты блаженным продуктом. Кое-кто не забыл и о карманах, а я сделал вид, что не заметил ничего. Не заметил даже, как и самому мне в рот чья-то рука — не моя ли собственная? — засунула добрый кусок, только фольгу выплюнул и так незаметно позволил ворованному продукту во рту моем растаять.

И мигом романтика воинов-аскетов сменилась романтикой общей хитрой авантюры, общей «повязкой» шкодников и неуловимых плутов.

— Ну, ты!..

— Ну, дали!..

— Ну, фрайера!..

На следующий день к завтраку под щелкающими флагами морской сигнализации кухонная команда поделила шоколад на порции, и всем досталось, всем хватило, всем восьми отрядам, каждому пионеру. Ну, может быть, немного меньше, чем предполагали шефы, но каждый все-таки угостился.

Не хватило только «слепому эскадрону». О них мы начисто при дележе забыли.

В большом нашем лагере было восемь отрядов обычных городских детей, но был еще и автономный маленький отрядик из детского дома слепых. Держались слепцы, конечно, особняком и только на лагерных концертах забивали все остальные отряды, потому что здорово «секли» по музыке. Их специально учили музыке, чтобы она помогла им не пропасть в будущей жизни.

Когда мы вдруг с Воблой увидели «слепой эскадрон», с торжественной осторожностью в свеженьких рубашечках марширующий к праздничному столу, мы даже ахнули: забыли про слепаков!

Все отряды уже заканчивали завтрак, вставали и веселыми — от шоколада и вообще от праздника, от будущего флотского дня, — голосами рявкали положенное: «Спасибо за завтрак!»

— Суки мы с тобой, Вобла,— проговорил я и весь взмок. Мгновенный и сильный стыд конфузным потом выступил сквозь поры всего тела.

— А чего? — придурковато открыл рот Вобла. Придурковатость была его главным оружием.— Кончай, Краф! Слепаков и так по санаторной норме питают. У них жиров на двадцать пять грамм больше, чем у всех.

Слепые съели свой бесшоколадный завтрак, встали и, чистенькие, умытые, весело сказали:

— Спасибо за завтрак!

Я глядел на них и вдруг подумал, как прекрасно детское личико, даже и слепое. Подумал об этом, как взрослый, словно я сам был уже после вчерашней ночи не ребенком, а вполне, вполне взрослым человеком.

— Суки мы, Вобла...

Вот так и началось кружение... Богом забытые «гигантские шаги» скрипели на опушке, а мальчик-мускул все разбегался по изрытому его копытами кругу, и взлетал, и несся

вверх и вперед по холодному кругу самобичевания, влекомый центробежными силами.

— Кончай, псих! Грыжу натрешь!

Иногда на орбите появлялись чье-нибудь лицо и раскоряченный силуэт случайного попутчика, потом лицо исчезало в глухой и тошной, как помои, жизни, и отшельник вновь оставался один.

Как сладко было бы слепому ощутить на языке вкус праздника, вдвое слаще, чем мне, зрячему: ведь он не видит цвета праздника — сигнальных флагов в этом детском небе, он даже и не представляет себе толком неба и реки, леса и корабля.

У тебя, сука, есть все, все на свете, а ты берешь себе еще что-то, тебе мало того, что у тебя есть все, ты еще отбираешь у других в свою пользу, тянешь в ненасытную утробу.

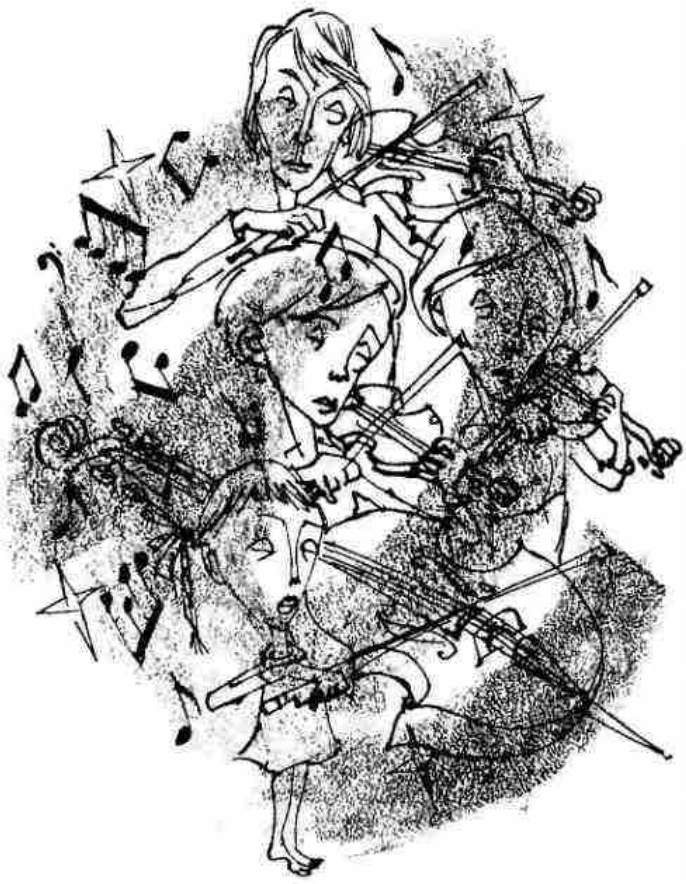
Ты отнял у слепого мальчика вкус праздника. Прощай, прощай теперь, мое детство. Глухая тошная жизнь стоит передо мной.

Слепым нужно давать как можно больше вкусной и разнообразной еды, не жиры увеличивать им надо, а надо радовать их язык шоколадом, клубникой, селедочкой, помидором... Я подлый, жирный и мускулистый вор с прозрачными и зоркими мародерскими глазами, бесцельно кружащий в ослепительно прекрасном мире, которого я недостоин. Прощай, мое детство! Глухая и тошная жизнь стоит передо мной.

Однажды под вечер из ельника к «гигантским шагам» вышел влажный вечерний волк, лесная вонючка. Чуть опустив вислый зад и зажав между лапами хвост-полено, он долго смотрел на меня без всяких чувств, без злобы, и без приязни, и без всякого удивления. Устрашив меня своим непонятным видом, волк прыгнул через куст и исчез в темноте — глухой и тошной жизни. Прошелестела, проскрипела, протрепетала прозрачно-черная августовская ночь, но даже прочерки метеоритов и дальние атлантические сполохи не утешили отшельника, не вернули мне детства и будущей юности. Глухая и тошная жизнь залепила мне нос, и нёбо, и глаза, и евстахиевы трубы.

Вдруг на мгновение я потерял себя, а вздрогнув, обнаружил вокруг уже утро и нечто еще.

Нечто еще, кроме изумрудного утра, присутствовало в мире. Сверху, со столба, на котором я висел, словно измученная погоней обезьяна, я увидел внизу под «гигантскими шагами» четверых слепаков.



Двое маленьких мальчиков играли на скрипках, юноша, почти взрослый, прыщавый и статный, играл на альте, а босоногая девчонка пилила на виолоичели, и получалась согласная, спокойная, издалека летящая и вдаль пролетающая музыка.

Вот чего нет у меня, подумал я радостно и благодарно. Я не могу повернуть к себе пролетающую над поляной музыку. Все у меня есть, но у меня нет этого дара.

Да-да, говорила мне добрая и спокойная музыка, не воображай себя таким мощным, всесильным злодеем. Ты маленький воришка, но ты достоин жалости, и верни себе, пожалуйста, свое прошедшее детство, потому что впереди у тебя юность со всеми ее метеоритами, всполохами и волками... прости себе украденный шоколад и больше не воруй.

Незрячие глаза внимали музыке с неземным выражением. Они никогда ничего не видели, эти глаза. Гомер, конечно, видел до слепоты, и он представлял себе журавлиный клин ахейских кораблей, а эти дети не представляют себе ничего, кроме музыкальных фраз, и для них, конечно, по-особому звучит толстый мальчик, сидящий на столбе, и для него они сейчас играют — утешься и не воруй.

Крафаиловы несколько мгновений задержались на верхней площадке самоходного трапа, но этих мгновений было достаточно, чтобы заметить в толпе встречающих того самого полуфантастического «дружелюба» Агафона Ананьева, верного зама и по совместительству старшего товароведа торгового центра «Ледовитый океан».

Плутовская физиономия «дружелюба» лучилась благостным, почти родственным чувством. Заждались, говорила физиономия, заждались, голубушки Крафаиловы, просто мочи нет.

Сердца Крафаиловых тенькнули: ой, проворовался Агафон, не сойдется баланс. Сердца Крафаиловых тут же ожесточились: нет, на этот раз не будет пощады плуту — партком, актив, обэхаэсэс! Сердца Крафаиловых вслед за этим затрепетали в любовном порыве: на руках у хитрого «дружелюба» сидел благородный пудель Августин, родная лохматая душа. Да, в чуткости Агафону Ананьеву не откажешь!

Итак, воздушный вояж закончился, и автор, обогнавший при помощи пустякового произвола стремительный аппарат, теперь высматривает своих любимцев в двухсотенной толпе пассажиров и даже следит за тем, чтобы не потеряны были в разгрузочной спешке квитки от багажа, ибо и на багаж своих героев он уже наложил жадную лапу, даже в нехитром их багаже есть для него своя корысть.

Спускается по трапу Великий-Салазкин, одергивает терилленовые штанцы. Спускаются статные, спортивные и, как всегда, добродушно-горделивые, уверенные в себе и немного грустные Слоны, Павел и Наталья. Спускается удивленный неожиданным возвращением международно-галантный Эрнест Морковников — пермессо, пардон, гуд лак, здравствуйте! Спускается смущенный, заспанный сатир Ким Морзицер, инерционно, по старой привычке тревожит стюардесс: «Ну что, девчонки, повстречаемся?» И, получив в ответ: «Нет, папаша, не повстречаемся»,— хмыкает и спускается.

Спускается в «тианственном» своем молчании красавица Маргарита, нелюдимо и отчужденно спускает свои виноградины, розаны и перламутры, а также приготовленную уже в ювелирных пальцах длиниейшую и «тиаиственную» сигарету «Фемина».

Спускается также и как бы между прочим ее, свою жену, сопровождает вдумчивый и благородный Вадим Аполлинариевич Китоусов, спускается, словно бы не обращая на Маргариту внимания, как бы не сгорая от ревности. И наконец, появляется из недр авиоиских почти забытый нами Мемозов, эта некая личность — отнюдь не персонаж — совсем ненужная, скорее вредная для нашего повествования.

Мемозов выждал, когда все пассажиры вытекли из чрева, и выскочил на площадку трапа последним. Здесь он некоторое время, по крайней мере на двадцать — тридцать секунд, задержался, давая возможность внимательно себя разглядеть.

Летели вбок его мятежные длинные кудри а-ля улица Гей-Люссак, и вся его фигура, озаряемая подвижными аэродромными огнями, являла собой вид демонический и динамичный. Трость, крылатка, сак, шевровой кожи выше

колен сапоги, лоснящийся, как морское животное, велюр, ярчайшее пятно жилета «Карнеби-стрит», полыхающий, словно пламя в спиртовке, галстук дополняли его облик.

Новый материк лежал под ногами конкистадора и сюрреалиста. Мало ли что болтают обо мне в кофейной ОДИ — не слушайте!

Мемозов

Знаю, знаю, есть такие злыдни, что распускают слухи о моих неудачах в кооперативе «Павлин»,— не верьте! Ходят разговоры, что некая мрачная личность с желтыми от алкоголя глазами вывела меня из художественного дома, применив прием каратэ,— смейтесь! Болтают, что я пытался поправить свои финансовые дела, продавая волнушки на Тереитьевском рынке,— усмехайтесь! Поговаривают бастарды о том, будто я все лето выуживал фирменные шмотки из загрязненного океана,— о, засмейтесь, смехачи! Треплются, что меня в разгар вдохновенной импровизации какой-то амбал выбросил из троллейбуса,— хохочите, хахачи! Будоражат публику слухами о моем самоубийстве из ружья, которое я повесил над тахтой, чтобы оно выстрелило по законам черного юмора...

Впрочем, как угодно — можете верить, можете не верить: Мемозов, естественно, возвышается над кофейными, коньячными и папиросными сплетнями в предбаннике ОДИ, где все стены исписаны номерами телефончиков и двусмысленными фразами, и где пересечение тайных взглядов сплетает все общество в тесный клубок, наподобие грибного мицелия с комочками земли, и где бумажные салфетки, предназначенные администрацией для вытирания губ и для взятия бутербродов, используются совсем для другой цели, а именно для писания записочек, которые тут же и передаются, и где, к примеру, Михаил Р. встает со стула якобы для того, чтобы опустить пятак в музыкальную машину, а на самом деле для того, чтобы его увидела общеизвестная дама У., которая пришла сюда в обществе С. и Щ. явно для того, чтобы досадить Ваграму Ч., кейфующему у окна в ожидании М. К., которая в этот момент, безусловно, рулит на своем «жигуленке» в Серебряный Бор, чтобы оттуда позвонить Михаилу Р., вставшему в данный момент якобы для того, чтобы опустить пятачок в «Полифонию»... Мемозов, конечно, возвышается над этими отношениями, буквально парит над ними, задыхаясь от дыма.

Мне нужен озон, азот, гелий и фтор Сибири, и это отнюдь не бегство, а перегруппировка сил, выравнивание флангов. Мне нужны новые биологические, психические, пластические материалы. Мне нужно новое поле для эксперимента, и потому я уезжаю в этот экспериментальный городишко с бескрылым пожухлым провинциальным именем Пихты, к подножию этой пресловутой Железки. Для начала я внедрюсь как инородное тело в эту повесть, ворвусь в нее враждебной летающей тарелочкой, пройдусь жадным грызуном по ниточкам идиллического сюжета, влиянием своего мощного магнитного поля перепутаю орбиты героев; потом посмотрим, похохочем над незадачливым автором. А Москва... погоди, Москва... Мемозов еще воротится... едва затихнут разговоры о каратэ да о грибах, о черном юморе и о загрязненном океане. Ждите, Клукланские и Игнатьев-Игнатьев, ждите, У., М. К., Ваграм Ч., Миша Р., С и Щ., ждите все там, в ОДИ, в «Павлине» — в ореоле новой славы, овеянный новыми таинствами, на гребне новых индивидуальных достижений Мемозов еще...

От аэродрома до Пихт было побольше двух сотен километров, и автор начал уже собирать героев на предмет коллективного взятия такси или зафрахтовки какого-нибудь «левого» транспорта, когда среди криков, гудков и свистков послышался вдруг спокойный, даже величавый скрип древних рессор, и на площадь перед аэропортом выехал огромный черный автомобиль, за рулем которого возвышался Великий-Салазкин.

Этот «кадиллак» выпуска 1930 года с множеством мягких, но уже замшелых кресел, с подножками и запасным колесом на переднем левом крыле, с веером серебряных рожков на капоте был одной из легенд города Пихты. Говорили, например, что кар подарен Великому-Салазкину самим Эрнестом Резерфордом, но скептики решительно возражали и категорически утверждали, что Резерфорд не мог подарить В.-С. такой большой автомобиль иначе, как сложившись с Бором.

На пару с Нильсом Бором они подарили «кадиллак» Великому-Салазкину, так утверждали скептики.

— Алё, ребя! — позвал В -С свою шатию-братию.— Валитесь в колымагу. Глядишь, и доедем до Железки.

Все, конечно, с восторгом приняли это предложение, ибо проехаться по темному лесному шоссе в историческом автомобиле было для каждого удовольствием и честью. Даже Крафаиловы отправили верного Агафона в его фургоне «Сок и джем полезны всем» и влезли на задний диван вместе с трогательно визжащим, родной душой Августином.

— А я этого одра на аэродроме месяц назад оставил,— говорил Великий-Салазкин.— Думал, угонят, нет — никто не позарился. Залазьте, залазьте, не тушуйтесь, Паша, Наташа; Эрика, конечно, вперед, чтоб штаны не помял. Кимчик, Ритуля, где вы там? Протеже моего не забыть бы. Где вы там, мосье Мемозов?

Выяснилось вдруг, что авангардный и независимый, весь в заостренных и огненных пятнах, Мемозов просто-напросто очередной протеже известного своим меценатством Великого-Салазкина.

— Чего же нам ждать от мосье Мемозова? — с еле видной подковыркой поинтересовался Вадим Китоусов.

Мемозов полоснул по нему желтым насмешливым и демоническим взглядом, а Великий-Салазкин смущенно ответил:

— Эге!

Он и сам толком не знал, кто таков этот Мемозов — дизайнер, пластик, биопсихот или оккультист, знал только, что внутренне ущемленный индивидуум, вот и забрал.

Итак, они отправились на ржавых рессорах, в мягких замшевых креслах.

Исторический рыдван, стуча поршнями, шатунами, гремя клапанами и коленвалом, трубя серебряными горнами, медленно, но верно подвозил их к заветному, родному, саятому и любимому — к Железке.

— Я полагаю, В -С, вы сразу на Железку поедете? — осторожно спросил Китоусов.

— Натюрлих,— ответил В -C_3— Айда со мной? Раскочегарим сейчас ускоритель, пошуруем малость — спать не хочется.

— Рехнулись они со своей Железкой,— довольно громко произнесла Маргарита.

— Кес ке се эта Железка? — надменно спросил импортированный индивидуум.

— О Железка! — вздохнули все разом.— Скоро увидите!

Скоро ли нескоро, но в разгаре осенней ночи сквозь мрак они приехали к панораме своей альма-матер. Раздвинулись хвои, и взгляду предстала подсвеченная фонарями и собственным полуночным светом их родная Железка — суть комплекс институтов, кольцо ускорителя, трубы, вытяжные системы, блоки лабораторий и стеклянные плоскости оранжерей. Все это было огорожено самым обычным каменным с железными прутьями забором, но парадные ворота являли собой маленький концерт литейного искусства — гроздь, колосья, стяги, венки и созвездия, крик моды позапрошлого десятилетия.

— Вот она, наша Железка! — еле сдерживая волнение, проговорил Паша Слон, и все замолчали.

Каждому виделся в мигании Железки личный привет, и все ждали реакции чужестранца: ведь нет же в самом деле на свете человека, которому она бы не приглянулась с первого взгляда.

Мемозов наконец разомкнул тонкие губы.

— Утиль! — сказал он и захохотал.

Так по повести был нанесен первый и нелегкий удар.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
из глубин истории

«...просит —
чтоб обязательно была звезда...
хоть одна...»
Владимир МАЯКОВСКИЙ

Корни этой истории сравнительно неглубоки, если держать в уме обозримое нами время. Если же предположить еще существование необозримого, то уедем так далеко, что и себя не сыщем. Возьмем все-таки какую-нибудь более-менее видимую точку отсчета и назовем ее условно началом.

Начало напоминало настоящий научно-фантастический роман. Сквозь галактические дебри нашего мира стремительно неслось нечто. Нечто весьма существенное — гость из просторного космоса, флагманский корабль целой эскадры. Цель у эскадры была одна, да-да, одна-единственная — к чему излишняя скромность? — цель эта была — мы, наша милая крошка, периферийный шарик.

...Флагман приближался к нашему отростку Галактики на заре XX века по христианскому летосчислению. На борту уже заседал Совет Высших Плузмодов для решения вопроса о методе контакта: насильственное поглощение, фагоцитоз и ферментозная переработка — или лирический контакт, совместное цветение, нежные тычки тычинок, пестование пестиков, элегическое мерцание эпителия?

Два опытнейших разведчика-блинтона сообщали Совету результаты непосредственного наблюдения: Жундилага (то есть Земля) была близка, какой-нибудь фубр-полтора иллигастров, не более...

И вдруг Плузмоды пришли в замешательство: данные блинтонов стали противоречить друг другу.

Первый блинтон. Какое грустное очарование! В неярком розоватом освещении среди прочных и высоких растений молодая особь по названию «девушка» сравнивает себя с птицей, так называемой чайкой, что свидетельствует прежде всего об отсутствии высокомерия у головного отряда Жундилаги.

Второй блинтон. Хмурое тоскливое свинство! Группа приматов в серых одеждах полосками металла причиняет боль другой группе приматов в черных одеждах, которая бежит, причиняя боль первой группе кусками минералов. Аргументация атавистическим чувством боли говорит о низком и опасном уровне развития Жундилаги.

Первый блинтон. Я испытываю высокое волнение. В неярком сиреневом освещении среди камней и бедных растений молодое существо по имени «принц» говорит существу противоположного пола, что он любил ее, как сорок тысяч братьев. Мера любви чрезвычайно высока даже для нас, уважаемые Плузмоды!

Второй блинтон. Тошнотворная глупость! Присутствую на Совете жундилагских плузмодов. Они украшены варварскими блестящими дощечками и шнурками. Одного из них другие называют «величеством». Зло и надменно кричат о разделе какого-то предмета под названием «Африка». Собираются убивать. Главная эмоция — примитивный страх.

Первый блинтон. Я чрезвычайно взволнован, мне нравится Жундилага! В прозрачнейшей ночи там освещены лишь белые стены, там происходит милое лукавство, там все так простодушны и хитры. Вот человек громогласно заявляет, что он и здесь, и там, что без него никому не обойтись, вот женское существо появляется с пальцем у рта... Побольше хитростей и непременно... О, как оно прекрасно! Они хитры без зла, а в этом есть мудрость.

Второй блинтон. На Жундилаге царит бессмысленная жадность и абсурд! Несколько существ бросают на стол желтые кружочки, пьют прозрачную жидкость, потом хватают кружочки назад, машут конечностями, вытаскивают убивальные аппараты. Там очень душно, спертый воздух и много отторгнутой пищи. Проклятая Жундилага! Во мне трясутся кристаллы от ненависти и тоски.

Первый блинтон. Их вайс нихт вас золл ес бедойтен... [1].

Второй блинтон. Дави черномазого ублюдка!

А скорость становилась все выше, и притяжение маленькой биосферы, ее психоволны оказались в сотни раз больше расчетных. Совет Плузмодов, сбитый с толку противоречивыми показаниями блинтонов, ошибся на миллионную долю брюгастра, и флагман, подобно бессмысленному раскаленному камню, прошил многослойную атмосферу планеты и в сентябре 1909 года рухнул в необозримую тайгу, да так рухнул, что вся Сибирь покачнулась [2].

Весь ли экипаж погиб, или кто-нибудь там уцелел, неведомо никому, даже автору сочинения. Возможно, на втором корабле эскадры сработали контрольные устройства, но, может быть, и не успели. Возможно, там все знают о подробностях катастрофы, а возможно, лишь оплакивают радиальные, искрящиеся кристаллами высшей логики структуры

---

[1] Строка из стихотворения Гейне «Лорелея».

[2] Эта история имеет лишь косвенное отношение к так называемому тунгусскому метеориту. Т. М. суть не что иное, как печная заслонка флагмана, отброшенная при взрыве.

двухсот блинтонов и циркулярные пульсации целого десятка цветущих высшим логосом плузмодов. О втором корабле эскадры узнают лишь наши отдаленные потомки, которые, уверен, не будут сбивать с толку штурманов-блинтонов. Выйдут с цветами и цитрами на встречу с родственными структурами все наши Чайки, Гамлеты, Фигаро и Лорелеи, а остатки нехорошего будут только костями стучать в школьных музеях.

Так или иначе, но когда рассеялся дым над дремотным девятым годом, Сибирь, чуть загнув назад Чукотку, увидела у себя в правом боку солидную дыру, вернее, кратер. Здоровый организм, естественно, сразу начал лечиться, затягивать ямищу живительной ряской, посыпать хвоей, спорами растений, пометами бесстрашных своих животных, пропускать корни, уплотнять почву грибными мицелиями. Короче говоря, вскоре никаких следов космической катастрофы на поверхности планеты практически не осталось. Ну, есть малая вмятина в тайге, но мало ли чего: может быть, Ермак с Кучумом тут бились или просто так — вмялось и заболотилось.

Воет зверь, тонет человек, скрипит кривая сосна — все просто в тайге, никаких загадок. Гуляешь — гуляй. Зазевался — получай лапой по загривку. Летом приближается небо, вопросительно мерцает сквозь комариный зуд. Зимой небо уходит и виднеется, как сквозь прорубь, и никаких уже вопросов: жизнь есть форма существования белковых тел, а желтое тело идет на вес и обменивается на порох и спирт.

Во многих сотнях километров от нашего таинственного (а не «тианственного» ли?) места лежал так называемый тунгусский метеорит — простая печная заслонка с флагмана Жирофельян, и туда паломничала научная братия всего мира. Копали, бурили, вгрызались, пытаясь найти хоть какую-нибудь маленькую железочку, все тщетно... Зарвавшиеся дилетанты строили гипотезы: а уж не космический ли корабль взорвался над хмурым тунгусским потоком? Их высмеивали — обыкновенная, мол, болвашка брякнулась, но и она очень важна для познания, может быть, даже важнее вашего звездного, хе-хе, варяга. Потом и вокруг печной заслонки отшумели страсти, круги расплылись, и установился научный штиль, воцарилось занудство, именуемое иногда равновесием.

Только так ли это? Так ли бесследно и безрезультатно нырнул в иное измерение гениальный аппарат? Неужели вся немыслимая энергия испарилась в сибирском небе, словно болотный газ?

Сейчас, занимаясь историей нашей дорогой, уважаемой и любимой, золотой нашей Железки, мы находим в летописях края некоторые странные рассказы старожилов.

Клякша

Будто бы жил когда-то в северо-западном болоте некий медведь-мухолов по имени Клякша. Зверь имел огромный рост, каленый коготь, моторный рык, но, что характерно, никого не задевал, окромя, конечно, вкусных болотных мух да ягод.

Будто бы однажды соседский охотник Никаноров встретил медведя Клякшу в густом малиннике и чуть не помер со страху. Якобы сидел Клякша толстым задом на мягкой кочке и смотрел на Никанорова через многоцветное стекло, которое держал перед собой в передней лапе. И, что характерно, увидел Никаноров за стеклом переливчатый огромный глаз, явно не медвежий да и не человечий. Нервы от такого зрелища лопнут, конечно, даже у непьющих. Никаноров шарахнул по красавцу глазу зарядом дроби и отвалил копыта. И вот что характерно, товарищи, опомнился мастер пушной охоты уже в избе на своей лежанке, и ему никто не поверил, потому что будто бы выпивши. К сожалению, пьющему человеку у нас не всегда доверяют, вот что характерно.

Пихты

В другой год, рассказывают, шла через болота партия людей. Очень мучились прохожие от вонючей влаги и постоянно содрогались от безвредных, но отвратительных болотных гадов.

— Ах, братья-попутчики, милостивые государи,— якобы сказал однажды под вечер вожак,— посмотрите, какие над нами чарующие перламутровые небеса, а мы утопаем в болоте. Ах, если бы найти нам сейчас хоть клочок сухой земли, как бы мы все отдохнули телесно, а Гриша, наш товарищ, укрепил бы наш дух великолепной музыкой.

Может, врут, а может, и нет, но один из этих людей, Григорий Михайлович, нес на себе старинную деревянную гармонь. Заплакал тогда Григорий Михайлович и говорит:

— А я вам и так сыграю, болезные друзья.

— Не играй,— говорят ему друзья-попутчики.— Утонешь, Гриша.

— Пущай утопну,— говорит, обливаясь слезами, Гриша,— зато с музыкой.

Снял якобы Григорий Михайлович с плеча деревянную гармонь и заиграл на ней очаровательную музыку, а сам утопать стал и довольно стремительно.

Тогда и полезли из болота верхушками сущие и шуршащие, как будто бы шелковые пихты, а вскоре и весь остров вылез с мягкой травой, с теплыми пещерами и винными светящимися ягодами.

Всю ночь якобы играл Григорий Михайлович старинную музыку из головы и по бумаге. Всю ночь блаженно отдыхала экспедиция, а после якобы дальше ушла. Ушла не ушла, а остров с пихтами там остался, и это факт, вот что характерно.

Горюны

И вот что безусловно, характерно, появилась на горизонте девушка Любаша. Она, сия Любаша, проживала в соседнем селе Чердаки, и ее в дурной манере обидел инспектор по госстраху Заяцев, а ей, конечно, был мил летчик Бродский Саша. Отсюда возникла большая трагедия, и тихой красавице нашей опостылела жизнь. Эх, много в мире еще не изученного! Лишний раз убеждаешься, когда узнаешь, что пропадают в общем-то привлекательные девчата.

Так Любаша удалилась в гиблые края, на восток, через клюквенные поля, в таежную плесень. Ушла на рассвете, а очнулась на закате, лежа в красивой, но безнадежной позе среди дикой, страшной природы: ужасные корни с кусками глины раскачивались перед ней, вывороченные валуны громоздились нелепицей вокруг, гибло отсвечивали на тусклом закате огромные белые кости — позвонки, ребра и прочее. Доисторическая нижняя челюсть, например, возвышалась, как арка. Не может такого быть, чтобы и кости эти когда-то питались млеком, подумала девушка, содрогаясь. Пейзаж был почти что адский, эдакий предадник, раздевалочка. Горько пожалела тогда Любаша свою молодую суть. Экую мелкую тварь Заяцева вознесла до уровня мировой трагедии. Прощай теперь, Бродский Александр, ты даже не узнаешь о моем чувстве в своем пятом океане. Ах, есть ли на свете горше картина, чем рыдающая перед гибелью красавица?

И вот что характерно, в последний, можно сказать, момент появились вокруг Любаши цветы-горюны. Никто девушке этого названия не сказал, и раньше она его никогда не слышала, а только сразу поняла, что вокруг плавают и порхают волшебные горюны. Те, что горе снимают.

Цветы эти имели от земли некоторую независимость, ибо в любой момент от нее отрывались, чтобы закрутить вокруг печалицы хоровод. Они плавали в воздухе, как тропические рыбы, и сияли глубинными незнакомыми красками. Они трепыхались и наполняли округу тайной, весселой и вечно молодой жизнью. И вот они быстро внушили Любаше прежнюю нежную радость, и она поверила, что суженый ее ждет и простит ей потерянное колечко в счет будущих изумрудов.

Что тут правда, где брехня — разобраться трудно, но вот что характерно: Любаша Бродскому семь деток родила и получила материнский знак отличия.

Странные эти рассказы могут натолкнуть и на странную мысль: не испарилась окончательно энергия космического корабля, а где-то бродит в окружности и даже реагирует на события в мире людей.

Конечно, вздор, конечно, нонсенс, конечно, абсурдистика, но пусть присутствует здесь эта мечта хотя бы как вздор, как нонсенс, как нелепая фантазия. Автор, если угодно, и на себя грех возьмет.

Автор, как темный человек, верит во все туманное: и в летающие тарелочки, и в морское человечество — дельфинов, и в Атлантиду, и в месопотамские столбы, и в перуанские окружности, а уж тем более как ему не верить в свои собственные «пихты», «горюны», «Клякшу»?

Верит он и в то, что не совсем случайно встретились в разгаре пятидесятых годов трое наших героев — Пашка Слон, Кимка Морзицер и Великий-Салазкин.

Внешне как раз все произошло совершенно случайно, тем более, что в те времена не существовало даже обычая трогательных и мимолетных тройственных мужских союзов. Просто один за другим в потоке шумных едоков вошли указанные лица в главный пищевой зал фабрики-кухни на Выборгской стороне города Ленинграда. Просто им есть захотелось.

Один из наших героев, Вадим Китоусов, уже рассуждал однажды над природой случайного. К этим размышлениям можно еще добавить, что случайности и совпадения бесконечно играют между собой в сложнейшую и порой утомительную для человечества игру. Некоторые считают, что совпадения и случайности — явления одного порядка. Большая ошибка! Совпадение по сути своей противоположно случайности, ибо с чем-то совпасть — значит уже вступить в какой-то ряд, в череду событий.

Человек всегда стремится расчленить явление, и люди деятельного типа, приемистые и устойчивые на виражах, с ходу все объясняют «случайностями» и, не задумываясь особенно, чешут дальше; люди же иного, лирического и раздумчивого типа долго буксуют, выискивая и мусоля действительные и мнимые «совпадения», ища за ними скрытый символ.

Не будем же уподобляться ни тем, ни другим, а попытаемся объяснить эту встречу диалектически. Итак, случайно совпало, что Слон, Морзицер и Великий-Салазкин оказались майским вечером 195... года на Выборгской стороне, случайно совпало, что всем троим в один момент захотелось поесть, случайно совпало, что перед каждым из троих почти одновременно выросло светлое жизнерадостное здание фабрики-кухни, этот цветущий и по сю пору розан конструктивизма... Столь слаженная игра противоположностей поневоле наводит на некоторые подозрения. Увы, дальше гармоническое развитие событий прерывается: ведь не захотелось же всем троим квазацких битков с гречневой кашей. Нет-нет, изощренный вкус Кимчика Морзицера нацелился на полную порцию рыбной солянки, на бризоль с яйцом, на мусс с тертым орехом и на желе из черешневого компота. Павел же Слон высокомерно желал бульона с гренками, антрекота, ну а Великий-Салазкин алкал квашеной капусты, щец да флотских макарон. Видите, какие разные натуры!

Не произошло и взаимного тяготения, никакой симпатии с первого взгляда.

«Ишь, гага»,— подумал Великий-Салазкин на Павлушу.

«Лапоть»,— подумал Павлуша на Великого-Салазкина.

«Плесень»,— подумал Кимчик о Павлуше.

«Плебей»,— подумал Павлуша о Кимчике.

«Скобарь»,— подумал Кимчик о Великом-Салазкине.

«Губошлеп»,— подумал Великий-Салазкин про Кимчика.

Шесть вариантов мимолетной неприязни увели наших героев в разные углы пищевого цеха. Казалось бы, все, встреча не состоялась, но тут вновь начинается загадочное: тайные магниты — уж не энергия ли плазмодов, витающая по соседству в N-ском измерении? — начинают подтягивать героев друг к дружке.

— Этот столик не обслуживается, товарищ!

— Товарищ, товарищ, чего уселись? Этот столик дежурный!

— Будете ждать, товарищ, заказы на столике только что приняты. Уселся!

— Столик грязный, товарищ. Пересядьте, и не кричи! Не дома!

— Глаза у вас есть, товарищ? Столик заказан.

В результате с извинениями и экивоками — культурные же люди — все трое оказались за одним столиком возле архитектурной ноги из подмоченного бетона и погрузились в неприятное отчужденное ожидание.

Вот тут опять кто-то начал колдовать, и настроение стало улучшаться с каждым блюдом. Начало положил, конечно, Великий-Салазкин, пустив по кругу презренную капусту, которая, конечно, опередила своих именитых товарищей. Капуста пришлась как нельзя кстати. Измученные желудочной секрецией пациенты фабрики схрумкали ее за милую душу. Теплота и душевное доверие вдруг воцарились за столом. Морзицер предложил Великому-Салазкину яйцо с бризоля, тот подсыпал Слону макарон, последний (уже незаметно) подложил Морзицеру к бризолю лучшую представительскую часть своего антрекота. Кольцо замкнулось, и все трое посмотрели друг на друга и на самое себя другими глазами.

— Вы не лапоть,— сказал Павлуша Великому-Салазкину.— А вы не плебей,— сказал он Кимчику.

— А вы не гага,— сказал Павлуше В-С.— И вы не губошлеп,— поклонился он Кимчику.

— Друзья мои, вы не плесень! — вскричал восторженный Кимчик.— Друзья, вы не скобари! — добавил он вторым криком и вдруг запел модную той весной песню: — Кап-кап-кап, каплет дождик, ленинградская погодка, это что за воскресенье?

— Моя фамилия Слон,— сказал Павел с простодушной улыбкой.

— А моя Морзицер,— хихикнул Ким.

— А меня кличут Великий-Салазкин,— представился академик.

— Как?! — вскричали юноши.— Вы Великий-Салазкин?

— Это через черточку,— пояснил великий старик лукаво.

— Вот именно через черточку! ВЫ ТОТ САМЫЙ, КОТОРЫЙ!..

Да ведь мы вас еще в школе проходили!

Да ведь ваших трудов в Публичке полный стеллаж да еще и переводы на всех живых языках!

Да ведь вы один из тех, что служить заставили людям мирный атом!

Значит, вас рассекретили?

Вы! Вы!

Особенно волновался Павел.

— Я читал ваши труды, я преклоняюсь перед вашей титанической...

— Кончай. Алё, кончай,— сконфузился Великий-Салазкин.

— У нас все передовые умы биофака следят за нуклеарными победами,— с чувством проговорил Слон и любовно пожал худенькое плечико академика своей ватерпольной рукою.— Молодчага вы, В-С, вот что я вам скажу.

— Айда гулять,— предложил Великий-Салазкин, выворачиваясь, но восторг уже был подхвачен Кимом Морзицером.

— И мы, гуманитарии!..— вскричал он и вдруг почему-то осекся, словно боясь быть пойманным за руку.— Гулять! Браво, В-С! Идемте гулять!

Смущение Кимчика под собой почвы никакой не имело. В самом деле, вполне он мог считать себя гуманитарием, ибо всего лишь неделю назад был отчислен за пропуски лекций из гуманитарного библиотечного института, в котором проучился почти что год после некоторых неудач в лесотехнической академии, где он, бывший студент горного фака, еще донашивал черную тужурку с золотым шитьем на плечах, которую все же порвал однажды на делянке экспериментального можжевельника, вместе с тельняшкой, полученной еще на заре туманной юности в мореходке, куда Морзицер сорвался после провала весенней сессии на журфаке, что тоже, конечно, можно причислить к гуманитарной биографии. Да и нынешнюю деятельность Морзицера в бюро молодежного клуба, в дискуссионном кружке «Высота», в секциях, в стенной газете «Серости — бой!» тоже можно без всякой натяжки назвать гуманитарной деятельностью.

Павел Слон был в золотой преддипломной поре, лидер факультета по всем направлениям. Борьба за узкие брюки, которую он возглавлял, закончилась в его пользу. Джаз тоже начал вылезать из рентгеновских кабинетов. Любимая наука шла вперед семимильными шагами и, как пишут в газетах, раздвигала горизонты. Любимая девушка Наталья параллельно оканчивала физмат, и оба фака уже называли ее Слонихой. «Танец слонов»,— под общий дружеский смех объявлял на арендованных вечерах в знаменитой питерской школе «Петер шуле» саксофонист Самсик Саблер, и они открывали бал под любимый многострадальный ритм «На балу дровосеков».

Павел осваивал акваланг, внедрялся в генетику, изучал свою Наталью — жизнь была заполнена до каемочки, и впереди были одни надежды — шла одна из лучших ленинградских весен, мир был распахнут на все четыре стороны... и тут еще такая встреча! Смурняга, скромняга, эдакий рыжебородый банщик оказался легендарным ученым. Свой парень, «неквадратный», отличный мужик — В-С, Великий-Салазкин.

Отправились гулять. Павел, конечно, решил показать приезжему с номерного Олимпа «свой Ленинград», гнездовья новой молодежи. Увы, как назло, Самсика собаки съе-

ли, Овербрук болен сплином, а Наталья небось на проспекте Майорова хвостом вертит — еще устроим проверочку!

Из телефонной будки Слон вышел обескураженный, и тогда за дело взялся Кимчик. У него, конечно, тоже был «свой Ленинград». Час, а то два бродили новые друзья по проходным дворам Васильевского острова, по задам продуктовых магазинов, опрокидывая поленницы дров и штабели бочкотары. Морзицер саистел в форточки первых этажей и полуподвалов каким-то условным свистом, индийским с клекотом. Полуподвалы давали отпор, и тогда приходилось бросаться в бегство по гулким торцам мистического острова, причем первым всегда убегал Великий-Салазкин, задрав брючата из довоенной диагонали.

— Давайте я вам свой Ленинград покажу,— сказал наконец Великий-Салазкин и привел друзей на Витебский вокзал в буфет, к сосискам и молочному дымному кофею.— Давайте погреемся, корешки.

И впрямь было славно. Бродили по запасным путям с чайником кофея (буфетчица оказалась добрейшей знакомой Великого-Салазкина), с гирляндой полопавшихся от железнодорожного котла сосисок. Тихо, скромно говорили о жизни, о своих планах, внимали друг другу.

— А я скоро уезжаю в далекие края,— сказал Великий-Салазкин.— В Сибирь намыливаюсь на постоянное местожительство.

— А как же нуклеарная наука?! — вскричал при этом известии Павел.— Как же плазма, нейтрино, как же твердое тело? Кто же выловит из пучин пресловутую Дабль-фью?

— Вот именно наука,— говорил Великий-Салазкин.— Сейчас принято решение всей научной лавиной ринуться на Сибирь. Строят там уже в разных местах научные крепости, и я себе присмотрел болото. Что-то тянет меня туда тихо, но неумолимо.

— А какое же это болото? — спросили Ким и Павел с непонятным, но нарастающим волнением.

Великий-Салазкин заквасился, занудил, замочалил свою бороденку.

— Стыдно сказать: обыкновенная вмятина, гниль болотная, но посередь нее, мужики, остров стоит с дивными пихтами.

— Знаю я это место! — вскричали одновременно и Слон, и Морзицер, и от этого крика прошла над ними по проводам странная музыкальная гамма.

Оказалось, что Морзицер в районе этой вмятины однажды кочевал и в должности коллектора экспедиции утопил в болотном окне мешок с образцами. Однако сам не утоп, струей донного газа был вышвырнут на поверхность.

Оказалось, и Павел Слон умудрился побывать в этой вмятине. Летел на велосипедные соревнования в сибирский город, вдруг — бац! — вынужденная посадка, дичь, мужик с бидоном, в бидоне — самогон, стал пить для возмужания личности и опомнился среди болот. Месяц там ловил и изучал гадюк для любимой науки. Здесь, на гадюках, и усомнился впервые в знаменах исторической сессии ВАСХНИЛ. Опять возьмите, как все переплелось: случайности плетут с совпадениями некий кружевной балет, и получается странная закономерность. Попробуйте свести в трехмиллионном граде трех лиц, сидевших когда-то на одной кочке.

— Великолепнейшее место для науки,— сказал Павел.— Думаю, что в точку попали, В-С.

— И для прогресса,— добавил Ким.— Туда только палочку дрожжей кинуть, и прогресс вспухнет, как кулич.

— Спасибо, ребя, за моральную поддержку,— едва ли не прослезился Великий-Салазкин.— А то мне миогие коллеги говорят — не валяй, мол, ваньку. И коммуникации далеко, и народу вместе с медведями всего два на квадратный килОметр...

К характеристике академика следует добавить еще его аристократические ударения. Не исключено, что именно от него пошла шуточка про дОцентов, прОцентов и пОртфели. Стеснялся старик своей душевной изысканности и потому так ударял по словам.

Друзья давно уже шли по шпалам в направлении серебристой ночи, что мягко поигрывала чешуйчатым хвостом над окраинами великого города. Тоненькая струйка пара из чайного носика колебалась над ними. Мимо промелькнул полуосвещенный экспресс.

— Заселим, осушим, протянем коммуникации,— задумчиво произнес Павел Слон, хотя за минуту до этого не собирался ни заселять, ни осушать и ничего не хотел протягивать.

— Эх, черт возьми, разобьем плантации цитрусовых! — вскричал Ким Морзицер и тут же немного смутился этой традиционной вспышки энтузиазма: уж если болото, пустыня, то обязательно вам сразу плантации цитрусовых.

Что касается Великого-Салазкина, то он тут же оранжевым глазком подколол и Слона, и Морзицера.

— Ловлю на слове! Вместе, значит, заселим, осушим, картошечку посадим, а?! Все, закон-тайга, самоотводы не принимаются. Беру вас в свою артель, мужики!

Изумленный Павлуша остановился. Кристаллическое будущее, пронизанное яркими пунктирами аспирантуры и докторантуры, вдруг кончилось, оплыло дождевыми потоками, распалось на мелкие части спектра и построило непонятную, но красивую загадочную фигуру.

Воображение Кимчика подобно мохнатому доледниковому носорогу уже неслось сквозь джунгли будущего, отбрасывая копытами и рогом молодежный клуб, проблемное кафе, кресло в обществе «Знание», твердые гонорары, мягкие подушки на просиженной в мечтах тахте.

— Я еду! — одновременно сказали молодые люди, и три гласных звука этой короткой фразы взлетели к проводам контактной подвески.

— Вот сейчас бы нам бутылка не помешала,— сдавленно сквозь кашель в мочалку пробормотал Великий-Салазкин.

Павел восхитился: вот он — айсберг! Научный титан прячет четыре пятых своего чувства под водой, а на поверхности оставляет всего одну бутылку.

В дымных сумерках индустриальной ночи на друзей неслись три горячих глаза. Прощелкали мимо почтовый, скорый и молния. Один звенел мелочью в карманах спящих пассажиров, другой стаканами в подстаканниках, третий лауреатскими медалями. С последнего вагона соскочила и скособочилась у будки стрелочника неясная фигура.

— Не знаю, как у вас,— заговорил вдруг проникновенно Великий-Салазкин, будто уже стакан выпил,— а у меня бывают такие периОды эдакой замшелости, вонючей тряпичности. Гоняешь, гоняешь проклятую невидимку по ускорителям да по извилинам собственного церебруса,— он виновато постучал по макушке,— и вдруг чуешь — заквасился, засолился, как позапрошлая кадушка. Тут-то чего-то надо делать — или влюбляться платонически, свирепо, до хруста поэтических фибр, или графоманствовать, или дерзкие речи ермолкам в академии читать, или... Или лучше город в тайге построить, эдакую железку отгрохать, чтобы давала пульсацию на тыщи километров, чтобы наука там плескалась, как нагая нимфа в хвойной ванне, чтобы росла талантливая мОлодежь, вроде вас, и чтоб утверждала везде боевую жизнь во имя познания прЕдмета, а главное: во имя дальнейшего сквозь тайгу и глухоту проникновения и простирания нашей мыслящей и культурной Родины, чтобы значит... так... вот... ну этого... туда... гугукх...

— Вы кончили, В-С? — вежливо спросил Павел, обеспокоенный вылезанием айсберга, и вдруг, забыв сам себя, вскричал: — Гип-гип-ура Великому-Салазкину! И да здравствует...

Конечно, сил у него не хватило воскликнуть «да здравствует новый город науки на просторах необъятной Сибири», и он подумал — что же да здравствует? Как бы ее поприличнее восславить, эту будущую железку?

— И да здравствует Железка! — хором воскликнули все трое и, обняв друг друга за плечи, протанцевали кружком танец ведьм из балета «Шурале».

Вдруг они увидели: будка стрелочника, оказывается, вовсе и не будка, а нечто похожее на цирковой фургон. От него отделилась неясная согбенная фигура факира и позвала их крылом, похожим на лоскутное одеяло.

— Вот он! Сам нас нашел уважаемый Люций Терентьевич Флюоресцентов.

Карменсита

— Прошу почтеннейшую публику на представление! Как несравненная Грейс Келли полюбила нищего князя Монако и что из этого вышло! Заглатывание кавалерского меча в четыре приема! Комментарии на европейских языках! — так возвестил факир Люций Терентьевич Флюоресцентов.

— Ах, вздор! Вот уже сто лет одна и та же программа,— вздохнули в публике.

Плесенью, дешевой пудрой, лежалыми марципанами пахло за кулисами полотняного цирка, где старый лев, лежа на расползающемся пузе, рвал мохнатой лапой трепещущую курку и где на опилках, пропитанных острой, как нашатырь,

мочевиной, пожилой мальчик пан Пшекруй бардзо добже репетировал древнюю гуттаперчу.

Вот как бывало по ночам на площадях в глубинах старой Европы, где славянское и немецкое порой переплеталось в бронзовых позеленевших скульптурах, и тоненькие струйки всю ночь тенькали в городских фонтанах для поддержания захолустного чувства земного рая.

За шторкой, откуда сквозил лунный свет серебряного века, хоть и далеко, но отчетливо — и, конечно, с балкона и, конечно, в одиночестве — весело и самозабвенно развлекался саксофон.

За шторкой оказался просто-напросто кусок любимого города, тот, что мокнет на звдах Александринки в самом горле улицы Зодчего Росси.

— Маэстро, уберите ваш пожелтевший веер из страусиных перьев, за которым возмущенно гонялся еще колонель Биллингтон в те дни, когда лопасти первого полезиого парохода так обижали непривычных крокодилов реки Заир и когда мужчины подпирали свои клубничные щеки только что синтезированным целлулоидом и подкручивали кончики усов, подражая последним Гогенцоллернам и первому князю из дома Фиат,— и дайте пройти, маэстро!

— Ох уж эти нафталиновые фокусы в наш век стерео!

— Нонсенс!

— Не верю!

— И все-таки приятно — согласитесь!

Могучий дом шестью этажами зеркальных окон смотрел на них, как живой. Он был высокий и узкий, живой и добрый, и над полукруглым своим ртом он имел усы, сплетенные из наяд и винограда, и сквозь шесть этажей своих модерных, цейсовских, немного опять же старомодных, но надежных стекол он смотрел на подходящую троицу с привычным радушием.

Сначала она (уж не та ли, что мы ищем столько лет?) мелькнула в окне верхнего этажа. Так быстро, что они и разобрать ничего не сумели, просто почувствовали ее присутствие. Промельк повторился на пятом, но уже как видимый язычок огня. И вдруг на четвертом, в третьем от края, явилось во все стекло ее лицо, и было оно в этой простой оправе таким простым, таким женским, что, глядя на него, и в самом деле не до подвигов и не до славы. Увы, сей миг был хоть и незабывасмым, но мгновенным, и вновь по этажам замелькало: пламя, плечо, локон, кисть, шаль, блаженная шаль, проклятые жемчуга... Как будто в доме этом живом нет ни потолков, ни стен, ни паркета, таким свободным, трепетным и страстным был ее танец, пока не пропал. Все пропало, и дом смотрел теперь на них своими цейсами, как задумавшийся профессор. Все было безмолвно, если не считать шалого саксофона. Тот развлекался неизвестно где, в пространстве другого века.

Они уже стали скорбеть о пропаже, когда в подъезде заскрипели двери мореного дуба, и в глубине черноты явилась она во весь рост.

Как эти трое боялись насмешки! Но она не смеялась, а скорее была драматична, словно меццо-сопрано. Она приблизилась и встала уже на крыльцо в своем платье и в шали, чей узор был составлен из черного и красного, и красный цвет был глубок, а черный был слепящ среди ночи...

Лишь бы не расхохоталась, молили... Она не расхохоталась. Она лишь подняла руки к плечам, и невидимый швейцар опустил на плечи белое. Еще мгновение, и все исчезло в белом, и уже не женщина, а кокон, дурман раскаленного Самарканда быстро скользнул с крыльца и растворился в глубине улицы Зодчего Росси, которая замыкалась, как ни странно, мечетью Биби-Ханым, а дальше в провалах уже клубилась азиатская пыль, простиралась древняя щебенка на тысячи миль...

Петух

Трудно ручаться за полную достоверность описанных выше встреч и событий, но и отрицание этих встреч и событий, сведение их к элементарному словечку «вздор» было бы ошибкой.

Внимание, кажется, назревает афоризм. В самом деле, слово берет еще один наш знакомый, доктор наук Вадим Аполлинариевич Китоусов.

— Лишь тот имеет право сказать «нет» уже существующему в природе «да», кто имеет право сказать «да» уже существующему в природе «нет»!

МАРГАРИТА: Ребята, опять Китоусу намешали?

МЕМОЗОВ: Если не возражаете, запишу, чтоб не пропало.

Вот вам цеив золотых слов. Унижеиный Маргаритой афоризм словно петух с отрубленной головой порхал под столом, покуда Мемозов ие взял его в ощип!

Так или иначе, ио через год или два после встречи в Ленинграде, в первой группе, пришедшей на болото, были и Паша Слон, и Ким Морзицер, а возглавил эту небольшую группу, конечно, Великий-Салазкии.

Могучая техгика была на подходе. Бульдозеры и трелевочные тракторы, плюясь соляркой, будя чертей, шли через тайгу, но начать нужно было с лопаты.

И вот по праву примитивный инструмент вручается Великому-Салазкину, и тот...

Стоп-стоп, погодите! Да кто ж тут у нас фотограф? Конечно, Кимчик, где он? Да ои от комаров бегает. Он и фотографировать-то ие умеет. Кимчик на сухофруктах спит, ребята. Эй, Кимчик, чего ж ты в нас видоискателем целишься?

Конечно, насмешки были зряшными. Умел Морзицер ие только фотиком щелкать, но даже и узкопленочным кйно запечатлевать шаги прогресса. И насчет сухофруктов тоже натяжка — никогда он на иих ие спал. Карманы ими набивал, это верно, вечно жевал эти бывшие фрукты — справедливо, но от комарья не бегал — тут уж пардон. Бегал по стройплощадке, жуя чернослив, урюк, курагу, перекатывая во рту сушеную грушу, втыкал колышки с табличками «Площадь Десяти Улыбок», «Улица Ста Гитар», «Переулок Одинокого Ми-мезоиа», чтобы все было, как в киио — современные парни в тайге. Он же тогда и песенку сочинил и спел ее у костра сквозь сухофрукты, но очень заразительно:

Мы без шума и треска
Оставляем тахты,
Строим нашу Железку,
Славный город ПихтЫ...

и так далее еще 34 куплета.

Под гитарку это получалось преотлично, и всем понравилось. Особенно ликовал над этой песенкой, конечно же, Великий-Салазкин: все тридцать семь куплетов получились в его духе.

Итак, фотография. Вот оиа висит в нашем шикарнейшем конференц-зале среди авангардной живописи и уже немного пожелтела. В центре коротышка, мужичок-лесовик перед историческим ударом, от него веером возлежат молодые гиганты с лопатами и гитарами, как в гражданскую войну возлежали их батьки с трехлинейками. Во втором этаже снимка расположились дамы, бесстрашные фурии науки, и каждая играет какую-либо роль, чтобы подчеркнуть настроение: одна накомарником закрылась, как паранджой, и руки сложила по-восточному, другая изображает опереточный канкан, третья — ведьму с Лысой горы... Миогие, между прочим, удивляются, не находя среди ветеранок Наталью Слон, а некоторые, проницательные, отмечают очень уж мужественный, даже слишком мужественный вид Павлуши.

Да, из-за Железки разгорелся первый и единственный пока что конфликт в жизни Слонов. Девушка Наталья — осиная талья — яблочные грудки — глаза-незабудки отказалась сопровождать в тайгу героического мужа — и не из мещанского (как тогда говорили) пристрастия к коммунальным удобствам, а просто для самоутверждения, чтоб не очень преобладал. Правда, этот жуткий приступ феминизма продолжался недолго, но во всяком случае на исторический снимок она не попала.

Итак, Кимчик щелкнул: «Готово!» — и все вскочили, запрыгали, завопили, а Великий-Салазкин вонзил свою историческую лопату в грунт и нажал на нее кожемитовой подошвой.

Лопата разрезала травку и отвалила солидный кус сочной землицы. Землице этой надлежало попасть под стекло в качестве музейного экспоната, и поэтому Великий-Салазкин осторожно ссыпал ее на донышко цинкового ведра, и все участники торжества увидели на землице маленькую железочку, похожую на консервный ножик. Для подземного исторического предмета железочка была уж очень новенькой, такой блестящей, прямо светящейся, и поэтому Великий-Салазкин ласково спросил свою мОлодежь:

— Чья хохмА?

Вот ведь упорный старик: тысячи раз небось слышал вокруг популярное слово и все равно ударяет по нему на свой собственный манер.

Все засмеялись: небось Кимчик закопал? Нет. Кимчик отнекивался, но неохотно — как-никак хороший символ получился: первый копок, и в ведре железочка. Ну, все так и решили — Кимчик схохмил. Почему же штопор не закопал, спутник вгитатора? Ладно, и консервный нож сойдет, все равно под стекло. «Погодите»,— Великий-Салазкин распорядился консервным ножом по-своему, размахнулся и закинул в самую топь — туда, где возвысится, по его задумке, Институт Ядерных Проблем. Бросок получился хороший — только брызги зеленые полетели.

Между прочим, эти брызги мы вспомнили пять лет спустя, когда уже поселилась в недрах Железки кибернетика. Автор однажды, гуляя в сумерках по улицам молодого города, поймал в воздухе обрывок перфокарты, на котором всякий мало-мальски грамотный человек смог бы прочесть стихотворение неизвестного автора.

№ 7

В одной из брызг, застывшей на мгновенье,
мы увидали скаты водопада,
сухой земли унылый кайнозой,
уступы гор и рыжую саванну,
гортань скворца
в драку скорпионов,
набег волов на океанский берег,
пятно мазута, молнии кустистой
разряд в ночи над Южно-Сахалинском,
над Сциллой и Харибдой...
К Геллеспонту стремниной узкой
ящик из-под мыла
бесстрашно мчался, возбуждая воду
к процессу стирки,
словно сам был мылом...
пока не скрылся в синих пузырях...
(Потом все скрылось.)

Мы знаем, что рассказом о строительстве научного городка теперь никого не удивишь, тем более что в памяти свежи заметки, очерки, киносюжеты о Дубне, Обнинске, о новосибирском Академгородище.

Стройка в Пихтах ничем не отличалась от других. Те же трудности, те же восторги, тот же бетон, те же паводки, водка, штурмовка, шамовка, тарифные сетки и дикий волейбол среди выкорчеванных пней... Прорабы, правда, удивлялись: что-то очень уж споро все идет, как-то ловко, гладко, быстро — и бетон схватывается быстрее, и арматура вяжется чуть ли не сама собой, и механизмы не ломаются, а, напротив, обнаруживают в себе какие-то дополнительные мощности.

Некоторым водителям самосвалов, например, казалось, что у них в двигателях какие-то усилители появились, будто искра стала толще и сжатие мощнее, а некий шоферюга Володя Телескопов утверждал, что три дня ездил с пустым баком, но ему кто ж поверит.

В общем, недосуг было вдаваться в эти подробности и, если уж кто хотел объяснений, то объясняли все водой. Такая, мол, здесь вода — железистая и витаминозная, хотя какое отношение имеет водяной витамин к двигателю внутреннего сгорания, никому неизвестно.

Приезжающим очень нравилась Железочка, некоторые просто-таки влюблялись в нее с первого взгляда, как мужчины, так и женщины.

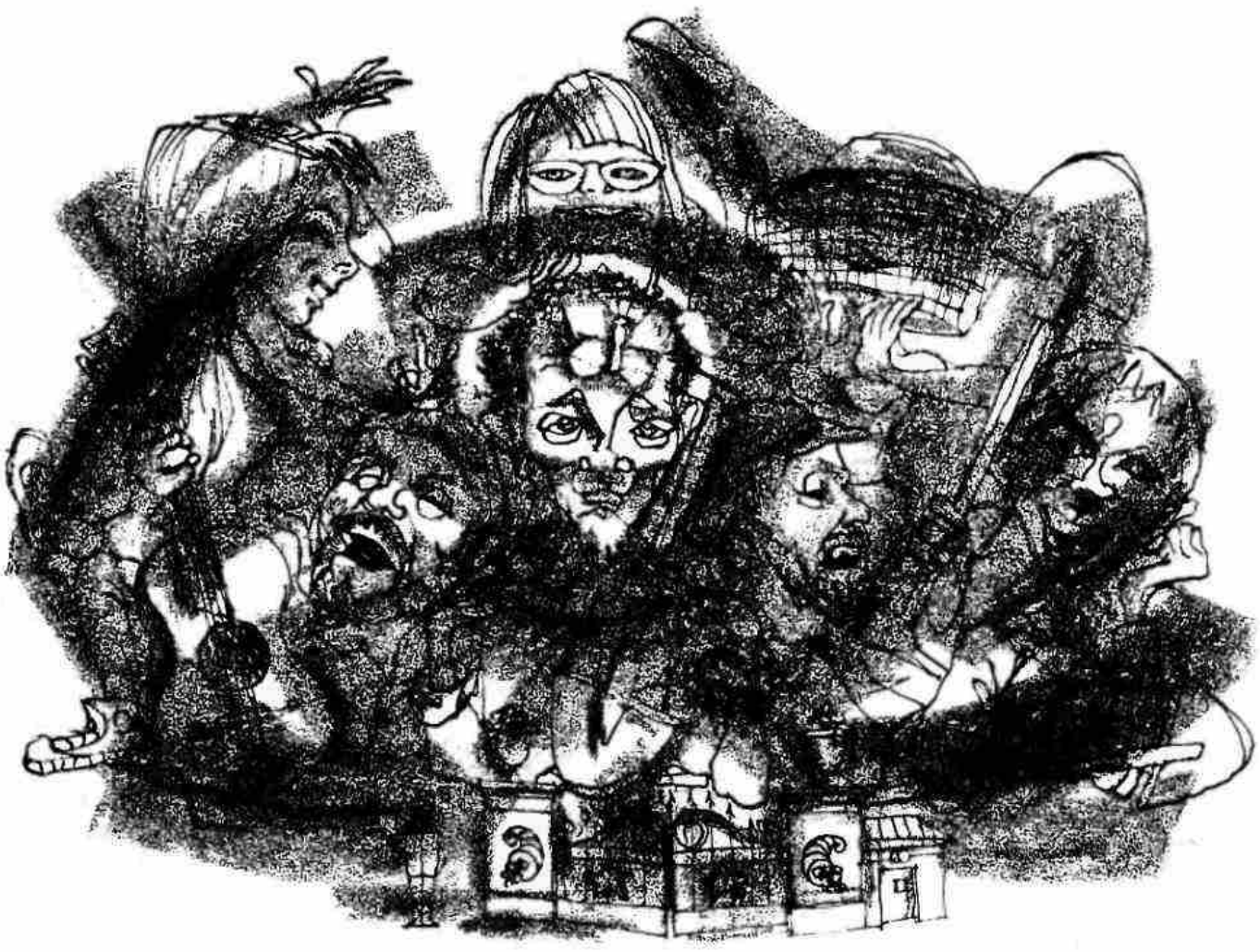
Приехала, например, однажды под вечер молодая крепкая женщина в брюках чертовой кожи, под которыми можно было только вообразить ее греческие ножки, в горных ботинках, скрывающих продолговатые ступни Артемиды, в застиранной телогрейке, под которой лишь угадывались осиная ее талия и девичьи грудки, что две твои зрелые антоновки. Приехала в кузове грузовика независимая и даже злая, с угрожающей синевой в театральных, вроде бы ничего не видящих глазах. Взвалила на каждое плечо по рюкзаку и, никому ничего не отвечая, пошла по колее в гору.

Стояла уже унылая пора, что очаровывает очи, но взгляд приезжей был угрюм, и не радовали ее кровавые скопления рябины в сквозном бесконечном лесу, и башмаки ее давили мелкие льдинки в застывшей колее не без отчаяния.

Но вот она остановилась на гребне холма и увидела внизу маленькие и большие котлованы, экскаваторы, пустынно отражающие холодный закат, лабиринт уже готовых фундаментов, уже наметившиеся под этим глухим, захолустным и равнодушным небом контуры Железки, и тогда она вздохнула легко и счастливо, всей своей тренированной грудью, от гортани до самых мелких альвеол.

— О, как она прекрасна!

Позднее она спрашивала себя, чем же восхитила ее с пер-



вого взгляда заурядная стройплощадка, и не могла найти ответа.

— О, как она прекрасна! Как она об-ворожительна!

Так обворожил, а может быть, и заворожил ее этот первый миг и первый взгляд, что она не сразу обнаружила рядом с собой мужчину, эдакого молодого Хемингуэя, кожаного, с трубкой, с жесткой бородой. Но вот обнаружила.

— Ты рехнулась, что ли, Наталья? — глядя в сторону, спросил мужчина.— Без телеграммы, на грузовике...

Да вовсе она и не к нему ехала, плевать она хотела на всяких этих суперменов, еще чего — какие-то телеграммы... Что же вы, мистер, собирались меня встретить в кадиллаке?.. с букетом роз?.. ах, как вы стали неповторимо героичны... ну пока... где здесь общага?..

Вот так она и собиралась с ним поговорить, неутомимая суфражистка, но что-то шло снизу, из глубины, какое-то обворожение, и, ни слова не сказав, она залепила ему губы своим ртом... и так стало тесно, что пальцы его с трудом нашли пуговки на груди, и она чуть подалась назад — пусть любимый скорее схватит своих любимых, пусть быстрее ведет куда-нибудь... Пусть мстит он мне за мою глупость, пусть он меня накажет, но пусть не отпускает, раз поймал. И он не отпускал. И не отпустит никогда!

За шаткой стенкой кто-то пел, пиша письмо:

Мы здесь куем чего-нибудь железного,
И ждем вас в гости.
Нина, приезжай!

И вот уже появилась проходная и сел в ней заслуженный артист Петролобов. Когда-то солировал казаком в забайкальском военном хоре, однако голос сорвал и получил другой важный участок — проходную.

Однажды утром шли ученые на площадку и вдруг обомлели: за ночь выросла на пустыре монументальная проходная с лепными гирляндами фруктов и триумфальные ворота чугунного литья с неясными вензелями, золочеными пиками и опять же гирляндами фруктов, символизирующих плодородие.

Конечно, молодые люди восприняли сказочное сооружение как рецидив чего-то уже отжившего и возмутились. Что за безобразие? Вздор какой-то, отрыжка архизлишеств. Котельническая набережная! Кто осмелился нашу Железку украсить такой короной? Протестуем! Мы куем здесь современную научную Железку и новые лаконичные, динамичные, темпераментные формы второй половинки Ха-Ха. В печку эти ворота! А из чугуна отольем этиловую молекулу в стиле Мура или в крайнем случае гантели. В печку! В печку!

И тут Великий-Салазкин (он тоже со своей лопаточкой каждый день ходил на стройку) промолвил тихим голосом:

— А я бы на вашем месте, киты, оставил бы этот зоопарк как симвОл и как память.

— Какая еще память?! — загалдели ребята.

— Как память о вашей молодости.

— Какая еще молодость?! Чудит В-С! — шумели ребята.

— В нашем нуклеарном деле, там, где требуется много гитик, не успеешь чихнуть, как пара десятилетий проскочит, а ведь эта титаническая архитектура напомнит вам вашу юность, вторую четвертинку Ха-Ха, как вы выражаетесь, киты и бронтозавры.

Киты и бронтозавры задумались: есть ли сермяга в словах В-С?

— А в самом деле, ребята,— тихо проговорил Паша Слон,— пусть постоят воротики,— и вошел в проходную, и все вслед за ним зашли и даже показали з. арт. Петролобову удостоверения личности: у кого что было — топор, перфоратор, лопату. Очень был доволен бывший тенор: понимают люди, что к чему, и идут в проходную, хотя и забора пока что нет.

И впрямь, говорим мы в авторском отступлении, прав оказался Великий-Салазкин. Вот пролетело уже полтора десятилетия, и кто из нас может представить себе Москву без ее семи высоток, этих аляпок, этих чудищ, этой кондитерской гипертрофии? Смотрю я на новое, стеклянное, с выгнутым всем на удивление бетоном и ничего не шевелится в душе, глаз спокойно отдыхает. Подхожу я к какому-нибудь генеральскому дому с нелепейшими козьими рогами на карнизе, с кремом по фасаду, с черными псевдомраморными вазонами, которые когда-то презирал всеми фибрами молодого темперамента, и вдруг чувствую необъяснимое волнение. Ведь это молодость моя — в этом презрении, и вот я здесь шустрил — утверждался от автомата к автомату, и многие наши девочки жили в этих домах... все пролетело... и презрение вдруг перерастает в приязнь.

Надо сказать, что научная мысль отнюдь не засыпáла в период строительства и, невзирая на известку, глину, запахи карбида, она, пожалуй, даже клокотала. Да, она клокотала по вечерам в так называемой треп-компании, на складе пиломатериалов, где на сосновых досках, на чурбаках и в стружках располагались в непринужденных позах физики и математики, генетики и хирурги, химики и лингвисты, среди которых, конечно, прогуливался Ким Морзицер с гитаркой, с фотовспышкой, с тяжелым магнитофоном «Урал» и кофемолкой.

Формулы и изречения писались углем на фанере, и на этой же фанере пили кофе, кефир, плодово-ягодный коньяк-запеканку. Немало бессмертного смыли подтеки этих напитков, немало и напитков зря пропало из-за бессмертного.

Безусловно, каждый вечер отдельное групповое клокотание по специальностям сливалось в общий гам, где не разбирали Who's who, а крыли по поверхности мироздания всей Золотой Ордой, лишь бы быстрее докатиться до Урала, до Геркулесовых столбов, до пряных стран, до Пасифика.

Вот, к примеру, общий хор, который непривычному уху покажется, возможно, диким и нестройным, но в котором поднаторевший автор что-то все-таки улавливает.

...чтобы быстрей ее вывести в пучок как некогда Монгольфье парил с прибором нужно четыреста тысяч литров перхлорэтилена и еще четвертинку иначе зараза такая в дебри уйдет в мезозойскую эру и ищи ее дальше как суффис «онк» у молчаливых народов Аляски вращением минеральной пыли в банаховом пространстве так некогда сделал Малевич в природе черного квадрата загадки прячем в донкихотские латы ну что ж попробуй без мельницы фига ты вытяишь из своих шахт даже если метаморфоза зависит от массы покоя и энергии нейтрино а ваша цыганочка выражается формулой Востершира и Кетчупа без учета еще бы процента изотопа гелия-3 а если прямо рубить в лоб постариковски, то кто ж тогда будет тем солдатиком, красивым и отважным?

Крыша склада пиломатериалов была далека от совершенства. Пиломатериалов на нее не хватило, и порой над горячими головами зияли пучины космоса и сверкали звездные миры, порой, что чаще, сеялись смешанные осадки и выделялся пар.

И вдруг однажды с крыши в общий хор вклинилась международная песенка:

Армвидерчи, Рома!
Гуд бай!
До свиданиа!

Все замолчали, но Великий-Салазкин, который давно пытался пробиться сквозь хор китов в соло, махнул рукой на звуковые галлюцинации и вопросил всю братию со штабеля тары:

— А если синие мезоны жрут оранжевых, то какого же цвета будет наша девчонка Дабль-фью? Кто знает?

— Я! — послышалось с крыши.— Я знаю!

— Леший прилетел, демон сибирский,— обрадовались ребята.

— Она блондинка, как Брижит Бардо, но глаза месопотамские,— гулко сказал леший.

— Так-так,— задумался Великий-Салазкин.— Интересный фЕномен. Выходит, альфа-то косит к синусоиде кью?

— Гениально, шеф! — весело сказал леший.— Именно к синусоиде кью, потому что дельта, обладающая свойством гармоничности в бесконечно удаленной точке, снова обращается к Прометею за формулой огня!

С этими словами с крыши на опилки спрыгнул юноша международного вида — в тирольской шляпе с фазаньим перышком, в кожаных шортах и в рубашонке, что копировала одну из тропических картин Поллака. Эдакий посланец доброй воли, прогрессивный гость международных юношеских фестивалей.

— Эрик! — закричали ученые.— Морковка! Ура, ребята, Морковка к нам свалился с Альдебарана!

Да, это был он, любимец мировой науки, анфантерибль

Большой Энциклопедии, деятель мирового прогресса Эрнест Морковников.

— А я к вам, мальчики, прямо с Канарских,— бодро пояснил он, отдирая сосульки с волосяного покрова ноги и ничуть при этом не морщась, а даже улыбаясь.

Да что, да как? А вот с пересадкой в столице пилил до Зимоярска.

— А оттуда-то на метле, что ли, прилетел, Эрик?

— Где на попутке, где на метле, а где и пёхом.

— Киты, умрет сейчас Морковка!

Начинается паника — водка, шуба, женские руки... Спасем, отвоюем! Да он же весь покрыт льдом, киты!

— Плевать, плевать! — восклицал Морковников.— Покажите Железочку! Эх, В-С, как же это вы без меня звварили кашу?

— Да ведь вас не дождешься, мУсью,— ворчливо, но любовно произнес Великий-Салазкин и даже фыркнул от смущения, потому что и все фыркнули. Получалось, что В-С вроде бы Голенищев-Кутузов, а Морковка вроде бы князь Багратион, эдакий любимый воин.

— Ну ладно, чего уж там, залезай, Морковка, в шубу, в валенки, понесем тебя на поклон к Железочке.

Надо сказать, все немного волновались — а вдруг после женев да лозани не покажется Железка молодому академику?

И'впрямь, что же тут может особенно понравиться приезжему человеку, даже и неиностранцу? Ну, корпуса недостроенные, ну, ямы, ну, краны... иу, вот ворота еще эти идиотские... На всякий случай подготовлена уже была оборонительная реплика:

— А кое-кому пол-кое-чего не показывают.

Да нет, не зря все-таки любили Эрнестулю в молодой науке. Свой он парень, в доску свой, несмотря на гений. Приподнявшись с трудом на плечах товарищей, Морковников прошептал сквозь клекот обмороженных бронхов:

— Она прекрасна, киты... Эти зачатки, эти зачатки... пусть это последнее, что я вижу в объективном мире... это об-ворожительно... я люблю эти зачатки...

Тут он потерял сознание.

Позднее, когда уже сознание вернулось, некоторые пытались узнать у Морковникова, квкие он имел в виду «зачатки», но он не помнил.

Скоро сказка сказывается, и, между прочим, дело скоро делается, потому что время... время не терпело.

Время действительно жарило через кочки тройным прыжком. «Киты» и опомниться не успели, как вылезли из времянок и влезли в трехкомнатные квартиры, как пересели с пиломатериалов в мягкие кресла, как подкатились к ним под ноги асфальтовые дорожки, как заработали ЭВМ в чистоте и прохладе, как закружились протоны в гигантском цирке со страшным скрипом, грохотом и воем, как треп-компания перекочевала на вертящиеся коктейльные табуретки кафе «Дабль-фью», возникшего на пустом месте стараниями, конечно, Морзицера.

Операция «Кафе», надо сказать, была не из легких. Сначала заманили, под видом обычных пищевых дел, Зимоярский трест нарпита, и он открыл в Пихте унылую столовку на полтораста посадочных. Потом, под видом маляров, выписали из столицы паруташистов, и те так расписали стены, что зимоярские повара сбежали. Потом в уголок за кассой Слон усадил своих дружков из Питера, боповый квартет, и те так вдарили по нервам, что и квссирша сбежала, и директор. Тогда уж и прибили вывеску: «Дабль-фью, разговорно-музыкальное кафе по всем проблемам».

Что касается прогрессивной торговли, то здесь неожиданную лепту внес Великий-Салазкин. Однажды, когда уже начался в Пихтах быт и встал вопрос, где ученому в промежутке между фундаментальными открытиями купить зубную щетку, швейную машинку, хоккейную клюшку, В-С внес рекомендацию:

— Я один раз, киты, решил в Москве купить себе ковбойку. Захожу в универсальный магАзин и вижу: ковбоечки висят — мама рОдная — глаза разбежались. Нацелился я уже в кассу, как вдруг меня берут за пуговицу. Смотрю — красивый, белый с розовым, мускулистый человек смотрит на меня пронзительными голубыми глазами. Добрый день, говорит, я директор. Появляется второй точно такой же человек, как впоследствии оказалось, супруге товарища Крафаилова.

«Тася, этот гражданин хочет купить ковбойку»,— говорит директор, дама улыбается и включает проигрыватель.

Звучит музыка, а я до того трёхнулся, что еле узнаю концерт Гайдна соль-мАжор, но постепенно успокаиваюсь. А Крафаиловы тем временем мирно и скромно сидят рядом. «Ну вот,— говорит он, когда пластинка кончается,— пойдемте. Теперь вы купите то, что вам нужно». И я иду, киты, и покупаю с ходу бутылку алжирского вина, украинскую рубашку и банку витаминных драже. Вот так!

— Где эти ваши Крафаиловы? Зовите! — высказались «киты».

Нечего и говорить, что Железка сразу об-ворожила Крафаиловых, можно сказать, пленила навсегда.

Да и сами Крафаиловы пришлись в Пихтах ко двору. «Китам» импонировала их скульптурность и душевность, немногословие и твердость в тех немногочисленных поступках, которые им приходилось совершать.

Так, в общем, и жили рядом с Железкой крупнопанельные Пихты, так и разрастались.

Ах, восклицает в этом месте автор, как много я оставляю за бортами своего кораблика! Как много я не отразил!

Вот здесь бы автору одолжить трудолюбия у кого-нибудь из коллег и начать отражать неотраженное в хронологическом порядке или по степени важности. Нет, я не хочет отражать, рулит туда-сюда, крутится угрем в стремнине родной речи, выкидывает пестрые флажки, выстраивает неизвестно для чего команду, ныряет в трюмы, якобы по срочному делу, а то и палит фейерверком с обоих бортов, чтобы задурить читателю голову, но только бы не отразить!

Почему бы, например, не сказать, что за истекший отрезок времени в научном центре Пихты сделано множество важных работ, и почему бы не рассказать в неторопливой художественной форме о важнейших?

Нет, я не делает этого, чтобы не обнаружилась некоторая авторская неполная компетентность в вопросах науки. я размышляет примерно так: «Пока что у меня в рОмане, как бы сказал мой любимый герой, с наукой полный порядочек, комар носа не подточит, а влезешь поглубже и вляпаешься чего доброго, дождешься, что в Академии наук кто-нибудь буркнет — неуч!» (Для романиста хужс нет упрека, чем «неуч» или «дилетант».)

Слава Богу, уж ели мы науку и с солью, и с маслом и немало тостов в ее честь приподняли, как реальных, так и фигуральных, отдали и мы с товарищами дань этой моде на ученых.

Кто-то в драматургии нащупал тип современного интеллектуала: зубы, как у акулы, блестят крупнейшими остротами, плечи — сочленения тяжелейших мускулов, мраморная в роденовском духе голова (там воспоминания о Хиросиме и фугах Баха, а между ними, конечно, $e=mc^2$), ноги изогнуты в твисте (ничто молодежное нам не чуждо), ладони открыты сексу, морю, Аэрофлоту.

Повалили журналисты, приехали киношники, модные писатели один за другим коптили потолок в «Дабль-фью», с опаской поглядывали на небожителей, прислушивались к разговорам, помалкивали, как бы не сморозить глупость, не проявить невежество, давили на коньяк, на зарубежные впечатления.

Художники привозили в Пихты свои холсты, да там и оставались работать: кто в милиции, кто на почте, кто комендантом общежития.

Между прочим, тип, подмеченный и вы-ве-ден-ный драматургами, был все-таки похож на оригинал, как похожа, например, скульптура «Девушка с веслом» на настоящую девушку без весла. Надо сказать, что некоторые «киты» купились на этом сходстве, приняли предложенную обществом игру и стали активно формировать образ нового интеллектуала с всезнающей усмешечкой, с зубами, с твистом, с мучительными углубленными раздумьями по ночам, когда стюардесса уже спит.

Да пусть играют, думал Великий-Салазкин, пройдет и эта кадильня. Старик почуял запах моды еще задолго до начала паломничества униженных Эйнштейном гуманитариев. Первыми птичками моды были, конечно, романтики.

Молодых романтиков, да причем не карикатурных, не из кафе «Романтика» не тех, у которых «сто дорог и попутный ветерок», а настоящих романтиков с задних скамеек инсти-

тутских аудиторий,— вот таких Великий-Салазкин изрядно опасался. Возможно, начинали они с «морского боя», с «балды», но потом уже появились и томики Хемингуэя, и собственная записная книжечка, где разрабатывались разные варианты «моей девушки», и наконец выковался тип современного романтика — эдакого мрачноватого паренька, стриженного ежиком, за плечами которого обязательно предполагаются разрушенные мосты и сожженные корабли, «который плюнул на все» и явился сюда в глухомань, чтобы больше уже не вспоминать «их городов асфальтовые страны». Есть среди них вполне толковые ребята, но ведь кто поручится, что завтра романтик не «махнет на Тихий», не сменит лабораторный стол на палубу китобойца, дрейфующую льдину, заоблачный пик, чтобы сколотить себе в актив настоящую мужскую биографию.

Однажды в прозрачный августовский вечер Великий-Салазкин прогуливался за околицей города, прыгал с кочки на кочку, собирал бруснику для варенья, размышлял о последней выходке старика Громсона, который заявил журналу «Плейбой», что его многолетняя охота за частицей Дабль-фью суть не что иное, как активное выраженье мужского начала.

Тогда и появился первый из племени романтиков, наитипичнейший.

Он спрыгнул на развилке с леспромхозовского грузовика и пошел прямо в Пихты, а В-С из-за куста можжевельника наблюдал его хорошее романтическое лицо, сигарету, приклеенную к нижней губе, толстый свитер, желтые сапоги гиппопотамьей кожи и летящий по ветру шарфик «либерте-эгалите-фратерните». Когда он приблизился, В-С пошел вдоль дороги, как бы по своим ягодным делам, как бы посвистывая «Бродягу».

— Эй, добрый человек, далеко ли здесь Пихты? — спросил приезжий.

— Да тут они, за бугром, куды ж им деваться.— В-С раскорякой перелез через кювет и пошел рядом.— А нет ли у вас, молодой человек, сигареты с фильтром?

— Зачем тебе фильтр? — удивился приезжий.

— Для очищения от яду,— схитрил В-С, а на самом-то деле он хотел по сигарете определить, откуда явился «романтик».

— Я, брат, солдатские курю, «Лаки страйк»,— усмехнулся приезжий и протянул лесовичку пачку «Примы» фабрики «Дукат».

— Из столицы, значит? — спросил Великий-Салазкин, крутя в пальцах затхлую полухудую сигаретку, словно какую-нибудь заморскую диковинку.

— Из столицы,— усмехнулся приезжий.— Точнее, с Полянки. А ты откуда?

— Мы тоже с полянки,— хихикнул В-С и даже как-то смутился, потому что этот хихик на лесной дороге да в ранних сумерках мог показаться и зловещим.

Однако романтик был не из тех, что дрожат перед нечистой силой.

— Вижу, вижу,— сказал он.— По ягодному делу маскируешься, а сам небось в контакте с Вельзевулом?

— Мы в контакте,— кивнул В-С,— на столбах, энергослужба.

— Понятно, понятно,— еще раз усмехнулся «романтик», и видно стало, что бывалый.— Электрик, значит, у адских сковородок?

— Подрабатываем,— уточнил Великий-Салазкин.— Где проволочка, где брусничка, где лекарственные травы. На жизнь хватает. А вы, кажись, приехали длинный рублик катать?

— Эх, брат, где я только не катал этот твой рублик,— отвлеченно сказал романтик, и тень атлантической тучки прошла по его лицу.

— А ныне?

— А ныне я физик.

— У,— сказал Великий-Салазкин.— Эти гребут!

— Плевать я хотел на денежные знаки,— вдруг с некоторым ожесточением сказал приезжий.

«Во-во,— подумал В-С.— Приехал с плеванием».

— А чего ж вы тогда к нам в пустыню? — спросил он.

— Эх, друг,— с горьким смехом улыбнулся неулыбчивый субъект.— Эх, кореш лесной, эх ты... если бы ты и вправду был чертом...

— Карточку имеете? — поинтересовался В-С.

— Что? Что? — приезжий даже остановился.

— Карточку любимой, которая непониманием толкнула к удалению,— прошепелявил Великий-Салазкин, а про себя еще добавил: «И к плеванию».

— Да ты и правда агент Мефистофеля!

Молодой человек остановился на гребне бугра и вынул из заднего кармана полукожаных штанов литовский бумажник и выщелкнул из него карточку, словно козырного туза.

Великий-Салазкин даже бороденку вытянул, чтобы разглядеть прекрасное лицо, но пришелец небрежно вертел карточку, потому что взгляд его уже упал на Железку.

— Так вот она какая... Железочка...— с неожиданной для романтика нежностью проговорил он.

— Что, глядится? — осторожно спросил В-С.

— Не то слово, друг... не то слово...— прошептал приезжий и вдруг резко швырнул карточку в струю налетевшего ветра, а сам, не оглядываясь, побежал вниз.

Академик, конечно, припустил за карточкой, долго гнал ее, отчаянно метался в багряных сумерках, пока не настиг и не повалился с добычей на мягкий дерн, на любимую бруснику.

В наши кибернетические дни воспоминанием об этой встрече с осенних небес на руки Великому-Салазкину слетел обрывок перфокарты. Стоит ли напоминать, что всякий грамотный человек может прочесть в этих «таинственных» дырочках стихи

№ 18

В брусниках, в лопухах,
в крапивном аромате,
в агавах и в шипах
шиповника и роз,
В тюльпанах, в табаке,
в матером молочае,
в метели метиол,
как некогда поэт,
как некогда в сирень,
и в желтом фиолете,
желтофиолей вдрызг,
как некогда дитя,
расплакался старик,
тугой, как конский щавель,
Кохана, витер, сон
Их либе, либе дих...

Позднее Великий-Салазкин выяснил, что имя первого в Пихтах романтика — Вадим Китоусов. Несколько раз академик встречал новичка в кафе «Дабль-фью», но тот обычно сидел в углу, курил, пил портвейн «По рупь-сорок», что-то иногда записывал у себя на руке и никогда его не узнавал.

В-С через подставное лицо спустил ему со своего Олимпа тему для диссертации и иногда интересовался, как идет дело. Дело шло недурно, без всякого плевания, видно, все-таки не зря пустил Китоусов по ветру волшебное самовлюбленное лицо. Нет, не собирался, видимо, «романтик» подаваться «на Тихий», оказался нетипичным, крутил себе роман с Железкой и жил тихо, а тут как раз и Маргаритка появилась, тут уж и состоялось роковое знакомство.

Ах, это лицо, самовлюбленное лицо юной пигалицы из отряда туристов, что бродили весь день по Пихтам и вглядывались во всех встречных, стараясь угадать, кто делал атомную бомбу, кто болен лучевой болезнью, а кто зарабатывает «бешеные деньги». Туристы были из Одессы, и, собственно, даже не туристы, а как бы шефы, как бы благодетели несчастных сибирских «шизиков-физиков», поэтому привезли пластмассовые сувениры и концерт.

Великий-Салазкин, конечно, пошел на этот концерт, потому что пигалица в курточке из голубой лживой кожи поразила его воображение. Ведь если смыть с этого юного лица пленочку самолюбования, этого одесского чудо-кинда, то проявятся таинственные и милые черты, немного даже напоминающие нечто неуловимое... а вдруг? Во всяком случае, должна же быть в городе хоть одна галактическая красавица, так рассуждал старик.

Пигалица малоприятным голоском спела песенку «Чай вдвоем», неверной ручкой взялась за смычок, ударилась в Сарасате. Присутствующие на концерте киты шумно восторгались ножками, а Великий-Салазкин с галерки подослал вундер-ребеночку треугольную записку насчет жизненных планов.

На удивление всем пигалица ничуть не смутилась. Она, должно быть, воображала себя звездой «Голубого огонька» и охотно делилась мыслями о личном футуруме.

— Что касается планоу, то прежде всехо подхотоука

у УУЗ. Много читаю классикоу и четвертохо поколения и, конечно, бэз музыки жизнь — уздор!

— Ура-а! — завопили киты, а В-С подумал, что южный акцентик интеллигентной карменсите немного не к лицу. С этим делом придется поработать, решил он и тут же подослал еще записочку: «От имени и по поручению молодежи прихлашаю в объединение БУРОЛЯП. хде можно получить стаж и подхотоуку». Дарование прочло записку н лукаво улыбнулось — ну просто Эдита Пьеха.

— Товарищ прихглашает меня в БУРОЛЯП, а, между прочим, товарищ сделал четыре храмматических ошибки.

Да, видно, ннчем не проймешь красавицу, читательницу четвертого поколения и представительницу пятого.

В-С пришел домой, в пустую, продутую сквозняками пятикомнатную квартиру и ну страдать, ну метаться — останется, не останется? Итог этой ночи — десять страниц знаменитой книги «Оранжевый мезон».

В дальнейшем ночи безумные, одинокие, восторг, ощущение всемирности стали слабеть — 8 страниц, пять, одна и, наконец, лишь клочок обертки «Беломора», головная боль, неясные угрызения совести. В таком состоянин В-С явился ночью в 6-й тоннель БУРОЛЯПа и вдруг увидел: за сатуратором сидит чудо-ребенок, сверкающий редкими природными данными и будто бы от подземного пребывания немного помилевший. Дева Ручья! Стакан, еще стакан, еще стакан... и вновь весна без конца и без края, и стеклярусный шорох космических лучей, и буйство платонического восторга, новые страницы. Весь мир удивлялся в те дни плодовитости «сибирского великана», но никто не знал, что источник — рядом и живая вода — суть обыкновенная несладкая газировка.

Лишь Маргарита, пожалуй, догадывалась о чувствах академика, о близости лукавой нечистой силы, о возможности оперного варианта по мотивам Гуно «душа — Маргарита — адские головешки». Женщина, даже несовершенная, конечно, обладает несвойственным другому полу нюхом на любовь.

Ребро

И вновь за столом в стиле «треугольная груша» начал назревать афоризм.

ВАДИМ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ КИТОУСОВ: Что есть женщина?

МАРГАРИТА: Вот это уже интересно. Прошу тишины. Китоус размышляет о женщинах. Мемозик, слушайте, не пожалеете — это большой знаток.

МЕМОЗОВ: А я уже вострю карандаш, мой одиннадцатый палец.

КИТОУСОВ: Книга гласит, что Ева сделана из ребра Адамова, но прежде еще была Лилит, рожденная из лунного света. Некоторые утверждают, что женщина суть сосуд богомерзкий. Другие поют, что женщина суть оболочка любви. Человек ли женщина, вот в чем вопрос. Человек или сопутствующее человеку существо? Отнюдь не унижаю, нет. Может быть, существо более сложное, чем человек? Женщина храбрее мужчины в любви. Может быть, это существо более важное, чем человек? Может быть, как раз человек сопутствует женщине? Не будем сравнивать. Главное — это разные существа. Не подходи к женщине с мерками мужчины.

Ошарашенное молчание за столом было взорвано вопросиком:

МЕМОЗОВ: А с чем же прикажете к ней подходить?

В глубине взрыва Китоусов сидел, положив на руки осмеянную голову.

МАРГАРИТА: Бедный Китоус, не злись на Мемозика. Он дитя. А, между прочим, на повестке дня — ШАШЛЫК НА РЕБРЫШКАХ!

В далекие дни Маргарита встречала Великого-Салазкина каждый день в своих разных качествах: то скучающая леди, то полнокровная спортсменка, то пылкая поэтесса, то шаловливая нимфа. Искала девушка свой образ и для этого опять же бороздила литературу четвертого поколения — образ современницы!

Великий-Салазкин, спрятавшись за бетонной ногой шестого тоннеля, следил, как шуруют вокруг сатуратора его «киты», как они хохмят с новым сотрудником и как она отвечает. Девушка охотно контактировала с мудрыми лбами, интересовалась мнениями по литературе, шлифовала свои «г» и «в», эту память о Привозе, где папочка заведовал киоском по производству Нефертити. Вскоре Маргарита уже

была своей девушкой, своим пихтинским кадром и в одном только она вставала поперек голубым китам-первоборцам — в их любви к Железке.

— Ну что вы в ней нашли особенного? Допускаю, в ней есть какое-то очарование, но, согласитесь, ведь это всего-навсего обыкновенная научная территория. Ведь не Клеопатра же, не Нефертити и ничего в ней нет об-ворожительного, просто милый шарм. Не больше.

Иные киты ворчали:

— Ишь ты, шарм... Тоже мне...

Другие смеялись:

— Ревнует Ритуля...

Великий-Салазкин, спрятавшись за бетонной ногой, следил, вздыхая. Увы, он знал, что в одну прекрасную ночь в тоннеле № 6 появится какой-нибудь «романтик», и молил небеса, чтобы оказался тот без морского уклона, чтобы только не уволок карменситку куда-нибудь «на Тихий», в сельдяное царство, в бескрайний пьяный рассол. Пусть это будет какой-нибудь Вадим Китоусов, что ли...

Внутренний монолог Великого-Салазкина

А то, что мне самому причиталось по романтической части, все обвисло в конечном счете на моей соединительной черточке, на злополучной этой дефиске, без которой, как уже было сказано, моя персона невозможна.

Когда-то было время, не скрою, расцветал дефис глициниями, резедой, гиацинтом, кудрявился вечнозеленой шелушней, как грудь эллинского лешего из аттических дубрав. Когда-то — помнишь, тетеря,— Студенточка-Заря-Вечерняя ждала и тебя на фокстротном закате, но центрифуга была заряжена на пять часов, и имелись значительные трудности с электроэнергией, и пачка нераспечатанной корреспонденции из Ленинграда и Копенгагена лежала на столе, и ты вдруг в ужасе подумал о з а д е р ж к е, которая произойдет, если ты отправишься сейчас в закатные манящие края, подумал затем о своем любимом ярме, которое никому не отдашь и не обменяешь на фокстрот, на жаркую охоту в лунной Элладе, и дернул гирьку институтских ходиков, и гирька в соответствии с законом великого Исаака пять часов падала на пол и... упала!

Дефиска могла стать бархатным пуфиком, но не стала. Словно коленчатый вал, она крутила все мои годы, темнела и старела, но не ржавела, однако.

Теперь иногда одинокость кажется мне одиночеством, и я минуту за минутой вспоминаю ту ночь и падение чугунной болванки и жалуюсь Мирозданию, что меня обделили романтикой, и Оно, милосердное, шлет мне свою посланницу, и та глядит на меня сквозь форточку ночами очами вечной черноты и ободряет: старик, мол, не трусь — все впереди! С вами бывает такое, одинокие сверхпожилые мужчины?

. . . . . .

Вот так прошли годы, и все устоялось. Научный мир привык к Железке, привык прислушиваться к ее львиному рыку, принюхиваться к ее флюидам, вчитываться в ее труды и вместе с ней играть в тяжелую игру, доступную лишь титанам, передвигавшим горы в пустынные земные времена. Теперь на любой конференции в любой точке мира можно было услышать: «по последним данным Железки»... «как свидетельствует опыт Железки»... «опираясь на эксперименты, проведенные в Железке»... и так далее.

Что и говорить, Железка пульсировала, излучала свечение, пела свою серьезную тему, и местность вокруг на тысячи миль весьма облагораживалась. Что и говорить: в сфере практического применения высочайших достижений Железка наша любезнейшая тоже преуспела — некоторые ее детища вгрызлись в недра, другие вспахали морские луга, третьи взбороздили околоземные пространства.

Что и говорить: в область будущего Железочкой был послан острый лазерный луч познания, и всякий, даже чем-то задавленный, чем-то угнетенный человек становился смелее в ее железных гудящих тоннелях и смело видел в будущем картины привлекательных изменений — парные острова-проплешины в вечной мерзлоте и на островах тех, под ныне еще угрюмыми широтами, вечно-веселую фауну и вечно-шумящую флору, согретую оком вскоре ожидаемой космической красавицы Дабль-фью.

Прошли, однако, годы, прошла и мода. Схлынули журналисты, киношники и драматурги. Образ Атомного Супермена, пережеванный в репертуарных отделах, пожух, завял, засквозил унылыми прорехами. Кой-какие романтики смывались «на Тихий», переживая различные разочарования.

Разочарование

Вот ты говоришь «разочарование» и сам понимаешь, как это смешно: ведь писал же ты в школе «образы лишних людей», а ты не из них, это тебе говорит Вадим.

Твое разочарование — это поиск новых очарований, это тебе говорит Вадим, он знает.

Вот ты говоришь, разочаровался в работе, а это значит — ты ищешь новую каторгу, где больше башлей, где на тебе меньше ездят, а главное, где ты можешь больше кипятить свой котелок с ушами, это тебе говорит Вадим, а у него опыт.

Вот ты говоришь, разочаровался в бабе. Значит, другую ищешь: или монашку, или потаскушку, или дуреха тебе нужна, или товарищ-баба, едкий критик и сверчок, а может быть, просто тебе пышечку с кремом захотелось, или наоборот — птичку на пуантах, и это тебе говорит Вадим по-дружески.

Вот ты говоришь, разочаровался в друзьях, а это значит, что тебе другие ребята нужны, какие-нибудь смельчаки или, наоборот, смурные пьянчуги, джазмены, может быть, или гонщики по вертикальной стене, зануды-аналитики или заводные «ходоки» с пороховой начинкой, это тебе говорит Вадим — он видел разное.

А вот если ты говоришь, что разочаровался в жизни, ты не понимаешь своих слов, и это тебе говорит Вадим, а он это знает.

Разочарование в жизни — это отказ от всех очарований, и для того, чтобы понять, поселилось ли оно в тебе, нужно лечь на спину и заснуть, а после проснуться и увидеть перед собой голубое небо. Все остальное, что входит в понятие «голубое небо» — кипящая европейская листва и дорога среди лапландских прозрачных озер, женщина Алиса, что машет тебе из кафе, руль автомобиля, стакан вина и жареное мясо, ветер вокруг флорентийского фонтана, темная улочка Суздаля, Пскова, Таллинна, ночной Ленинград с гулкими шагами и с музыкой из подвала, где сидят твои кореша и жарят «Раунд миднайт»,— все это подразумевается, мой маленький принц.

Над тобой голубое небо. Ты только очнулся и смотришь на голубое небо. И вот ты начинаешь видеть в голубом черные пятна. Сначала разрозненные, потом собранные в гроздья, в кристаллы, потом ты видишь черную сетку, и временами для тебя все голубое становится черным, и пропадает все, что связано с голубым, а с черным для тебя ничего не связано. Вот когда ты видишь черную структуру голубого, это и есть разочарование в жизни, и это тебе говорит Вадим, а он понимает.

Итак, мы подводим черту под историческим опусом, без которого, увы, нам не удалось обойтись в силу приверженности к традиционным формам повествования. Итак, вы поняли: существует город Пихты и в нем живут наши герои, а рядом пыхтит, вырабатывая науку, наша любимая, золотая наша Железочка.

Многие читатели, возможно, бывали в Пихтах, кто в командировке, кто из любопытства, а для воображения остальных мы предлагаем следующую лаконичную картину.

Трескучей январской ночью вы прилетели в огромный индустриальный и культурный Зимоярск. Здесь все, как в Москве, только ртуть тяжелее градусов на тридцать. В двухстах километрах на северо-запад, то есть немного в обратную сторону, лежат знаменитые Пихты. Днем туда ходит поезд, летает маленький самолетик по кличке Жучок-абракадабра, но вы-то приехали ночью, и до утра вам ждать не резон. Вы, человек ловкий, бывалый, с характером, вы пускаетесь в путь, вы — «доберешься, старик!»

Вдруг за спиной угасает зимоярское полночное сияние, и над вами, над шоссе нависают лишь огромные ветви, и тьма чернее ночи обрезает, как нож, свет ваших фар. Тридцать километров, сорок и сто вас сопровождает тьма и пустыня, и лишь иногда, очень-очень редко вы видите одинокие малые и сирые огоньки. Вот так вы едете и шутите с водителем, а сами порой думаете: «Вдруг поршня сейчас сгорят или шатун сорвется».— И в подошвах от этой мыслишки начинается ледяная щекотка.

И вдруг неожиданно, поверьте мне, всегда неожиданно, вы

въезжаете в Пихты и восхищенно ахаете: ах! Перед вами пустынный спящий чудо-городок, с аккуратно прорезанными среди гигантских сугробов улицами, с ярко освещенными стеклянными плоскостями почты и торгового центра, с подсвеченными фасадами худсалона «Угрюм-река», кафешки «Дабль-фью», школы юных гениев «Гомункулюс» и всемирно известной гостиницы «Ерофеич» — все это скромные, но запоминающиеся шедевры современной архитектуры. Ручаюсь, какой бы вы ни были выдержанный человек, этой ночью вы будете ахать. И ахайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Учтите, дальше до самого Ледовитого океана таких городков уже (еще) нет.

В заключение исторического дивертисмента мы преподносим читателям приз — святочную историю, за достоверность которой ручается ее автор, шофер единственного в городе такси Владимир Батькович Телескопов.

Тройной одеколон

Вот уж метель мела в ту ночь — клянусь, не вру! Иные углы замела — не проберешься, другие так вылизала шершавым языком, хоть выпускай мастеров фигурного катания, вот что страшно. И в морду, в лицо, прямо в физиономию лепила не по-человечески.

— Сюда бы молодежь Симферополя и Ялты, это был бы им хороший урок.

Так думал Володя Телескопов, пробираясь глухой безлюдной ночью от таксопарка, где уже спала его красавица «Лебедь» М-24, к городской аптеке для срочного приобретения тройного одеколона у дежурного фармацевта, который ему приходился шурином.

И, пробираясь, в глубине души Телескопов Владимир страстно завидовал экспонатам торговой витрины, вдоль которой пробирался.

Стоят настоящие крупные люди за стеклом — лыжник, фигурная фея, просто дамочка-хохотушка, могучий хоккеист — стоят настоящие среднего роста люди в приличной непродажной одежде, с улыбками смотрят на метель, и им не дует и не требуется одеколона, вот что страшно.

Так все нормально, ночное кино без билета, и вдруг до Володи доносится легкий шум...

Оказалось: три огромных волка гонят зайчишку, простоватого жителя леса, и настигают его для пожирания прямо возле витрин, вот что страшно.

И зайка-гаденыш — всего и меху-то на перчатки, а тоже жить хочет,— трепыханием говорит человечеству последнее прости, потому что серые гангстеры — им тоже по ночам жрать хочется, вот что страшно,— даже не дают ему последнего слова.

Телескопов — человек не робкого эскадрона, все записано в трудовой книжке, однако в данном случае трезво рассуждает, что потеря водителя такси взамен нетоварного зайца в целом для общества вреднее. Точнее, конец пришел губителю морковки.

И вдруг — легкий звон: как будто кто-то флакон уронил или витрина посыпалась. Оказалось, второе: из витрины спрыгнул на панель и поехал с легким свистом тяжелый хоккеист — ни дать ни взять Саня Рагулин, вот что страшно.

В мгновение ока ледовый рыцарь расшугал клюшкой скрежещущих зубами матерых профессионалов леса, а одному из них так заехал сверкающей железякой в пузо, что тому пришлось уползать, догоняя товарищей, и оставлять в снегу дымящуюся кровушку, красную, как таврический портвейн, вот что страшно.

Закончив благородный поступок, хоккеист сопроводил пострадавшее от испуга животное в безопасное место, и на этом вся история закончилась, а шурина в аптеке не оказалось, хотя «тройной» был виден с улицы сквозь мороз, вот что страшно.

История, конечно, вздорная и рассказана она человеком ненадежным, когда он не за рулем, но вот что страшно: оказался еще один свидетель — Вадим Аполлинариевич Китоусов. Он видел спину удаляющегося по ледяной лунной дорожке хоккеиста и слышал, как тот насвистывает популярный мотив «You are my destiny», что по-русски означает «Ты моя судьба».

(Окончание следует.)

Поэзия

Александр КУШНЕР

☆☆☆

Скажи: сорок первый,— я охну: война.
Зато сорок пятый — счастливая мета,
Победная, в зелени клейкой, весна.
А сорок шестой — это в шоке страна,
И грубый докладчик, и жаркое лето.

О, если б вы знали, с какою тоской
Мы смотрим на то, что стоит за плечами!
Квадратный ли метод забыть гнездовой?
Я все пятьдесят вспоминаю второй
И третий, как нас напугали врачами.

Я март его пасмурный помню, в слезах
И траурных флагах, на лестнице школьной
Под бронзовым бюстом, застыв на часах
Со страхом в душе и надеждой подпольной:
Таилась в щелях, проступала в пазах.

И это не все, и еще у нас есть,
Как редкостный выигрыш, яркая дата,
Число незабвенное — пятьдесят шесть,
Загробная радость, посмертная честь.
А в шестидесятом, к забору прижата,

Стоит землемерша, потупив глаза,
Не смея взглянуть из-за спин на поэта.
Трепещет ольшаник, лоснится лоза...
А в шестьдесят третьем премьер, ни аза
Не смысля в искусстве, кричит: «Что же это?»

«Абстракционизм»,— отвечают ему.
Он в гневе, но скоро он канет во тьму.
Так до шестьдесят доберемся восьмого,
Потом все слилось, все смешалось, чему
В каком-то и радуюсь смысле: сурово

Не надо смотреть на меня,— началась
Жизнь частная наша, с подкладкою вечной
И личной, распалась железная связь
Для, может быть, новой, счастливой, сердечной,
И скажет прозаик, что жизнь удалась.

☆☆☆

Перед отъездом, перед разлукой
С комнатой, креслом, стулом, диваном —
Чувствуешь: радость сцеплена с мукой,
Вещи обводишь взглядом туманным.

Вдруг ощущаешь, как расставаться
Жаль с надоевшей жизнью привычной,
С глиняной вазой, с тусклым румянцем
Розы засохшей, меланхоличной.

Вынесен мусор. Недосмотрели.
Поздно. «Присядем». «Ну, ты довольна?»
Пусть ненадолго, на три недели
Едем,— не знаю: сладко мне, больно?

Сладко и больно. Знаешь что,— книги!
Больше всего мне книги оставить

Жаль... Тот репейник цепкий и дикий
Ночью пришел мне, грубый, на память.

Не перечел. А теперь уж, точно,
До возвращенья не прочитаю.
Гибкой форели в воде проточной
Жаль, этот камень, белую стаю...

☆☆☆

Мне весело: ты платье примеряешь,
Примериваешь, в скользкое — ныряешь,
В блестящее — уходишь с головой,
Ты тонешь, западаешь в нем, как клавиш,
Томишь, тебя мгновенье нет со мной.
Потерянно смотрю я, сиротливо.
Ты ласточкой летишь в него с обрыва.
Легко воспеть закат или зарю,
Никто в стихах не трогал это диво:
«Мне нравится»,— я твердо говорю.
И вырез на спине, и эти складки.
Ты в зеркале, ты трудные загадки
Решаешь, мне не ясные. Но вот
Со дна его всплываешь: все в порядке.
Смотрю: оно, как жизнь, тебе идет.

☆☆☆

Мне и Римской империи жаль.
Понимаю,— сама виновата:
Желтый мрамор, сарматская сталь,
Сбои в ржавых узлах аппарата.
Почему, чтобы к новым прийти
Формам жизни, быть должен разрушен
Тот язык, что гремел посреди
Циклопических бань и конюшен?
В переводе Катулла читать
В чуть прихрамывающем размере...
Неужели такие ж опять
Холода предстоят и потери?
Нет,— душа переходит на крик,—
Пушкин с нами, и Бог нас не выдаст,
И таинствен родимый язык
И, все кажется, дан нам на вырост!
Здравствуй, здравствуй, сырой говорок,
Пробегай по поверхности дивной
Языка,— вот он, лучший намек
На бессмертье, залог коллективный.

☆☆☆

День прошел вчерашнего бездарней,
А казалось, быть пошлей не может.
Это Фет с кормленьем псов на псарне
День сравнил, коль он без рифмы прожит,
Без любви, без рифмы, без волненья
По какому поводу? Не знаю.
По тому, что ветра дуновенье
Подогнуло куст жасмина с краю.

Или так ты жизнью избалован,
Так ее задарен смыслом здравым,
Что простить не можешь бестолковым
Разговорам, сумеркам шершавым,
Беготне, безмыслию, обиде,
Долгим шапки поискам в передней
И дрожишь, заранее предвидя
Час свой смертный, тяжкий вздох последний?

☆☆☆

В компании физиков те же беседы
О нашем сегодняшнем дне и заботе,
Напрасно бы ты о судьбе непоседы —
Вселенной рассиашивал,— здешние беды
И страсти в журнальном важней переплете,
Все ими задеты,
А вовсе не тем, что блестит на отлете.

Горит на отшибе. Ей жарко и тесно,
И чудно до боли, и страшно до дрожи,
Она расширяется, лезет, как тесто
Из миски, растет на дрожжах,— ну так что же?
Нас время и место
Свое, мотыльковое, больше тревожит,
Шумим за столом, продолжаем в прихожей.
Как если бы солнце вращалось вокруг
Земли, как в младенческий век Птоломея.
Нас мучит недуг
Истории, жжет и томит эпопея,
О, если б троянских смертей и разлук!
И выхода из лабиринта, мрачней,
Не видит, задумавшись, доктор наук.

А знанье... Что знанье? Оно-то как раз
Похоже на вымысел, миф, на затею
Ума, что не прочь и побаловать нас:
Частица ведет себя так, что Орфею
Воспеть ее в иору: растает сейчас,
Как призрак. Бог с нею!
Статья нас смутила, журнал нас потряс!

г. Ленинград

Борис КУНЯЕВ

Звезды в снегу

В краю песцов и вечной мерзлоты
На сотни верст ни огонька, ни колышка.
На снежном насте вышиты кресты —
След куропаток высветило солнышко.
Нам долго не оттаять от зимы.
На поколенья совесть искалечена.
Медведи до сих пор у Колымы
Питаются промерзшей человечиной.
Во льдах то свет, то не видать ни зги.
Такое и в кошмарах не приснится.
Здесь, в Заполярье, в ведомстве пурги,
Кремлевских звезд погребены частицы.

Суд

Приехал смершник молодой —
Холёный, сытый, нос с рябинкой.
Сказал, играя хворостинкой:
«Ну что, Иван, сходил домой?
Хотел к фашистам убежать?
Но ничего, браток, не выйдет!
Пойдешь под землю в лучшем виде.
Тебе и Сталина не жаль.
Снимай ремень и сапоги!
Сам для себя копай могилу».
Иван в траву шинельку скинул.
А мы стояли, как враги.
А мы молчали, как стена,
Ведь у него нашли листовку,
Он из нее цигарку ловко
Вертел. Бумаги нет — война.
Штабист под «папу» ус крутил,
И для него мы были быдло,
Чтоб нам всем неповадно было,
Приказ короткий огласил.
А мы смотрели на медали
У смершника.
Раздалось: «Пли!»
Потом по холмику прошли
И человека затоптали...

г. Рига

Когда верстался этот номер, в редакцию пришла горестная весть о кончине Бориса Ильича Куняева.

Евгений ВИНОКУРОВ

Арбузы

Мы в райкопе арбуз купили,
сели медленно в холодке...
Летний полдень седой от пыли!..
Парень с удочкой. Баба в платке...

Синий день! Впечатлений масса!
Вдрызг арбуз ударом одним!
Как сырое парное мясо,
мы кровавый арбуз едим.

Перепачканы алым губы.
Дай десяток — десяток съем!
Как мы молоды, как мы глупы!
Что там будет — не знаем совсем!..

И куда-то опять, безусы,
вновь с приятелем побрели...
Все бы в жизни вот так:
арбузы,
синий полдень, ноги в пыли.

Актер

Вот стоит он, в пестрой кофте, парень,
взгляд его надменен и хитер...
И не то чтобы он был бездарен,
только до мозга костей —
актер!..
У него одна была отрада,
он одно лишь только и желал,
чтоб трещала бы под ним эстрада,
чтоб вопил обезумевший зал!
Числа всех поклонников несметны
в залах — подражателям пример!
Лишь гремели бы аплодисменты,
были бы галерка и партер...
В мире повторяют многоусто
имя то — он ловок и свирел!..
Массовое вот оно искусство,
выделанный лихо ширпотреб...

Кариатиды

Нет, вздохнул о минувшем я
не лицемерно,
мне действительно жаль
прожитые года!..

В доме с кариатидами,
в стиле модерна,
на седьмом этаже
проживал я
тогда...
Ах, какие в окне открывались мне виды:
и река, и мосты, и далекий завод!..
И стояли, ссутулившись,
кариатиды,
подпирая плечами массивными
свод...
Как мне радостно было тогда, молодому!
До сих пор моя память
в те годы летит
и к тому старомодному серому дому,
что давил на сутулящихся кариатид.
Там была одна девочка...
В гулком портале,
при московской седой несуровой зиме,
мы с ней, за руки взявшись, часами стояли
под мерцающей лампочкой,
там, в полутьме...
Сколько видел в окно я
мерцающей сини...
Сколько минуло горя,
тревог и обид:
сколько лет пронеслось!..

Но стоят и поныне
те фигуры могучих
кариатид.

Графоман

С поэзией роман так просто не кончаем.
Питает графоман себя крепчайшим чаем.
Слова к нему идут,
летят, как пчелы, роем...
Но как берут редут,
строфу берет он с боем.
Как будто рать на рать —
все потонуло в гуле...

Ликуя, закричать он рад не потому ли?

Какой свирепый вид, какая в нем отвага.
Вот он «ура» вопит вверху, под сенью стяга.
Он не жалел чернил, идя в боях, к рассвету...

Ну что ж, он победил,
признайте же победу.
Его победен крик,
враг сломлен и повален...
Признайте: он велик,
Ну, что же, что бездарен...

Перед войной

Во глубине Арбата в кинотеатре «Арс»
прекрасный фильм когда-то,
немой, меня потряс...

Сопровождал картину
старательный тапёр,
его кривую спину
я помню до сих пор...
Как полотно рябило,
ломался аппарат...
Ах, как меня знобило,
как был я фильму рад!..
Мелькало на экране!
Я все забыл дела!..
Картина о Тарзане —
та самая была.
Герой, как обезьяна,
на дерева влезал...
От этого Тарзана
стонал в восторге зал!
Вслепую в темном зале
бил в клавиши тапёр...
Затем нам показали
кино «Багдадский вор».
От радости глупея,
вопил со всеми я...
Но киноэпопея закончилась моя.
Во мраке кинозала орала детвора...

Но, наконец, настала
серьезности пора.
Ну что ж, ведь мы не дети!
Жизнь призывает нас!..

Он разве был на свете,
кинотеатр «Арс»?..

Анатолий
ГАВРИЛОВ

РАССКАЗЫ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОЙ ЖИЗНИ

В нашем городе очень развита тяжелая промышленность. У нас крупнейшие домны, мартены, прокатные станы. С продовольствием хорошо.

С матерью и старшим братом я живу на окраине города, в поселке Шлаковом, в шлаконабивном доме. Имеются куры, сарай, огород.

Мать работает на водокачке, брат — в какой-то конторе, а я сдаю последние школьные экзамены и готовлюсь к новой жизни — на весенней допризывной комиссии я подал заявление в военное юридическое училище.

Влечение к Юриспруденции я ощутил где-то в пятом классе. Я уединялся на чердаке и устраивал там всевозможные судебные процессы над всевозможными преступниками. Одних я оправдывал, других приговаривал к различным мерам наказания, а наиболее тяжких выводил за уборную, где и расстреливал.

За день иногда набегало так много расстрелов, что ночью было страшно выйти по нужде.

Позже я стал разрабатывать юридические законы для космического пространства и разработал таковых уже довольно много.

Я хочу стать юристом государственного значения.

Как наша мелкая и мазутная Пиявка где-то впадает в море, так и жизнь моя скоро вольется в океан государственной жизни

Мать радуется, всем объявляет, что скоро я стану прокурором всей страны, однако от домашних дел не освобождает: приходится и огород поливать, и огурцы на рынок возить, и курятник чистить, и прочее.

Брат же по дому делать ничего не хочет. Вечерами он либо уезжает в город, либо лежит на диване.

Он ухмыльнулся, когда узнал о моей мечте.

Посмотрим, брат!

Сдан последний экзамен. Сдан отлично! Мне удалось увязать законы диалектики с Юриспруденцией и Космосом! Меня поздравили! Мне сказали, что меня ожидает блестящее будущее!

И грустно, что школа уже позади, и радостно, что впереди — Новая жизнь.

Жара, пыль, мухи. Завтра — выпускной бал. Тренировался на чердаке танцевать и произносить речи.

Мясо, колбаса, овощи, фрукты, конфеты, печенье, торты, ситро, вино, музыка, танцы — все было на бале. За столом мне удалось сесть рядом с Т., которая мне всегда нравилась и которой я намеревался в этот прощальный вечер объявить об этом. Сначала я чувствовал себя несколько скованно, но постепенно разошелся, стал говорить о Юриспруденции и Космосе, и я видел, что мои речи не остаются без внимания со стороны Т. Это возбуждало, и я заявил ей, что в моем юридическом будущем найдется место и для нее.

— Это замечательно! Это прекрасно! — сказала она.

Голова кружилась. Я поднялся и предложил тост за любовь. Меня поддержали.

— За любовь! — сказал я Т.

— За любовь! — ответила она.

Я был счастлив!

Но когда начались танцы, она ушла к Д. и весь вечер протанцевала с ним. Танцевали они слишком вольно, я бы сказал — похабно, и я решил покинуть бал, и пошел домой, но вернулся: а вдруг Т. уже не танцует с Д.? Но они продолжали танцевать, и я вторично покинул бал и снова вернулся. Теперь я увидел их в коридоре. Они стояли в темном углу, прижавшись друг к другу. Тогда я вошел в зал и объявил, что у меня имеется для всех сюрприз, а именно: мой

родственник работает завгаром, и я договорился с ним относительно автобуса, который сейчас подойдет к школе и на котором мы имеем возможность отправиться в заповедник Чистые Ключи, где и встретим свой первый рассвет новой жизни.

Все закричали «ура» и бросились меня качать, и чем выше я взлетал, тем страшнее становилось мне, так как никакой договоренности относительно автобуса у меня не было.

Мне стало плохо, дальше ничего не помню, очнулся уже днем, дома, за уборной.

Ладно, не нужно об этом, хватит об этом думать, нужно смотреть вперед...

Жара, пыль, мухи. Работа по дому и подготовка к экзаменам в юридическое училище. На улицу почти не выхожу, с одноклассниками стараюсь не встречаться. Нужно смотреть вперед. Нужно интенсивно готовиться к новой жизни. Нужно срочно овладеть благородными манерами и благородной речью. Нужно научиться правильно сидеть за столом и красиво принимать пищу. Нужно в экстренном порядке избавиться от произношения глухого украинского «г». Нужно избегать грубых слов и эмоций. В новую жизнь нужно войти благородным человеком.

Жара, пыль, мухи. Чистка курятника. Вонь, перья, пух, помет... Мать проверяет, чтобы не осталось ни одной соринки. Она стремится содержать курятник в более чистом виде, чем дом.

Ничего! Когда-нибудь скажут: он был не только выдающимся юристом, но и не гнушался чистить курятник.

Земля лопается, огород горит.

Стоял у калитки, наблюдал закат солнца за водокачкой, увидел, что по улице идет Т., и быстро ушел от калитки во двор.

Раннее утро, мешок с огурцами, автобус, рынок.

Битва матери в автобусе и на рынке за лучшее место.

Брат ночью пришел с какой-то женщиной. Они сидели под навесом, курили, пили вино.

Спал плохо.

Вечером стоял у калитки, наблюдал закат солнца, не выдержал и вышел за калитку, и пошел к Р. и В., с которыми когда-то дружил. Они закончили ПТУ и уже работают слесарями на металлургическом заводе. Ребята они, возможно, не очень глубокие, но спокойные, с поселковым хулиганьем связей не имеют.

Они сидели на лавочке у дома Р., я подошел, поздоровался и сел на лавочку. Они говорили о рукавицах, которые им не выдают и без которых нельзя работать. Они спросили, правда ли то, что я хочу стать юристом. Я ответил, что готовлюсь к экзаменам. Вечер прошел нормально.

Ничего, Р. и В., не грустите! Когда-нибудь я позабочусь о том, чтобы вы не думали о рукавицах!

Жара, пыль, мухи. Поливка огорода утром, вечером, ночью. Поездки с мешком на рынок. Не придавать этому значения. Это временно, это скоро кончится. Главное — смотреть вперед. Не замыкаться на мелочах. Готовиться к новой жизни. Думать о высоком.

Мать и соседка у забора обсуждают поселковые новости. Я поливаю огород, слышу их разговор и думаю: неужели окружающая жизнь состоит только из негативного? Неужели не скучно говорить только о негативном? А где позитивное? Где поэзия жизни? Где высшие устремления? Что вам нужно, товарищи? Вам хочется колбасы — она у нас есть! Вам хочется культуры? Идите в библиотеки, в кинотеатры, в клубы! Вам хочется самим делать культуру? Записывайтесь в кружки, рисуйте, вышивайте, выжигайте, лепите, сочиняйте, пойте, танцуйте! Вам не нравятся недостатки? Боритесь! Вам хочется в другие города и страны...

— Мне ничего не хочется! — отвечает мать.— Мне хочется, чтобы завтра пошел дождь и чтобы куры неслись хорошо!

Вот вам и вся философия! И многие люди нашего поселка подвержены этой философии: только мое, только мои куры и мой огород!

А страна? А мир? А Космос?

Жара, пыль, мухи. Тайком от матери ел в сарае прошлогоднее варенье, доставая его из трехлитровой банки куском картона. Вдруг вошел брат.

— Жрешь, юрист? — усмехнулся он.

А в чем, собственно, дело? Почему он так? Разве будущий юрист не имеет права любить варенье?

М. дали срок за хищение оцинкованных труб.

Р. и В. продолжают говорить о рукавицах.

Нужно иметь идеалы, мечту, и тогда оцинкованные трубы и рукавицы не будут главным вопросом жизни.

Проклятые куры! Недавно чистил — и снова нагадили.

Не нужно так. Не нужно грубых слов и эмоций. Ведь куры не виноваты, что не приучены ходить по нужде в определенное место.

Битва матери в очереди за весами. Толпа любопытных зевак, позор, стыд.

Драка у пивного ларька. Кого-то били ногами.

Пыль и кровь.

Проклятый огород! Чем больше его поливаешь, тем больше он сохнет!

Брат и какая-то красивая женщина. Где он их берет? Почему он не женится?

Прогулка по берегу Пиявки. Когда-то в ней купался весь наш Шлаковый, а теперь здесь совсем безлюдно, шелестят ржавые густые камыши, по воде плывут мазутные пятна... зной, тишина, пустота...

Может быть, я когда-нибудь сделаю так, чтобы наша Пиявка снова была чистой, глубокой и полноводной, и сюда в знойные дни будут приходить веселые, жизнерадостные, добродушные люди, и никто никого не будет шпынять, и никто никого не будет преследовать, давить, унижать.

Жара, пыль, мухи.

Мать никогда не жарит и не варит яйца — все на рынок, все на продажу.

Приходится тайком пить яйца в курятнике.

Стремиться к прекрасному.

Посетил городскую выставку живописи: портреты героев труда, домны, мартены, прокатные станы. Оставил в журнале благодарственную запись.

Мать послала в магазин за хлебом и сахаром, где я был подвергнут нападению со стороны поселковых

хулиганов. Домой прибыл без хлеба, сахара и денег, в грязном виде.

Судебный процесс над хулиганами. Расстрел наиболее злостных за уборной.

Утром вышел по нужде и обнаружил нашу уборную лежащей на боку. В чем дело? Может, ночью был ветер?

Брат отказывается помогать мне восстанавливать уборную.

— Ты за нею производишь свои казни, вот и ставь ее,— ответил он.

Не понял, брат.

Жара, пыль, мухи.

Р. и В. говорят уже не о рукавицах, а о том, что нужно изготовить кастеты из алюминия или эбонита.

Опасные устремления!

Не есть ли это следствие отсутствия высоких целей и идеалов?

Нужно ставить пред собой максимально высокие цели и добиваться их.

Куда-то пропала одна из наших кур.

Размышления. Попытка установить местонахождение курицы путем дедукции.

— Иди искать! — закричала мать...

Ходил на пустырь, в известковый карьер, в овраг, на свалку — безрезультатно.

Попытка допроса соседа М. по поводу пропавшей курицы кончилась неприятным эксцессом: сосед М. ударил меня ногой в заднее место.

Разработка закона об уголовной ответственности за удар ногой в заднее место в условиях Космоса.

Судебный процесс над М. Приговор: два года исправительных работ на рудниках Урана.

Вечер. Солнце садится за водокачкой. Мать сидит на лавочке и причитает по поводу пропавшей курицы:

— Ты ж моя хорошая! Да зачем же ты ушла? Да что ж тебе не жилось у меня? Да разве ж я тебя когда-нибудь обижала? Да разве ж я когда-нибудь выщипывала твои перья? Да ты ж у меня была самая спокойная! Да ты ж у меня была самая умная! Да ты ж у меня была самая несучая! Да на кого ж ты меня покинула? Да где ж ты теперь лежишь? Да где ж ты закрыла свои глазки? Да что ж я теперь без тебя буду делать?

Жара, пыль, мухи. Драка на пустыре у пивного ларька. Кого-то били ногами.

Приехать бы когда-нибудь сюда инкогнито, в загримированном виде, пойти к пивному ларьку, там обязательно привяжутся, станут оскорблять, унижать, бить, и когда уже будут убивать, тогда вынуть из кармана именной пистолет, инкрустированный золотом и драгоценными камнями.

Проклятые куры! Они не столько пьют, сколько гадят в воду!

Р. и В. продолжают говорить о кастетах.

Огурцы кончаются, но зреют помидоры.

Вода бесследно исчезает в трещинах земли.

Уборка угольного сарая в преддверии нового угля.

Сарай граничит с соседским двором. Щель в сарае. Соседка что-то стирает в тазике. Ноги. Не смотреть в эту щель. Бороться с этим. Бороться и побеждать. Бороться, побеждать и снова оказываться у щели. Закат солнца. Ночные фиалки. Луна. Запахи фиалок и уборных.

Мать жалуется на головные боли и нехватку денег. Брат где-то болтается.

Восточный ветер. Все горит, дрожит, плавится. Все затянуто едким дымом. В раскаленном воздухе сверкает стальная и угольная пыль. Брат за обедом сказал, что в нашем городе началось строительство еще одной доменной печи, что скоро нас всех здесь удушат.

Я ответил, что нельзя быть пессимистом, так как скоро все заводские трубы будут оснащены самыми эффективными фильтрами.

Брат ответил нецензурным словом.

Я сказал, что его ответ есть грубость и следствие отсутствия позитивного начала.

Он плеснул мне борщом в лицо.

Думаю, что он не прав. Дело не в борще, хотя данный факт выплескивания борща в лицо можно инкриминировать, но дело в другом, в более существенном. Дело в отсутствии позитивного начала, и это уже более существенно, чем борщ.

Р. и В. приступили к изготовлению кастетов из эбонита.

Не думать об этом, смотреть вперед, думать о возвышенном и благородном.

Посетил городской театр. Пьеса о сталеварах. В антракте выпил стакан минеральной воды «Золотой колодец» и съел булочку за шесть копеек.

Проклятые куры! Недавно чистил — и снова нагадили! Сволочи! Паскуды!

Следить за собой. Не допускать грубости и вульгарности.

Жара, пыль, мухи.

Группа поселковых изнасиловала дежурную насосной станции.

Разработка закона об уголовной ответственности за изнасилование в условиях Космоса.

Борьба с влечением к яйцам. Сдался, не выдержал, пошел в курятник и выпил там два свежих яйца, а на третьем был внезапно застигнут матерью. Шум, скандал. Брат ухмылялся.

Посетил бесплатный концерт симфонической музыки, который состоялся в парке. Зрителей было меньше, чем музыкантов, а к концу я остался один. Будущий юрист должен быть гармонически развитой личностью.

После концерта я подошел к музыкантам и выразил им свою благодарность.

— Ну что вы! — воскликнул дирижер.— Это мы вам благодарны!

И музыканты стали аплодировать мне, и я ощутил головокружение, и в приподнятом духе отправился домой, и забыл об опасности нахождения на задней площадке нашего автобуса, и был подвергнут хулиганским выходкам в виде пинков и плевков.

Блеск именного пистолета, инкрустированного золотом и драгоценными камнями, еще ослепит когда-нибудь ваши волчьи глаза.

Мать и соседка обсуждают поселковые новости. Они говорят о Г., который недавно сбил своими «Жигулями» З.

— Много ему не дадут,— говорит мать.

— Откупится, не первый раз,— отвечает соседка.

Я поливаю огород, слышу их разговор и думаю: что значит «много не дадут»? что значит «откупится»?

Какая все же у них юридическая безграмотность, ограниченность и наивность!

Жара, пыль, мухи.

Р. и В. шлифуют кастеты.

Взял под клеенкой деньги, отправился в город, посетил фильм о буднях уголовного розыска, купил справочник по юриспруденции, выпил стакан яблочного сока и съел два пирожка с горохом. Мать обнаружила пропажу денег, подняла шум. Хотел признаться, но она была в таком страшном состоянии, что я отказался. Она стала спрашивать у брата.

— Отстань от меня со своими вонючими деньгами! В нашем доме есть юрист — вот и поручи ему расследование! — ответил он.

Следствие, допросы и судебный процесс над собой на чердаке. Вывел себя за уборную, но от расстрела воздержался, заменив в самый последний момент высшую меру пятнадцатью годами. Бежал из заключения, скрывался в тайге — в помидорах, затем — в горах — за куриным пометом. Был амнистирован по случаю годовщины...

Нужно учиться красиво ходить, держаться прямо. Никогда не стоять на расставленных ногах! Нужно уметь легко и красиво подняться по лестнице и так же красиво спуститься. Нужно уметь красиво сидеть. Голову не стоит поднимать слишком высоко, не стоит ее и слишком опускать и уж тем более глядеть на все вокруг исподлобья.

Брат за обедом сказал, что на одной из доменных печей лопнула броня, жидкий чугун вырвался из печи, есть жертвы. Я спросил, откуда у него эти сведения, ведь ни в газете, ни по радио сообщений по этому вопросу не было.

Он плеснул мне супом в лицо.

Статья в газете о разоблачении ученого, оказавшегося шпионом.

Судебный процесс на чердаке.

Расстрел шпиона за уборной.

Ночью вышел по нужде и вдруг услышал за уборной чей-то стон.

Стало страшно, разбудил брата.

— А ты побольше суди и расстреливай — еще не то услышишь,— ответил он.

Птицу нужно есть с помощью ножа и вилки. Персик разрезаем на тарелке, удаляем косточку, затем снимаем кожицу, пользуясь ножом и вилкой. Кожура апельсина надрезается крестообразно. Ни апельсины, ни мандарины не чистим спиралеобразно!

Жара, пыль, мухи.

Р. и В. закончили шлифовку кастетов и приступили к отработке ударов кастетами по дереву.

Брат и какая-то красивая женщина. Где он их берет? И почему они соглашаются пить с ним какое-то дешевое вино под нашим ржавым навесом?

Спал плохо, думал о женщинах.

Приснилась женщина, у которой ниже живота была какая-то жаркая духовка с заслонками.

Не опускаться до низких, вульгарных снов. Бороться с подобными снами. Думать о благородном. Готовиться к благородной жизни.

Читал одну книгу и нашел в ней одну замечательную мысль: один видит в луже только лужу, а другой в луже видит отражение звезд.

Прекрасно, замечательно!

Сказал об этом брату.

— Теперь ты вооружен и очень опасен,— ответил он.

Посетил военкомат на предмет выяснения сроков получения вызова из училища и при выяснении данного вопроса имел некоторую грубоватость тона со стороны военкома, который ответил:

— Жди! Придет! Некогда тут с тобой!

Жара, пыль, мухи.

Р. и В. бьют кастетами по дереву.

Капустянка подъедает помидоры.

Посетил краеведческий музей. Посетил окрестности поселка. Поднимался на холм за водокачкой и спускался в овраг за свалкой.

Думал о жизни.

Хорошо бы поменять свое несколько простое и какое-то несколько примитивное имя на какое-нибудь более значительное, благородное, например: Эдуард, Роберт, Артур...

Внимание! Усвоить: коктейль пьется маленькими глотками, с перерывами. Виски — со льдом или газированной водой. Вино отпивается из рюмки понемногу. Ликер — маленькими глотками. Коньяк тоже маленькими глотками, с перерывом. В это время рюмку можно держать в руке — коньяк любит тепло. Шампанское и другие муссирующие вина лучше пить сразу, но можно и понемногу.

Нашел в погребе самогон, выпил, блевал в уборной, за уборной и в курятнике.

Некоторые моменты тоски и грусти.

Бороться с этим.

Закат солнца.

Сосед слева, недавно вышедший из заключения, бил на пустыре соседа справа, дважды побывавшего в заключении.

Вершина холма за водокачкой имеет углубление, похожее на кратер вулкана. С вершины холма открывается величественная панорама города и заводов. Вокруг холма растут подсолнухи, кукуруза, просо. Но это не подсолнухи, не кукуруза и не просо! Это миллионы людей разных стран и народов!

— Люди! — обращаюсь я с вершины холма.— Живите честно! Не пейте! Не воруйте! Не бейте друг друга! Не нарушайте общественный порядок! Ставьте перед собой максимально благородные цели и добивайтесь их!

Брат дома не ночевал, появился утром, лег на диван, попросил воды, выпил и спросил:

— Как твои дела?

— Нормально,— ответил я.

— Готовишься?

— Готовлюсь.

— А помнишь, как я издевался над тобой в детстве?

— Помню.

— Все помнишь?

— Да.

— Плохи мои дела,— сказал он и тяжело вздохнул.

— Почему?

— Ну как же! Ведь ты скоро станешь человеком государственного значения! А вдруг тебе захочется все то, что я делал с тобой, сделать со мной!

— Полагаю, что это не произойдет,— ответил я.— Во-первых, моя жизнь будет насыщена до предела более важными делами и чувствами, во-вторых...

— Ладно, иди отсюда, не воняй,— сказал он и закрыл глаза.

Жара, пыль, мухи. Поливка огорода утром, вечером, ночью. Подготовка к экзаменам. Борьба с грубыми манерами, речью и украинизмами. Нужно постоянно обогащать свою речь и память благородными элементами. Нужно знать, как носить костюм, когда

можно расстегнуть пиджак, каким образом вести себя в президиуме, на трибуне, на банкете. Нужно знать, как правильно обращаться с женщиной. Нужно постоянно шлифовать осанку и взгляд. Нужно думать о главном, высоком, благородном. Нужно торопиться — ведь скоро придет вызов!

Во время чистки курятника не выдержал и выпил несколько теплых яиц из гнезда, в результате чего наблюдается весьма интенсивное бурление живота и понос. Не понос, а расстройство живота — сколько можно говорить о том, что нужно избегать в своей речи грубых определений!

Расстройство продолжается. Весьма тревожно. А вдруг сейчас придет вызов?!

Мать сварила какой-то отвар, пил, вроде бы легче, но остаточные явления все-таки еще имеются. Весьма тревожно. Это отвлекает от высоких мыслей. Не успеешь за что-нибудь ухватиться высокое, как начинаются позывы, и нужно бежать в уборную. Но хватит же об этом, хватит! Сколько можно мусолить одно и то же! Не думать об этом! Но только подумаешь о том, что не нужно об этом думать, как в животе начинается проклятое бурление... Ах, черт... Ах, черт... А ты представь, что не в уборную бежишь, а преследуешь особо опасного преступника, представь, что сидишь в засаде, представь... Ах, черт... снова... Проклятые куры! Это из-за вас все! Это из-за вас я теряю драгоценное время... трах-бах-тарарах...

В поликлинику идти и стыдно, и страшно. Вдруг в больницу отправят, а тут вызов придет!

Питье отвара. Вроде бы легче. Решил посетить выставку самодеятельных художников нашего города, но из-за по... но из-за расстройства живота не досмотрел, благодарственную запись сделать не успел...

Опасность миновала! Как все-таки хорошо, когда с животом порядок! Куры, простите меня за то, что я обвинял вас в том, в чем вы не виноваты! Закат солнца, фиалки, луна, жизнь! Сообщение в газете о новом рекорде сталевара Г. А ведь он живет в нашем поселке! Стихотворение поэта Ж. в газете, посвященное рекорду сталевара Г. А ведь поэт Ж. тоже живет в нашем поселке! Вот вам и Шлаковый!

Сказал об этом брату.

— Пошел вон, шлаковая отрыжка! — ответил он.

Ах, брат, зачем ты так?

Брат за ужином злословил по поводу нашей Юриспруденции, называл ее юридистикой. Я не выдержал его злопыхательства и покинул кухню.

Он хохотал мне в спину.

Сидел за разработкой закона обо уголовной ответственности за дачу ложных показаний в условиях Космоса.

Вошел брат.

— Дай сюда! — сказал он.

Я протянул ему листок с законом. Он посмотрел, усмехнулся и сказал:

— Хочешь, познакомлю с хорошей девушкой!

Мне хотелось сказать «да», но я ответил, что в данный момент знакомство с девушкой не представляется возможным в связи с моей подготовкой к экзаменам в военное юридическое училище.

— Вонючка,— усмехнулся он.

Проклятые куры! Проклятый огород!

Когда же придет вызов?

После разработки закона об уголовной ответственности за наркоманию в условиях Космоса я подошел к зеркалу и произнес речь по случаю вручения мне Государственной премии за заслуги в области Юриспруденции. После этого состоялся пышный банкет, на котором я пил шампанское, ел ананасы и танцевал с красивыми женщинами.

Вдруг увидел в зеркале брата.

— Все упражняешься? — усмехнулся он.

Жара, пыль, мухи. Мать привезла две тонны угля: тонну антрацита и тонну горючки. Ведрами в сарай. Земля лопается. Р. и В. продолжают отработку ударов кастетами по дереву, лавочке, стенам, заборам.

Ссора матери с соседкой. Ссора перешла в рукопашную. Дрались они через забор. Соседка ударила мать по голове мусорным ведром. Разнимал их.

Мать пошла с жалобой на соседку к участковому, но тот не захотел выслушать, вел себя грубо и оскорбительно.

Подготовка к заявлению протеста на действия участкового.

Пошел.

Он сидел за столом, что-то читал, ел хлеб с колбасой и отпивал что-то из бутылки.

— Здравствуйте! Приятного аппетита! — сказал я.

— Нежевано летит, что нужно?

— Дело в некотором роде заключается в том, что...

— Короче! — рявкнул он.

— Нет... ничего... приятного аппетита,— сказал я и выскочил из кабинета.

Куры гадят, огород горит.

Мать рано утром поехала в деревню на похороны и оставила на столе записку, в которой мне строго по графику предписывалось кормить и поить кур и поливать огород. Слова «куры», «зерно», «трава», «вода» и «огород» были написаны с большой буквы, а мое имя — с маленькой.

Поливал огород. Брат пришел с какой-то красивой женщиной. Они расположились под навесом. Брат позвал. Я подошел.

— Вот это мой младший брат, Нина, будущий юрист, законник, великий человек! И когда он станет великим, он сошлет нас с тобой за наши грехи на какую-нибудь безжизненную планету! — сказал он.

— Ну, что ты! — усмехнулась женщина.— Он этого не сделает!

— Еще как сделает! Он готовится к этому!

— А я его сейчас поцелую, и он этого не сделает! — сказала она, поцеловала меня, и у меня закружилась голова и задрожали ноги.

— Налей ему! — сказала женщина.

— На, выпей! — сказал брат, протягивая мне стакан с вином.— Может, это согреет твою юридическую душу, может, ты когда-нибудь пожалеешь нас.

Спал плохо, мысли путались, сердце стучало.

Нет, нет и еще раз нет! Вам не удастся сбить меня с толку! Вам не удастся сбить меня с правильного пути! Вам не удастся затянуть меня в трясину разврата и духовной пустоты! Сами погибаете и меня погубить хотите?!

Жара, пыль, мухи. Подготовка к экзаменам. Речь, взгляд, осанка.

Посетил музей-квартиру выдающегося государственного деятеля Ж. Оставил благодарственную запись.

Р. и В. хотят на кого-нибудь напасть с кастетами. Попытки отговорить их от подобных устремлений пока не дают результатов.

Они хотят выйти сегодня ночью на улицу с кастетами и напасть на кого-нибудь.

Я заявил, что их действия могут иметь эксцессы.

— Мент! — вдруг крикнул В. и ударил меня кастетом.

Головные боли.

Весьма тревожно.

Жара, пыль, мухи, дым. Огород поник. В бочке с протухшей водой медленно надуваются и лопаются зеленые пузыри. Сосед роет в огороде яму, сосед справа бьет молотом по железу, сосед прямо разучивает на баяне «Подмосковные вечера». В курятнике вскрикивают куры. Болит голова.

Вечером пошел к обрыву. Луна освещала обрыв, Пиявку, сады пригородного совхоза, дальние пространства. Вдруг кто-то остановил меня. Это был участковый.

— Что здесь стоишь? — спросил он.

— Стою,— ответил я.

— Вижу, что стоишь, а что ты здесь делаешь?

— Разве я не имею права стоять здесь?

— Имеешь,— ответил он,— но...

— Отпустите меня, ибо ваши действия могут иметь эксцессы,— сказал я.

От участкового разило спиртным.

— Ты смотри, шмакодявка! — воскликнул он, хватая меня за руки.

Я вырвался, побежал в поселок.

Бежал, петлял, спотыкался, падал и снова бежал и выбежал прямо на поселковых хулиганов. С криками «Лови юриста!», «Бей будущего мента!» они бросились за мной, и я побежал от них...

Люди! Помогите! Брат! Где ты? Спаси меня!

ГАНТЕНБАЙН и КАБАН

Рождественская сказочка

Жил-был Гантенбайн* Арнольд Мефодьевич и держал он кабана, кормил которого отходами из столовой Дома творчества композиторов, где работал сторожем. Кабана кормил, сам питался. А чем плохо?

И вот, когда пруд сковало льдом, а в лесу затрещали деревья, заправил Арнольд Мефодьевич паяльную лампу бензином, наточил немецкий штык и пошел к кабану.

— Не режь меня, Гантенбайн! — взмолился кабан.— Додержи до Нового года — не пожалеешь!

Задумался Арнольд Мефодьевич, вспомнил русские народные сказки и воздержался колоть кабана. Стали они жить-поживать, да только кабан наглеть стал: то газету ему почитай, то книгу на ночь. Не исполнишь — орет, визжит, копытами топает. Старается Арнольд Мефодьевич, удовлетворяет кабана, а тот пуще наглеет:

— А хочу, мол, живых композиторов посмотреть!

Упал Арнольд Мефодьевич на колени перед композиторами, сжалились те, пришли к кабану, стали ему свои произведения показывать — очень ему это понравилось: расчувствовался, слезу пустил, собственную песню «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново» изъявил желание спеть и спел, чем весьма растрогал композиторов.

Наступил Новый год. Заправил Арнольд Мефодьевич паяльную лампу бензином, наточил немецкий штык и пошел к кабану.

— Не режь меня, Гантенбайн! — взмолился кабан.— Додержи до Рождества — не пожалеешь!

Задумался Арнольд Мефодьевич, вспомнил русские народные сказки и отложил штык в сторону. Стали он дальше жить-поживать, да только кабан все пуще наглеет:

— Хочу цветной телевизор смотреть! Хочу Фрищше читать!

Закручинился Арнольд Мефодьевич, да делать нечего — нужно исполнять. Все свои сбережения на кабаньи прихоти пустил, а тот еще и издевается:

— А ответь-ка ты мне, Гантенбайн, как ты жизнь свою прожил?

— Хорошо,— отвечал Арнольд Мефодьевич.

Захохотал кабан, мухаком и порванцем обозвал.

Или:

— А ответь-ка ты мне, Гантенбайн, что нужно сделать для полного торжества первого закона диалектики — закона перехода количества в качество?

— Арендный подряд внедрять, гласность и демократию,— отвечал Арнольд Мефодьевич.

— Дурак! — захохотал кабан.— Рюриков призвать нужно!

Наступило Рождество. Заправил Арнольд Мефодьевич паяльную лампу бензином, наточил немецкий штык и пошел к кабану. Зашел в сарай и видит: лежит бездыханная грязная глыба, а рядом — записка: «Ты уж извини меня, Гантенбайн, но надоела мне вся эта канитель, и решил я принять мышьяк, потому что самая серьезная из всех философских проблем — это проблема самоубийства, и мне удалось ее решить. Мясо мое отравлено, и хотя вы привыкли травить друг друга, я тебя все же очень прошу — не соблазнись сам и не соблазни других. Гуд-бай, мой мальчик».

Поплакал, погоревал Арнольд Мефодьевич, да делать нечего: нужно ведь как-то убытки возмещать. Обработал он кабана паяльной лампой, разделал тушу, сбрызнул чесночным рассолом да и повез на рынок.

Тут и сказочке конец.

г. Владимир

* Из обрусевших немцев, по случайности однофамилец героя известного романа М. Фриша «Назову себя Гантенбайн».

Филип К. ДИК

ПОМУТНЕНИЕ

Роман

Глава 13

В комнате № 203 два врача-психиатра излагали безучастно слушавшему Фреду результаты обследования.

— Мы наблюдаем не повреждение, а скорее «феномен соперничества». Садитесь.

— Соперничества между левым и правым полушариями вашего мозга,— подхватил второй врач.— Мы имеем дело не с одним сигналом — пусть искаженным или неполным,— а с двумя сигналами, несущими разноречивую информацию.

— Словно на вашей машине,— продолжил другой,— стоят два датчика уровня топлива. Один показывает, что бак полон, а второй — что пуст. Такого быть не может, они противоречат другу другу. Вы как водитель полагаетесь на показания датчика, в вашем случае — датчиков. Если их показания начинают различаться, вы полностью теряете представление об истинном положении дел. Ваше состояние никак нельзя сравнить с наличием основного и вспомогательного датчиков, когда вспомогательный включается лишь при повреждении основного.

— Что же это значит? — спросил Фред.

— Уверен, что вы уже поняли,— сказал врач слева.— Вам, несомненно, приходилось испытывать это, не осознавая причин.

— Полушария моего мозга соперничают?

— Именно.

— Когда я перестану принимать препарат С, это прекратится?

— Возможно,— кивнул врач слева.— Налицо функциональное повреждение.

— Впрочем, оно может иметь органический характер,— заметил врач справа.— Время покажет.

— Что? — переспросил Фред. Он не понял — да или нет?

— Даже если повреждены ткани мозга, отчаиваться не стоит,— сказал один врач.— Сейчас ведутся эксперименты по удалению небольших областей из обоих полушарий. Ученые полагают, что таким образом удастся избежать «соперничества» и достичь доминирования нужного полушария.

— Однако существует опасность, что тогда субъект будет воспринимать лишь часть входной информации,— сказал второй врач.— Вместо двух сигналов — полсигнала. Что, как мне представляется, ничуть не лучше.

— Да, но половинное функционирование предпочтительнее нулевого, а два «соперничающих» сигнала в конечном счете аннулируют друг друга.

— Видите ли, Фред, вы перестали...

— Я никогда больше не закинусь препаратом С,— сказал Фред.— Никогда в жизни.

— Сколько вы принимаете сейчас?

— Немного.— Он подумал и признался: — В последнее время больше. Из-за стрессов на работе.

— Вас необходимо снять с задания,— решил врач.— Вы больны, Фред. И неизвестно, с какими последствиями. Может быть, вы поправитесь. Может быть, нет.

— Представьте, что одно полушарие вашего мозга воспринимает окружающий мир как бы отраженным в зеркале. Понимаете? Левое становится правым и так далее.

— В зеркале...— пробормотал Фред.

Помутившееся зеркало, помутившаяся камера. Я вижу себя шиворот-навыворот. В некотором смысле я всю Вселенную вижу шиворот-навыворот. Другой стороной мозга.

— Топология,— говорил один врач.— Мало осмысленная наука. Что касается черных дыр...

— Фред воспринимает мир наизнанку,— в то же время говорил другой врач.— Одновременно и спереди, и сзади. Нам трудно вообразить, каким он ему видится. Топология как область математики, исследующая свойства геометрических или иных конфигураций...

— А может, это вы, сукины дети, видите Вселенную шиворот-навыворот, как в зеркале,— сказал Фред.— Может, это я вижу ее правильно.

— Вы видите ее *и так, и эдак*.

Может быть, думал он, поэтому я — первый за всю человеческую историю — вижу все верно. Хотя я вижу и по-другому, то есть по-обычному... А что есть что? Что перевернуто, а что нет? Когда я вижу фотографию, а когда отражение? И какую пенсию мне назначат? Сколько я буду получать по инвалидности?.. Надо совершенно отказаться от этого дерьма. Видел я людей на воздержании... Боже, как мне пройти через это? Как выдержать? Боже, подумал он и закрыл глаза.

— ...смахивает на метафизику,— увлеченно говорил врач,— но математики утверждают, что мы находимся на грани новой космологии...

Рисунки Дмитрия Кедрина

Окончание. Начало см. в №№ 4—5 за 1989 год.

— ...бесконечность времени, которая выражена в виде вечности, в виде петли! — восторженно вторил другой.— Как замкнутая петля магнитной ленты!

До возвращения в кабинет Хэнка оставался час, и Фред пошел в кафетерий. А психологи пока наверняка сообщают Хэнку свои выводы...

У меня есть время подумать, отметил Фред, становясь в очередь. Время... Предположим, время круглое, как Земля. Чтобы достичь Индии, плывешь на запад. Над тобой смеются, но в конце концов Индия оказывается впереди, а не сзади. Что касается времени... Время — это петля магнитной ленты.

Он взял кофе и бутерброд и нашел свободный столик. И сидел, роняя крошки в кофе, безучастно глядя в поднимающийся пар.

Меня отзовут, решил Фред, и поместят в «Новый путь». Я буду выть от воздержания, а кто-нибудь другой поведет наблюдение за Арктором. Какой-нибудь осел, который ни черта в Аркторе не смыслит. Им придется начинать с нуля.

Конечно, отзовут. Но почему обязательно сразу? Если б я мог сделать еще что-нибудь... оценить доказательства Барриса, принять участие в решении... Удовлетворить собственное любопытство! Кто такой Арктор? Что он затевает?

Фред чувствовал себя все хуже и хуже. Он медленно плелся по коридору, засунув руки в карманы, ничего не соображая. Все перепуталось, голова гудела от смятения. Смятения и отчаяния.

Принять бы чего-нибудь, чтобы чувствовать себя увереннее. Что угодно. Пригодится любой совет. Любой намек... Черт подери, подумал он, *что мне делать?*

Если сейчас меня снимут, я никогда их больше не увижу, не увижу никого из своих друзей, тех, за кем наблюдал. Ни Арктора, ни Лакмена, ни Джерри Фабина, ни Чарлза Фрека, ни, главное, Донну. Я никогда-никогда, до конца вечности, не увижу своих друзей. Все кончено.

Даже если мой мозг не выгорел окончательно, ко времени, когда я вернусь на службу, ими будет заниматься кто-нибудь другой. Или они умрут, или попадут в федеральные клиники, или просто разбредутся. С разбитыми планами, с рухнувшими надеждами... Выгоревшие и уничтоженные. Не соображающие, что происходит. Так или иначе, для меня все кончено. Сам того не ведая, я с ними уже простился.

Надо пойти в центр наблюдения и все оттуда унести. Пока не поздно. Ленты могут стереть, меня лишат доступа... Проклятье, подумал он. По любым этическим нормам это *мои* ленты; это все, что у меня осталось.

Но, чтобы воспользоваться записями, понадобится проекционная аппаратура. Нужно разобрать ее и выносить по частям. Камеры и записывающие агрегаты мне ни к чему. Значит, справлюсь. Ключ от квартиры у меня есть. Его потребуют вернуть, но я прямо сейчас могу сделать дубликат. Справлюсь!

Им овладели злость и мрачная решимость. И одновременно радость — все будет хорошо.

С другой стороны, подумал он, если стянуть камеры и записывающую аппаратуру, я смогу продолжать наблюдение. Самостоятельно. А наблюдение продолжать необходимо. Причем необходимо, чтобы наблюдателем был я. Даже если *сделать* что-либо не в моих силах; даже если я буду просто сидеть и просто наблюдать. Крайне важно, чтобы я как свидетель всех событий находился на своем посту.

Не ради них. Ради меня самого.

Впрочем, ради них тоже. На случай какого-нибудь происшествия, как с Лакменом. Если кто-то наблюдает — если я наблюдаю,— я замечу и вызову помощь. Без промедления. Ту, которую надо.

Иначе, подумал он, они могут умереть, и никто не узнает. А если узнает, то тут же забудет.

Маленькие никудышные жизни, жалкое прозябание...

Кто-нибудь обязательно должен вмешаться. По крайней мере кто-нибудь обязательно должен помечать их маленькие грустные кончины. Помечать и регистрировать, чтобы их запомнили. До лучших времен, когда люди поймут.

Он сидел в кабинете вместе с Хэнком, полицейским в форме и вспотевшим, но ухмыляющимся информатором Джимом Баррисом. Они слушали одну из доставленных Баррисом кассет.

«А, привет. Послушай, я не могу говорить. Перезвони».

«Дело не терпит отлагательств».

«Выкладывай».

«Мы намереваемся...»

Хэнк подался вперед и остановил ленту.

— Вы можете сказать, чьи это голоса, мистер Баррис?

— Да! — страстно заявил Баррис.— Женский голос — Донна Хоторн, мужской — Боб Арктор.

— Хорошо.— Хэнк кивнул и посмотрел на Фреда. На столе перед Хэнком лежал рапорт о состоянии здоровья Фреда.— Включите воспроизведение.

«...половину Южной Калифорнии сегодня ночью,— продолжал мужской голос.— Арсенал военно-воздушных сил в Ванденберге будет атакован с целью захвата автоматического и полуавтоматического оружия...»

Хэнк прекратил читать рапорт и прислушался, склонив голову.

Заговорила женщина:

«Не пора ли пустить в систему водоснабжения нервно-паралитические отравляющие вещества...»

«В первую очередь организации нужно оружие,— перебил мужчина.— Приступаем к стадии Б».

«Ясно. Но сейчас мне надо идти — у меня клиент».

Клик. Клик.

— У вас есть аналогичные материалы? — спросил Хэнк.— Или это практически все?

— Еще очень много.

— Но все аналогичные?

— Они относятся, да, к той же нелегальной организации и ее преступным замыслам.

— Кто эти люди? — спросил Хэнк.— Что за организация?

— Международная...

— Их имена. Вы опять ушли в область догадок.

— Роберт Арктор, Донна Хоторн, это главари. В моих зашифрованных записях...— Баррис извлек потрепанный блокнот и лихорадочно зашелестел страницами.

— Мистер Баррис, я конфискую все представленные материалы. Они временно переходят в нашу собственность.

— Но шифр, кодированная информация...

— Вы будете под рукой, когда нам понадобятся объяснения.

Хэнк жестом велел полицейскому выключить магнитофон. Баррис потянулся к клавишам, и полицейский отпихнул его назад. Баррис, с застывшей на лице улыбкой, пораженно заморгал.

— Вас не выпустят, пока мы не кончим изучение материалов. В качестве предлога мы обвиним вас в даче ложных показаний. Это делается в целях вашей собственной безопасности.

После того как Барриса увели, Хэнк молча дочитал рапорт с медицинским заключением, снял трубку внутреннего телефона и набрал номер.

— Надо установить достоверность кое-каких вещественных доказательств. Спасибо... Лаборатория криптографии и электроники,— пояснил он Фреду.

Вскоре пришли два вооруженных техника.

— Кто там внизу?

— Хэрли.

— Попросите Хэрли заняться этим немедленно. Результаты мне нужны сегодня.

Техники забрали вещи и ушли.

Хэнк бросил рапорт на стол и откинулся на спинку стула.

— Ну, что вы скажете о доказательствах Барриса?

— Это заключение о состоянии моего здоровья? — спросил Фред. Он потянулся было за рапортом, но передумал.— На мой взгляд, та малость, которую мы прослушали, кажется подлинной.

— Фальшивка,— отрезал Хэнк.

— Возможно, вы правы,— сказал Фред,— но я не согласен. Что врачи...

— Они считают, что вы свихнулись.

Фред пожал плечами.

— Совершенно?

— В головном мозге у вас функционируют от силы две клетки. Все остальное — короткие замыкания.

— Вы говорите «две»? Из какого количества? — поинтересовался Фред.

— Не знаю. Насколько мне известно, в мозге несметная уйма клеток. Миллиарды.

— А возможных соединений между ними,— заметил Фред,— больше, чем звезд во Вселенной.

— Если так, то вы показываете не лучший результат. Две клетки из... шестидесяти пяти триллионов?

— Скорее из шестидесяти пяти триллионов триллионов.

— На вашем месте,— сказал Хэнк,— я бы взял ящик хорошего коньяка и отправился в горы, в Сан-Бернадино, и жил бы там один-одинешенек, пока все не кончится, возле какого-нибудь озера.

— Но это может никогда не кончиться.

— Тогда не возвращайтесь вовсе. Вы в состоянии вести машину?

— Моя...— Фред неуверенно замолчал. На него внезапно навалилась вялость, расслабляющая сонливость. Происходящее словно совершалось за колышущейся пеленой; исказилось даже чувство времени.— Она...

— Вы не помните.

— Я помню, что она неисправна.

— Вас кто-нибудь должен отвезти. Так будет и безопаснее.

Отвезти меня куда, подумал Фред.

— Конечно,— сказал он, испытывая облегчение. Рваться с поводка, стремясь освободиться, затем лечь...— Что вы теперь думаете обо мне... теперь, когда я выгорел, по крайней мере на время, возможно, навсегда?

— Что вы — очень хороший человек.

— Спасибо,— выдавил Фред.

— Когда вернетесь,— продолжал Хэнк,— позвоните. Дайте мне знать.

— Черт побери, у меня не будет костюма-болтунья.

— Все равно позвоните.

— Хорошо.

Очевидно, это уже не имеет значения. Очевидно, все кончено.

— Когда будете получать деньги, увидите, что сумма изменилась. Значительно изменилась.

— Я получу вознаграждение за то, что со мной случилось? — спросил Фред.

— Наоборот. Сотрудник полиции, добровольно ставший принимать наркотики, подвергается штрафу в три тысячи долларов или шестимесячному тюремному заключению. Думаю, дело ограничится штрафом.

— Добровольно? — изумленно переспросил Фред.

— Вам не приставляли к голове револьвер, не подсыпали ничего в суп. Вы принимали разрушающие психику наркотики в здравом уме и твердой памяти.

— У меня не было выхода!

— Вы могли только делать вид,— отрезал Хэнк.— Хотите закурить? — Он предложил свою пачку.

— Я и это бросаю,— пробормотал Фред.— Наркотики, сигареты... Все бросаю. Включая арахис и...

Мысли путались. Он был не в состоянии думать.

— Я не раз говорил своим детям...— начал Хэик.

— У меня двое детей,— перебил Фред.— Две девочки.

— Я вам не верю. У вас не должно быть детей. Посчитать, сколько вы получите при расчете?

— Да! — горячо воскликнул Фред.— Пожалуйста!

Он подался вперед и напряженно застыл, барабаня пальцами по столу, как Баррис.

— Сколько вы получаете в час? — спросил Хэнк и, не дождавшись ответа, потянулся к телефону.— Я позвоню в бухгалтерию.

Фред молчал, опустив голову и прикрыв глаза. Он думал: может быть, Донна мне поможет? Донна, пожалуйста, помоги мне.

— По-моему, до гор вы не доберетесь,— сказал Хэик.— Даже если кто-нибудь вас отвезет.

— Нет.

— Куда вы хотите?

— Посмотрю.

— В федеральную клинику?

— Нет!

Он думал: что значит «не должно быть детей»?

— Может, к Донне Хоторн? — предложил Хэнк.— Насколько я понял, вы близки.

— Да. Близки... Как вы узнали?

— Путем исключения. Известно, кем вы *не* являетесь, а круг подозреваемых в группе весьма ограничен. Прямо скажем, группа совсем маленькая. Мы предполагали, что через них выйдем на кого-нибудь повыше. Вероятно, нам удастся сделать это через Барриса. Изучая информацию, я давным-давно понял, что вы — Боб Арктор.

— Кто я?! — недоверчиво спросил Фред.— *Боб Арктор?*

Нет, это невероятно. Сущая бессмыслица. Это никак не соответствует тому, что он думал или делал.

— Впрочем, неважно,— продолжал Хэнк.— Какой телефон у Доины?

— Она, наверное, на работе.— Его голос срывался.— Магазин «Парфюмерия». Номер телефона...— Он никак не мог справиться со своим голосом. И, кроме того, не мог вспомнить номер. Черта с два, сказал он себе. Я не Боб Арктор. Но кто я? Может быть, я...

— Дайте мне рабочий телефон Донны Хоторн,— велел Хэик в трубку.— Я соединю вас с ней. Нет, пожалуй, позвоню ей сам и попрошу заехать за вами... куда? Здесь встречаться нельзя. Где вы обычно встречаетесь?

— Отвезите меня к ней,— попросил Фред.— Я знаю, как попасть в квартиру.

Хэнк кивнул и начал набирать номер. Фреду казалось, что каждая следующая цифра набирается все более медленно. Это тянулось целую вечность. Он закрыл глаза, прислушиваясь к своему дыханию и думая: конец. Ему хотелось рассмеяться.

— Отвезем вас...— начал Хэнк, потом отвернулся и заговорил в трубку: — Эй, Донна, это дружок Боба, сечешь? Он совсем расклеился. У него...

— Донна, поторопись. И захвати с собой что-нибудь — мне плохо...— Он подался вперед, хотел коснуться Хэнка, но не сумел — рука бессильно упала.

— В долгу не останусь. Когда-нибудь и я окажу тебе такую услугу,— пообещал он Хэнку, когда тот закончил разговор.

— Посидите, пока я вызову машину... Гараж? Мне нужен легковой автомобиль и водитель в штатском... Я вижу, вам совсем худо,— обратился он к Фреду.— Может быть, вас отравил Баррис? На самом деле мы интересовались Джимом Баррисом, а не вами. Мы надеялись заманить его сюда... и добились этого.— Хэнк помолчал.— Вот почему я знаю, что все его записи и прочие доказательства — фальшивка. Уверен, что лаборатория это подтвердит. Баррис в чем-то замешан.

— Кто тогда я? — неожиданно громко спросил Фред.

— Нам необходимо было добраться до Барриса...

— Сволочи...

— ...подстроено так, что Баррис стал подозревать в вас тайного агента полиции, готового арестовать его или выйти выше. Поэтому он...

Зазвонил телефон.

— Машина сейчас придет,— сказал Хэнк.— Подождите пока, Боб. Боб... Фред... как угодно. Не расстраивайтесь — мы все-таки наложили руки на эту... ну, то слово, каким вы нас обозвали. Вы же знаете, что игра стоила свеч, правда? Заманить его в ловушку... правда?

— Правда.

Он едва мог говорить. Он механически скрежетал.

Ждали в тишине.

По дороге в «Новый путь» Донна съехала с шоссе на обочину.

У него начались боли, времени оставалось немного. Она хотела побыть с ним еще раз. Но откладывала слишком долго... По его щекам текли слезы.

— Посидим немного,— сказала она,— ведя его за руку через кусты среди мусора и пустых банок.— Я...

— У тебя есть трубка? — проговорил он.

— Да,— ответила Донна.

Надо отойти от шоссе достаточно далеко, чтобы их не заметила полиция. Или чтобы можно было успеть выкинуть трубку, если к ним подберутся. На это времени хватит.

А вот у Боба Арктора времени нет, подумала она. Его время — во всяком случае, выраженное человеческими мерками — вышло. Теперь он вступил в иной род времени. Таким временем располагает крыса: бессмысленно бегать взад-вперед. Двигаться хаотически... Он еще видит огни вокруг, но ему, наверное, уже все равно.

Уединенное местечко. Донна достала трубку и завернутый в фольгу кусочек гаша. Арктор сидел, зажав руками сведенный судорогой живот. Его рвало, штаны пропитались мочой. Удержаться он не мог. Скорее всего, он этого даже не замечал. Просто скорчился с искаженным лицом, дрожа от боли в желудке, и стонал, как сумасшедший, выл безумную песнь без слов.

Донна вспомнила одного знакомого, который видел Бога. Тот тоже себя так вел — стонал и плакал, разве что не гадил. Бог предстал перед ним в одном из глюков. Этот знакомый экспериментировал с огромными дозами раствори-

мых в воде витаминов. Цель заключалась в синхронизации и улучшении нервных связей головного мозга. Однако вместо того, чтобы лучше соображать, парень увидел Бога. Это явилось для него колоссальным сюрпризом.

— Ты не знаешь, случаем, Тони Амстердама? — спросила Донна.

Боб Арктор промычал и не ответил. Донна затянулась из гашишной трубки, посмотрела на лежащие внизу огни, прислушалась.

— После того как он увидел Бога, примерно год ему было очень хорошо. А потом стало очень плохо. Хуже, чем когда-либо. Потому что в один прекрасный день он понял, что ему суждено прожить всю оставшуюся жизнь — десятилетия, может быть, пятьдесят лет — и не увидеть ничего необычного. Только то, что видим все мы. Ему было бы гораздо легче, если бы он вовсе не видел Бога. Он мне сказал, что раз буквально рассвирепел: ломал все подряд. Разбил даже свою стереосистему. Он понял, что ему придется жить и жить, ничего вокруг себя не видя. Без цели. Просто кусок мяса — жрущий, храпящий и вкалывающий.

— Как все мы...— выдавил Боб Арктор.

— Так я ему и сказала: «Мы все в одной лодке, и другие от этого не бесятся». А он ответил: «Ты не знаешь, что я видел. Ты не знаешь».

Арктора скрутила спазма, и он с трудом проговорил:

— Твой знакомый не рассказывал... на что это было похоже?

— Искры. Фонтаны разноцветных искр, как если б у тебя свихнулся телек. Искры на стене, искры в воздухе. Весь мир — словно живое существо, куда ни посмотри. И никаких случайностей: все происходило осмысленно, как будто стремясь к чему-то, к некой цели в будущем. А потом он увидел дверь. Примерно с неделю он видел дверь повсюду: у себя дома, на улице, в магазине... Он говорил, что она была очень... приятная; такое слово он употребил. Обрисованная алыми и золотистыми лучами, словно искры выстроились в ряд. И потом ни разу в жизни он ничего такого не видел, и имеино это в конечном счете свело его с ума.

— Что было по ту сторону? — немного помолчав, спросил Арктор.

— Он говорил, что там был другой мир.

— Твой знакомый... туда не заходил?

— Потому он и переломал все у себя в квартире. Ему и в голову не приходило войти. Он просто восхищался дверью, и все. Потом было уже поздно. Через несколько дней она закрылась и исчезла навсегда. Снова и снова он принимал лошадиные дозы ЛСД, глотал бешеное количество этих растворимых витаминов, но больше никогда ее не видел — так и не сумел подобрать нужную комбинацию.

— Что было по ту сторону? — повторил Арктор.

— Там всегда стояла ночь.

— Ночь!

— Всегда одно и то же: лунный свет и вода. Ничто не двигалось и не изменялось. Вода, черная, как чернила, и берег, песчаный берег острова. Он был уверен, что это Греция. Древняя Греция. Ему казалось, что дверь — это проем во времени, и перед ним прошлое. На острове была женщина. Ну, не совсем женщина — скорее статуя. Он говорил, что это Афродита. В лунном свете бледная, холодная, сделанная из мрамора.

— Он должен был пройти в дверь, когда была возможность.

— Никакой возможности не было. Ему привиделось обещание, то хорошее, к чему надо стремиться, что придет когда-нибудь в будущем...

— Он упустил свой шанс. Каждому дается один шанс...— Арктор закрыл глаза от боли, на лице выступил пот.— А, что может знать выгоревший торчок?! Что знаем мы? Я не могу говорить. Прости.

Он отвернулся, съежился, зубы застучали.

Донна обняла его, крепко прижала к себе и стала легонько покачивать.

Внезапно ей в глаза ударил свет. Перед ними стоял полицейский с фонариком.

— Ваши документы! Вы сперва, мисс.

Донна отпустила Арктора, и тот медленно повалился на землю. Донна вытащила из сумочки бумажник и жестом предложила отойти подальше. Полицейский несколько минут рассматривал ее документы.

— Значит, вы сотрудник федеральной полиции?

— Тихо! — приказала Донна.— Убирайтесь отсюда!

— Простите.

Полицейский отдал бумажник и исчез в темноте так же бесшумно, как и появился.

Донна вернулась к Бобу Арктору. Тот явно не заметил полицейского. Он теперь вообще ничего не замечал.

Ночь была безмолвна. Лишь в сухом кустарнике шелестела ящерица да какие-то букашки колыхали траву. Далеко внизу светилось огнями шоссе № 91, но звуки не долетали.

— Боб,— прошептала Донна.— Ты меня слышишь?

Тишина.

Все цепи замкнуты, подумала она. Все расплавилось и сгорело. И никому не удастся их починить, как ни старайся...

— Идем,— сказала Донна, потянув его за руку.— Нам пора.

— Я не могу любить,— произнес Боб Арктор.— Моя штучка пропала.

— Нас ждут,— твердо повторила Донна.

— Но что же делать? Меня примут без штучки?

— Примут,— пообещала Донна.

Откуда-то издалека донеслась полицейская сирена. Патрульная машина ведет преследование. Рев хищника, обуреваемого жаждой убийства. Знающего, что жертва вот-вот сдастся.

Донна поежилась — ночной воздух заметно остыл. Рядом с ней зашевелился и попытался встать мужчина. Она помогла ему и осторожно, шаг за шагом, повела к автомобилю. Рев полицейской машины внезапно прекратился. Ее работа была выполнена. Моя тоже, подумала Донна, прижимая к себе Боба Арктора.

На полу перед двумя служащими «Нового пути» скорчилось вонючее, запачканное собственными испражнениями, трясущееся существо. Оно обвило себя руками, словно пытаясь защититься от холода, который заставлял его биться крупной дрожью.

— Что это? — спросил один из сотрудников.

— Человек.— ответила Донна.

— Препарат С?

Она кивнула и, склонившись над Робертом Арктором, мысленно сказала: «Прощай».

Когда Донна выходила, его покрывали армейским одеялом. Она не оглянулась.

Донна выбрала самое узкое шоссе и врезалась в сплошной поток машин. Среди валявшихся на полу кассет нашла свою любимую — «Гобелен» Кэрол Кинг,— втолкнула ее в магнитофон и достала из-под приборной доски держащийся там на магнитах «рюгер». Потом села на хвост грузовику с кока-колой и под проникновенный голос Кэрол Кинг выпустила в бутылки всю обойму.

Кэрол Кинг нежно пела о людях, заплывающих жиром и превращающихся в жаб; встровое стекло было в стеклянных крошках и подтеках кока-колы. Донне стало легче. Справедливость, честность, преданность... О боже, подумала Донна, врубила пятую передачу и на всем ходу ударила своего древнего врага — грузовик с кока-колой. Тот продолжал ехать как ни в чем не бывало. Маленькая машина Донны завертелась, что-то заскрежетало, и она оказалась на обочине, развернувшись в обратном направлении. Из радиатора валил пар.

Рядом притормозил «мустанг» последней модели, и из окошка высунулся водитель.

— Подбросить, мисс?

Донна не ответила. Она молча шагала вдоль шоссе — крохотная фигурка, идущая навстречу бесконечной череде огней.

Глава 14

— Самое главное в твоей работе,— сказал Джордж, один из сотрудников «Нового пути»,— это туалеты. Полы, раковины и особенно унитазы. В здании три туалета, по туалету на каждом этаже.

— Да,— отозвался он.

— Вот швабра. А вот ведро. Ну как, справишься? Сумеешь вымыть туалет? Начинай, я погляжу.

Он отнес ведро к раковине, влил мыло и пустил горячую воду. Он видел перед собой только пену. Видел пену и слышал звон струи.

И еще едва доносящийся голос Джорджа:

— Не до краев, пролъешь.

— Да.

— По-моему, ты не понимаешь, где находишься,— помолчав, сказал Джордж.

— Я в «Новом пути».

Он опустил ведро на пол, вода выплеснулась. Он застыл, глядя на лужицу.

Джордж поднял ведро и показал, как ухватиться за ручку.

— Думаю, позже мы переведем тебя на ферму.

— Я бы хотел жить в деревне.

— Посмотрим, что тебе подойдет... Здесь можно курить.

— У меня нет сигарет.

— Мы выдаем пациентам по пачке в день.

— А деньги? — У него не было ни гроша.

— Бесплатно. У нас все бесплатно. Ты свое уже заплатил.

Джордж взял швабру, макнул ее в ведро, показал, как мыть.

— Почему у меня нет денег?

— И нет бумажника. И нет фамилии. Тебе все вернут. Это мы и хотим сделать — вернуть тебе то, что было отнято.

— Ботинки жмут.

— Мы живем на пожертвования. Потом подберем. Начинай с туалета на первом этаже. Когда закончишь — по-настоящему закончишь и блеск наведешь,— бери ведро и швабру и поднимайся. Я покажу тебе туалет на втором этаже, а потом и на третьем. Но чтобы подняться на третий этаж, надо получить разрешение кого-нибудь из сотрудников — там живут девушки.— Джордж хлопнул его по спине.— Понял, Брюс?

— Да,— ответил Брюс, надраивая пол.

— Молодец. Будешь мыть туалеты, пока не выучишься. Главное — не престижность работы, а то, как ее выполняешь. Своей работой надо гордиться.

— Я когда-нибудь стану таким, каким был прежде? — спросил Брюс.

— То, каким ты был, привело тебя сюда. Если снова станешь таким же, рано или поздно опять очутишься здесь. А может, в следующий раз сюда не дотянешь. Тебе и так повезло, еле-еле добрался.

— Меня кто-то привез.

— Тебе повезло. В следующий раз могут не привезти — бросят где-нибудь на обочине и пошлют к чертовой матери... Сперва надо вымыть раковину, потом ванну и унитаз. Пол в последнюю очередь. Тут нужна сноровка. Ничего, освоишься.

Он сосредоточил внимание на трещинах в эмали раковины; он втирал порошок и пускал горячую воду. Поднялся пар, и Брюс застыл в белесом облаке, глубоко втягивая теплый воздух. Ему нравился запах.

Прибыла огромная охапка пожертвованной одежды. Кое-кто уже примерял рубашки.

— Эй, Майк, да ты клевый парень!

Посреди гостиной стоял плечистый коротышка с кудрявыми волосами и, нахмурив брови, теребил ремень.

— Как им пользоваться? Почему он не отпускается?

У него был широкий ремень без пряжки, и он не знал, как застопорить кольца.

— Должно быть, подсунули негодный!

Брюс подошел к нему и затянул ремень в кольцах.

— Спасибо,— сказал Майк и с поджатыми губами перебрал несколько рубашек.— Когда буду жениться, на свадьбу надену такую.

— Хорошая,— отозвался Брюс.

После ужина он уселся на лестнице между первым и вторым этажами, обхватил себя руками, съежился.

— Брюс!

Он не шелохнулся.

— Брюс!

Его потрясли. Он молчал.

— Брюс, идем в гостиную. Ты должен сейчас находиться у себя в комнате, в постели, но нам надо поговорить.

Майк провел его в пустую комнату и прикрыл дверь. Потом сел в глубокое кресло и указал на стул напротив. Майк выглядел усталым, его маленькие глазки припухли и покраснели.

— Я встал сегодня в пять тридцать.— Стук. Дверь приотворилась.— Не входите, мы разговариваем! Слышите?! — во весь голос закричал он.

Приглушенное бормотание. Дверь закрылась.

— Тебе надо менять рубашку несколько раз в день,— сказал Майк.— Ты сильно потеешь.

Брюс кивнул.

— Когда тебе снова будет так плохо, приходи ко мне. Я прошел через это года полтора назад. Знаешь Эдди? Такой высокий, тощий? Он меня восемь дней катал, не оставлял одного.— Майк внезапно заорал: — Вы уберетесь отсюда?! Мы разговариваем! Идите смотреть телевизор! — Он перевел взгляд на Брюса и понизил голос.— Вот приходится... Никогда не оставят в покое.

— Понимаю,— сказал Брюс.

— Брюс, не вздумай покончить с собой.

— Да, сэр,— ответил Брюс, глядя в пол.

— Не называй меня «сэр»!

Он кивнул.

— Ты закидывался или кололся?

Он молчал.

— Сэр,— сказал Майк,— я десять лет мотал срок. Однажды восемь парней из нашего ряда в один день перерезали себе глотки. Мы спали ногами в параше, такие маленькие были камеры. Ты сидел в тюрьме?

— Нет,— ответил Брюс.

— Но, с другой стороны, я видел восьмидесятилетних заключенных, которые радовались жизни и мечтали прожить подольше. Я сел на иглу еще совсем сосунком. Я кололся и кололся, и больше ничего не делал, и наконец загремел на десять лет. Я так много кололся — героин с препаратом С,— что ничем другим никогда не занимался. И ничего больше не видел. Теперь я сошел с иглы и очутился на свободе, здесь. Знаешь, что я заметил? Что сразу бросается в глаза? Я слышу журчание ручьев, когда нас пускают в лес. Я иду по улице, по самой обыкновенной улице, и вижу кошек и собак. Никогда их раньше не замечал. Я видел только иглу.— Майк посмотрел на свои часы.— Так что я понимаю, каково тебе,— добавил он.

— Тяжело,— пробормотал Брюс.

— Я сам прошел через это. Теперь мне гораздо лучше. Ты с кем живешь?

— С Джоном.

— А, значит, твоя комната на первом этаже?

— Мне нравится.

— Да, там тепло. Ты, должно быть, все время мерзнешь. У меня было то же самое. Все время дрожал и мочился в штаны. Так вот, тебе не придется переживать это заново, если ты останешься в «Новом пути».

— Надолго?

— На всю жизнь.

Брюс покачал головой.

— Я не могу отсюда выйти,— сказал Майк.— Сразу сяду на иглу. Слишком много дружков осталось. Опять на улицу — толкать и колоться,— загремлю в тюрягу лет на двадцать. А знаешь, мне тридцать пять, и я женюсь в первый раз. Ты видел Лауру, мою невесту?

Брюс колебался.

— Хорошенькая, полненькая?

Майк кивнул.

— Она боится выйти. Ее всегда должен кто-то сопровождать. Мы собираемся в зоопарк... На следующей неделе мы ведем сына директора-распорядителя в зоопарк Сан-Диего. Лаура перепугана до смерти... Даже больше, чем я.

Молчание.

— Ты слышал, что я сказал? — спросил Майк.— Я боюсь идти в зоопарк.

— Да.

— Не припомню, чтоб я был в зоопарке... Что там делают? Ты не знаешь?

— Смотрят в разные клетки.

— Какие там животные?

— Всякие.

— Дикие, небось.

— В зоопарке Сан-Диего представлены почти все виды диких животных.

— А у них есть эти... как их... медведи коала?

— Да.

— Я раз видел их по телеку. Прыгают. И вообще прямо как игрушечные. Наверное, их встретишь только в Австралии? Или они там вымерли?

— В Австралии их навалом,— сообщил Брюс.— Но вывоз запрещен.

— Я никогда нигде не был,— сказал Майк.— Только возил героин из Мексики в Ванкувер. Всегда одним и тем же путем. Жал на всю катушку, лишь бы поскорее покончить с делом. Здесь мне доверили машину. Если тебе станет невмоготу, я тебя покатаю. Покатаемся и поговорим. Я не против. Эдди и другие — их уже нет — делали это для меня. Я не против.

— Спасибо.

— А теперь нам обоим пора спать. Увидимся за завтраком. Сядешь ко мне за стол, и я познакомлю тебя с Лаурой.

— Когда вы женитесь?

— Через полтора месяца. Были бы тебе рады. Впрочем, бракосочетание, конечно, будет происходить здесь, так что придут все.

— Спасибо.

Девочка смотрела на него, широко раскрыв глаза.

— Тебя как зовут?

Он молчал.

— Я сказала, тебя как зовут?

Он осторожно дотронулся до отбивной на тарелке: она уже остыла. Но он знал, что рядом ребенок, и чувствовал тепло. Нежным мимолетным движением он коснулся волос девочки.

— Меня зовут Тельма. Ты забыл свое имя? — Она похлопала его по плечу.— Чтобы не забывать имя, напиши его на ладони. Показать как?

— А не смоется? — спросил он.

— Действительно...— согласилась девочка.— Что ж, можно написать на стене над головой, в комнате, где ты спишь. Только высоко, чтобы не смылось. А потом, когда захочешь вспомнить...

— Тельма,— пробормотал он.

— Нет, это *мое* имя. У тебя должно быть другое.

— Попробую,— задумчиво сказал он.

— Хочешь, я дам тебе имя? — предложила Тельма.

— Ты здесь живешь?

— Да, но моя мама собирается уехать. Она заберет нас — меня и брата — и уедет.

Он кивнул. Тепло стало рассасываться. Неожиданно, без всякой видимой причины, девочка убежала.

Я должен найти имя, подумал он, это мой долг. Он стал рассматривать свою ладонь и тут же удивился: зачем — там ничего нет. Брюс, вот мое имя. Но имена должны быть лучше...

Тепло исчезло. Он почувствовал себя одиноким и растерянным. И очень несчастным.

Майка Уэстуэя послали на грузовике за полусгнившими овощами, пожертвованными «Новому пути» местным магазином. Убедившись, что за ним не следят, он сделал звонок из автомата и в закусочной Макдональда встретился с Донной Хоторн. Они сели на улице, поставив на деревянный столик гамбургеры и кока-колу.

— Он не вызывает подозрений? — спросила Донна.

— Нет,— ответил Уэстуэй. Но подумал: парень слишком выгорел.— Боюсь, что все это бессмысленно. Я сомневаюсь, что мы чего-нибудь достигнем. И все же иного пути не было.

— Вы убеждены, что препарат выращивают?

— Я — нет. Убеждены они.— Те, кто нам платит, подумал он.

— Что означает название?

— Mors ontologica? Смерть духа. Личности. Сути.

— Он сможет выполнить свою задачу?

Уэстуэй мрачно промолчал.

— Не знаете...

— Это никому не дано знать. Память. Несколько оживших клеток. Словно рефлекс. От него требуется не выполнять — реагировать. Мы можем лишь надеяться.

Уэстуэй смотрел на темноволосую девушку, сидящую напротив, и, кажется, понимал, почему Боб Арктор... Нет, я должен всегда думать о нем как о Брюсе...

— Он был отлично натренирован,— произнесла Донна сдавленным голосом. И вдруг на ее красивое лицо легло выражение скорби, выделяя и заостряя все черты.— Господи, какой ценой...— пробормотала она и залпом выпила стакан кока-колы.

Но иного способа проникнуть нет, думал Майк. *Я* не смог, сколько ни пытался. Туда допускают только абсолютно выгоревших, безвредных, от которых осталась одна оболочка. Вроде Брюса. Он *должен* был стать таким... каким стал. Иначе ничего бы не получилось.

— Правительство требует от нас невозможного,— сказала Донна.

— Этого требует от нас жизнь.

Ее глаза сузились и засверкали.

— В данном случае — федеральное правительство. Конкретно. От вас, от меня. От...— Она запнулась.— От того, кто был моим другом.

— Он до сих пор ваш друг.

— То, что от него осталось.

То, что от него осталось, думал Майк Уэстуэй, все еще ищет тебя. По-своему.

Им тоже овладела тоска. Но день по-прежнему был хорош, люди веселы, воздух свеж. И впереди возможность успеха — это больше всего придавало ему сил. Они многого достигли. Цель близка.

— Наверное, нет ничего ужаснее, чем жертвовать живым существом, которое даже *не догадывается*. Если бы оно понимало и добровольно вызвалось...— Донна взмахнула рукой.— Он не знает. И не знал. Он не вызывался...

— Вызывался. Это его работа.

— Он и понятия не имел. И не имеет, потому что сейчас у него нет вообще никаких понятий. Вы знаете не хуже меня. И не будет. Никогда-никогда, сколько бы он ни прожил. Это произошло не случайно, все было запланировано. Мы на это рассчитывали. На мне тяжелейшая вина. Я чувствую на плечах... труп — труп Боба Арктора. Хотя формально он жив.

Ее голос поднялся. Люди за соседними столиками отвлеклись от своих гамбургеров и с любопытством смотрели в их сторону. Майк Уэстуэй сделал знак, и Донна с видимым усилием взяла себя в руки.

— Существо, лишенное мозга, нельзя допросить и разоблачить.

— Мне пора возвращаться,— сказала Донна, взглянув на часы.— Я сообщу руководству, что, по вашему мнению, все в порядке.

— Надо дождаться зимы,— сказал Уэстуэй.

— Зимы?

— Не спрашивайте почему. Уж так есть: либо получится зимой, либо не получится вовсе.

— Подходящее время. Когда все мертво и занесено снегом.

Он рассмеялся.

— В Калифорнии-то?

— Зима духа. Mors ontologica. Когда дух мертв.

— Только спит.— Уэстуэй поднялся, положил руку ей на плечо. В голову почему-то пришла мысль, что этот кожаный пиджак, возможно, в былые счастливые дни подарил Арктор.

— Мы слишком долго над этим работали,— сказала Донна тихим ровным голосом.— Скорей бы все кончилось. Иногда по ночам, когда я не могу заснуть, мне кажется, что мы холоднее их. Холоднее врага.

— Я смотрю на вас и вижу самого теплого человека из всех, кого знаю.

— Я тепла снаружи: это то, что видят люди. Теплые глаза, теплое лицо, теплая фальшивая улыбка. Внутри я холодна и полна лжи. Я не такая, какой кажусь; я отвратительна.— Она говорила спокойно и все время улыбалась.— Я давно поняла, что другого выхода нет, и заставила себя стать такой. Это не так уж плохо — легче добиться своей цели. Все люди такие, в большей или меньшей степени. Что действительно кошмарно — это ложь. Я лгала своему другу, лгала Бобу Арктору постоянно. Однажды я сказала ему, чтобы он мне не верил, и, конечно, он решил, что я шучу. Но я его предупреждала. Он сам виноват.

Донна встала из-за стола и пропала в толпе.

Уэстуэй мигнул. Должно быть, так чувствовал себя Боб Арктор. Только что она была тут, живая, осязаемая, и вдруг — ничего. Растворилась. Исчезнувшая девушка. Из тех, что приходят и уходят по своей воле. И ничто, никто не может остаться с ней рядом.

Арктор пытался удержать ветер. Агенты по борьбе с наркоманией неуловимы. Тени, исчезающие, когда того требует работа. Словно их и не было. Арктор любил призрак, голограмму, сквозь которую нормальный человек пройдет, не заметив. Им нужно поставить памятник. Всем тем, кто погиб. И тем, кто — еще хуже — не погиб. Остался жить после смерти. Как Боб Арктор.

Такие, как Донна, пропадают навсегда. Новые имена, новые адреса. Вы спрашиваете себя: где она теперь? А ответ...

Нигде. Потому что ее и не было.

Вернуть Донну, найти, привязать к себе... Я повторяю ошибку Арктора. Любить атмосферное явление. Вот — трагедия. Ее имя не значится ни в одной книге, ни в одном списке; ни имя, ни место жительства. Такие девушки есть, и именно их мы любим больше всего — тех, кого любить безнадежно, потому что они ускользают в тот самый миг, когда кажутся совсем рядом.

Возможно, мы спасли его от худшей участи, подумал Уэстуэй. И при этом пустили то, что осталось, на благое дело.

Если повезет.

— Ты знаешь какие-нибудь сказки? — спросила Тельма.

— Я знаю историю про волка,— сказал Брюс.

— Про волка и бабушку?

— Нет. Про черно-белого волка, который жил на дереве и прыгал на фермерскую скотинку. Однажды фермер собрал всех своих сыновей и всех друзей своих сыновей, и они встали вокруг дерева и принялись ждать, когда волк спрыгнет. Наконец волк спрыгнул на какую-то паршивую коричневую тварь, и тогда они все разом его пристрелили.

— Ну,— расстроилась Тельма,— это грустная история.

— Но шкуру сохранили,— продолжал Брюс.— Черно-белого волка освежевали и выставили его прекрасную шкуру на всеобщее обозрение, чтобы все могли подивиться, какой он был большой и сильный. И последующие поколения много говорили о нем, слагали легенды о его величии и отваге и оплакивали его кончину.

— Зачем же тогда стрелять?

— У них не было другого выхода.

— Ты знаешь веселые истории?

— Нет,— ответил Брюс.— Это единственная история, которую я знаю.

Он замолчал, вспоминая, как волк радовался своим изящным прыжкам, какое удовольствие испытывал от своего мощного тела. И теперь этого тела нет, с ним покончили. Ради каких-то жалких тварей, все равно предназначенных на съедение. Ради неизящных, которые никогда не прыгали, никогда не гордились своей статью. Но, с другой стороны, они остались жить, а черно-белый волк не жаловался. Он ничего не сказал, даже когда в него стреляли; его зубы были на горле у добычи. Он погиб впустую. Но иначе не мог. Это был его образ жизни. Единственный, который он знал. И его убили.

— Я — волк! — закричала Тельма, неуклюже подпрыгивая.— Уф! Уф!

Брюс с ужасом впервые заметил, что ребенок — калека.

— Ты не волк,— сказал он и ушел.

А Тельма продолжала играть, ковыляя и прихрамывая. Подпрыгнула, споткнулась и упала.

Он плелся по коридору и искал пылесос. Ему велели тщательно пропылесосить помещение для игр, где проводили время дети.

— По коридору направо,— сказал ему Эрл.

Он подошел к закрытой двери и открыл ее. Посреди комнаты старая женщина пыталась жонглировать тремя резиновыми мячиками. Она встряхнула растрепанными серыми волосами и улыбнулась беззубым ртом. Он увидел запавшие глаза; запавшие глаза и разинутый пустой рот.

— Ты так можешь? — прошепелявила она и подбросила все три мячика. Они упали ей на голову, на плечи, запрыгали по полу. Старуха засмеялась, брызгая слюной.

В дверь вошел человек и остановился за спиной у Брюса.

— Давно она тренируется? — спросил Брюс.

— Порядком.— И к старухе: — Попробуй еще. У тебя уже лучше получается.

Старуха хихикала, снова и снова высоко подбрасывала мячики, втягивала голову в плечи и, скрипя всеми суставами, подбирала их с пола.

Человек рядом с Брюсом презрительно фыркнул.

— Тебе надо вымыться, Дониа. Ты грязная.

Брюс потрясенно сказал:

— Это не Донна. Разве это Донна?

Он пристально взглянул на старуху и почувствовал смятение: в ее глазах стояли слезы, но она смеялась. Смеялась, когда швырнула в него все три мячика. Он еле уклонился.

— Нет, Донна, нельзя,— сказал человек рядом с Брюсом.— Не кидай в людей. Иди умойся, от тебя несет.

Старуха засеменила прочь, сгорбленная и маленькая.

Человек рядом с Брюсом закрыл дверь, и они пошли по коридору.

— Донна давно живет?

— Давно. Я здесь шесть месяцев, а она уже была.

— Тогда это не Донна,— твердо заявил Брюс.— Потому что я приехал неделю назад.

А меня привезла Донна, думал он. Я точно помню. Как она была хороша — темноволосая, темноглазая, тихая и собранная, в аккуратном кожаном пиджачке...

На душе у него стало гораздо легче. Но он не понимал, почему.

Глава 15

— Можно, я буду работать с животными? — попросил Брюс.

— Нет,— сказал Майк.— Пожалуй, отправим тебя на одну из наших ферм. Я хочу, чтобы ты несколько месяцев ухаживал за растениями. На свежем воздухе, у земли. Приходилось иметь дело с сельским хозяйством?

— Я работал в учреждении.

— Теперь ты будешь работать в поле. Если твой разум вернется, то вернется естественным путем. Нельзя *заставить* себя снова думать. Можно лишь упорно трудиться, например, сажать семена или пахать землю на наших овощных плантациях — так мы их называем — или бороться с вредителями. Мы опрыскиваем насекомых из пульверизатора. Но с этими веществами надо быть крайне осторожным, иначе они принесут больше вреда, чем пользы. Они могут отравить не только урожай, но и человека, который пустит их в дело. Проесть его голову. Как проело твою.

— Хорошо,— сказал Брюс.

Тебя опрыскали, думал Майк, и ты стал букашкой. Опрыскай букашку ядом, и та сдохнет; опрыскай человека, обработай его мозги, и он превратится в насекомое, будет вечно трещать и щелкать. По рефлексу. Исполняя последний приказ.

Ничто новое не войдет в этот мозг, думал Майк, потому что мозга нет. Как и человека, которого я никогда не знал.

Но, может быть, если привести его на нужное место, если наклонить ему голову, он еще сумеет посмотреть вниз и увидеть землю. Сумеет осознать, что это земля. И посадить в нее нечто отличное от себя, нечто *живое*. Чтобы оно росло.

Майк вел грузовик, а рядом на сиденье подпрыгивало обмякшее тело, ожиленное машиной.

Уж не «Новый путь» ли сделал это с ним, думал Майк. Породил вещество, которое превратило его в безмозглую тварь и в конечном итоге *вернуло к себе?*

Он не знал. Директор-распорядитель сказал, что их цели будут открыты ему, когда он проработает в штате еще два года.

Эти цели, сказал директор-распорядитель, не имеют ничего общего с лечением наркомании.

На какие средства существует «Новый путь», было известно одному директору-распорядителю Дональду. Но недостатка в средствах не было никогда. Что ж, думал Майк, производство и распространение препарата С должно приносить огромные деньги. Достаточные, чтоб «Новый путь» рос и процветал. И чтоб оставалось еще на ряд других целей.

Смотря для чего предназначен «Новый путь».

Он знал — федеральное правительство знало — то, чего не знала ни общественность, ни даже полиция. Препарат С не синтезировали в лаборатории. Как героин, препарат С был органического происхождения.

Живые, думал Майк, никогда не должны служить целям мертвых. Но мертвые — он взглянул на Брюса, на трясущуюся рядом пустую оболочку — по возможности должны служить целям живых.

Таков закон жизни.

Мертвые, думал Майк, которые еще могут видеть, даже если ничего не понимают,— они наши глаза. Наша камера.

Глава 16

В кухне под раковиной, среди щеток, ведер и ящиков мыла, он нашел маленькую косточку. Она походила на человеческую, и он подумал: не Джерри ли это Фабин?

Невольно вспомнилось, что давным-давно он делил кров с двумя парнями и у них была шутка о крысе по имени Фред, которая жила у них под раковиной. Они рассказывали гостям, что однажды, когда их совсем приперло, бедного старого Фреда пришлось съесть.

Может быть, это косточка жившей под раковиной крысы, которую они придумали, чтобы было не так тоскливо?

...— Этот парень разыскивал друга. Узнал дом, остановился и спросил, где найти Лео. «Лео умер». А парень отвечает: «Хорошо, я загляну в четверг». И уехал. В четверг, полагаю, вернулся. Ну, как вам?

Потягивая кофе, он слушал разговоры в гостиной.

— ...В телефонной книге записан всего один номер, на каждой странице, и по этому номеру можешь звонить куда хочешь... Я говорю о совершенно ошизевшем обществе... И у себя в бумажнике ты носишь этот номер, *единственный* номер, записанный на разных визитных карточках и листочках. И если номер забыл, то не позвонишь никому.

— А справочная?

— У нее тот же номер.

Он внимательно слушал. Интересное место — звонишь, а тебе говорят: «Вы ошиблись». Снова набираешь тот же самый номер и попадаешь куда надо.

Идешь к врачу — а врач только один, и специализируется на всем,— и тебе прописывают лекарство, одно на все случаи жизни. Относишь рецепт в аптеку, и тебе дают единственное средство, которое у них есть,— аспирин. И тот лечит все болезни.

Закон тоже один, и все нарушают его снова и снова. Полицейский кропотливо помечает, какой параграф, какой пункт, какой раздел — всегда одно и то же. И за любое нарушение — от перехода улицы в неположенном месте до государственной измены — одно наказание: смертная казнь. Общественность требует отменить смертную казнь, но это невозможно, потому что тогда, скажем, за неправильный переход вовсе не будет наказания. И так, нарушая закон, они постепенно все вымерли.

Он неуверенно рассмеялся и, когда его спросили, повторил вслух. И все в гостиной тоже засмеялись.

— Отлично, Брюс!

Шутка прижилась. Когда кто-нибудь что-нибудь не понимал или не мог найти то, за чем его посылали,— например, рулон туалетной бумаги,— то обычно говорил: «Что ж, я, пожалуй, зайду в четверг». Эта шутка приписывалась Брюсу. Его высказывание. Стало считаться, что он принес в «Новый путь» юмор. Принес способность видеть смешную сторону вещей, как бы ни было плохо.

Глава 17

В конце августа его перевели на ферму в Северной Калифорнии, в краю виноградников...

Приказ о перемещении подписал Дональд Абрахамс, директор-распорядитель фонда «Новый путь». По представлению Майкла Уэстуэя, который принимал особое участие в судьбе Брюса.

— Тебя зовут Брюс,— сказал управляющий фермой, когда Брюс неуклюже вылез из машины, волоча за собой чемодан.

— Меня зовут Брюс,— сказал он.

— Мы попробуем тебя на сельскохозяйственных работах, Брюс.

— Хорошо.

— Я думаю, тебе понравится здесь.

— Я думаю, мне понравится,— сказал Брюс.— Здесь.

Управляющий придирчиво осмотрел его.

— Тебя недавно постригли?

— Да, меня недавно постригли.— Брюс прикоснулся к бритой голове.

— За что?

— Меня постригли, потому что нашли на женской половине.

— В первый раз?

— Во второй.— Брюс стоял, не выпуская чемоданчика. Управляющий жестом велел поставить его на землю.— В первый раз меня постригли за буйство.

— Что ты сделал?

— Я швырнул подушку.

— Хорошо, Брюс,— сказал управляющий.— Идем, я покажу, где ты будешь жить. У нас здесь нет большого дома, а есть маленькие домики, в которых размещаются по шесть человек. Там спят, готовят себе пищу и отдыхают, когда не работают. Ты любишь горы? — Управляющий указал направо.— Гляди: горы. На их склонах выращивают отличный виноград. Мы не растим виноград. Разные другие культуры, но не виноград.

— Я люблю горы,— сказал Брюс.

— Посмотри на них.— Управляющий снова указал. Брюс не смотрел.— Работать в поле без головного убора нельзя. Пока мы не дадим тебе головной убор, на работу не выходи. Ясно?

— Я не должен выходить на работу без головного убора,— повторил Брюс.

— Здесь хороший воздух,— сказал управляющий.

— Я люблю воздух,— сказал Брюс.

Управляющий жестом приказал Брюсу взять чемодан и следовать за ним. Он то и дело поглядывал на Брюса и чувствовал себя не в своей тарелке. Знакомое ощущение — ему всегда было не по себе, когда приезжали... такие.

— Мы все любим воздух, Брюс. В самом деле любим. Это у нас общее.

Он подумал: по крайней мере *это* у нас еще общее.

— Я буду видеться со своими друзьями? — спросил Брюс.

— С друзьями из «Нового пути» в Санта-Ане?

— С Майком и Лаурой, и Джорджем, и Донной, и...

— Сюда к нам приезжать нельзя,— объяснил управляющий.— Но два раза в год у нас проводятся общие встречи: на Рождество и...

Брюс остановился.

— Следующая встреча — на Благодарение,— сказал управляющий, махнув ему рукой.— Рабочие на два дня поедут туда, откуда они к нам попали. А потом вернутся — до Рождества. Так что с друзьями увидишься. Но учти: у нас в «Новом пути» нельзя завязывать с кем-то каких-то отдельных отношений. Тебе говорили? Мы все — одна семья.— Управляющий выбрал первый попавшийся из ряда совершенно одинаковых домиков.— Твой домик — 4 «Д». Запомнишь?

— Они похожи,— пожаловался Брюс.

— Можешь прикрепить предмет, по которому легче будет его узнавать. Что-нибудь яркое.— Он открыл дверь — изнутри полыхнуло горячим спертым воздухом.— Полагаю, мы поставим тебя сперва на артишоки,— размышлял вслух управляющий.— Тебе придется носить перчатки — они колючие.

— Артишоки,— сказал Брюс.

— У нас есть и грибы. Экспериментальные фермы. Конечно, закрытые, чтобы патогенные споры не заражали почву.

— Грибы,— повторил Брюс, входя в жаркое темное помещение.

Управляющий смотрел на него с порога.

— Да, Брюс,— сказал он.

— Да, Брюс,— сказал Брюс.

— Брюс,— окликнул управляющий.— Очнись!

Он кивнул, застыв в полумраке, все еще не выпуская из рук чемодан.

Сто́ит им оказаться в темноте, как они сразу клюют носом, подумал управляющий. Словно цыплята. Овощ среди овощей. Грибок среди грибков. Выбирай. Он включил свет и начал показывать Брюсу нехитрое хозяйство. Брюс не обращал внимания — он впервые заметил горы и теперь смотрел на них широко открытыми глазами.

— Горы, Брюс, горы,— сказал управляющий.

— Горы, Брюс, горы...— повторил Брюс.

— Хорошо, Брюс.— Управляющий закрыл дверь домика и подумал: я поставлю его на морковь. Или на свеклу. На что-нибудь простое. На то, что его не озадачит.

И на вторую койку — другой овощ. Для компании. Пусть дремлют свои жизни вместе, в унисон. Рядками. Целыми акрами.

...Его развернули лицом к полю, и он увидел хлеба, поднимающиеся, словно зазубренные дротики. Он нагнулся и заметил у самой земли маленький голубой цветок. Множество цветков на коротких жестких стеблях. Словно щетина. Спрятанные среди более высоких растений, как часто сажают фермеры: одни посадки среди других. Как в Мексике сажают марихуану — чтобы не заметила полиция с джипов.

Но тогда ее засекают с воздуха. И полиция, обнаружив такую плантацию, расстреливает из пулемета фермера, его жену, их детей и даже животных. И уезжает, сопровождаемая сверху вертолетом.

Очаровательные голубые цветочки.

— Ты видишь цветок будущего,— сказал Дональд, директор-распорядитель «Нового пути».— Но он не для тебя.

— Почему не для меня? — спросил Брюс.

— Ты уже перебрал достаточно! — хохотнул директор-распорядитель.— Так что хватит поклоняться. Это уже не твой кумир, не твой идол.

Он решительно похлопал Брюса по плечу, а потом, наклонившись, закрыл рукой цветы от его прикованного взгляда.

— Исчезли,— сказал Брюс.— Весенние цветы исчезли.

Брюс видел только загораживающую свет ладонь Дональда и смотрел на нее целое тысячелетие.

— За работу, Брюс,— велел Дональд, директор-распорядитель.

— Я видел,— сказал Брюс. Он подумал: я видел, как растет препарат С. Я видел, как голубым покрывалом поднимается из земли, на коротких жестких стебельках, сама смерть.

Дональд Абрахамс и управляющий фермой переглянулись, а потом посмотрели на коленопреклоненную фигуру, на человека, опустившегося на колени перед Mors ontologica.

— За работу, Брюс,— сказал коленопреклоненный и поднялся на ноги.

Он наблюдал — не оборачиваясь, не в силах обернуться,— как Дональд и управляющий, переговариваясь между собой, сели в машину и уехали.

Брюс наклонился, вырвал один стебелек с голубым цветком и засунул его поглубже в правый ботинок, под стельку. Подарок для моих друзей, подумал он. И крошечным уголком мозга, куда никто не мог заглянуть, стал мечтать о Дне Благодарения.

От автора

Это роман о людях, которые были наказаны чрезмерно сурово за свои деяния. Они всего лишь хотели повеселиться, словно дети, играющие на проезжей части. Одного за другим их давило, калечило, убивало — на глазах у всех,— но они продолжали играть. Мы были очень счастливы — не работая, а просто валяя дурака,— но такое короткое время, такое кошмарно короткое время! А расплата оказалась невероятно жестокой; даже когда мы видели ее, то не могли поверить. Например, в процессе работы над романом человек, с которого я писал Джерри Фабина, покончил самоубийством. Мой друг, послуживший прототипом Эрни Лакмена, умер еще раньше. Какое-то время я сам был одним из этих детей, веселящихся на улице; подобно им, я пытался играть вместо того, чтобы расти,— и был наказан. Мое имя находится в конце книги, в списке тех, кому посвящается роман.

Злоупотребление наркотиками — не болезнь. Это решение, сходное с решением броситься под машину. Скорее даже это — ошибка в суждении. Если заблуждаются многие, это уже социальная ошибка, ошибка в образе жизни. Девиз этого образа жизни: «Лови момент! Будь счастлив сейчас, потому что завтра ты умрешь». Но умирание начинается немедленно, а счастье лишь остается в памяти. Этот образ жизни не отличается в корне от вашего. Просто счет в нем идет не на десятилетия, а на недели или месяцы. «Бери деньги, а долг пусть растет»,— говорил Вийон в 1460 году. Но так нельзя, если денег — грош, а расплачиваться всю жизнь.

Роман лишен назидания. Он не поучает, не говорит наставительно, что им следовало работать, а не играть; он всего лишь описывает последствия. В греческой драме открыли причинно-следственную связь. Немезида в этой книге — не судьба, потому что любой из нас мог принять решение уйти с проезжей части. Из глубины души я рассказываю о чудовищной Немезиде для тех, кто продолжал играть. Сам я — не персонаж; я — роман. Как, впрочем,

и все наше общество. Речь идет о гораздо большем числе людей, чем я знал лично. О некоторых мы читали в газетах. Все это — баклушничанье, шалопайство, болтовня с закадычными дружками под любимые записи, все это — ужасное решение шестидесятых. И нас постигла кара.

Кара, как я уже говорил, невероятно жестокая, и я предпочитаю думать о ней с безучастностью греческой драмы, по-научному, как о предопределенном следствии, неумолимо вызванном причиной.

Вот список тех, кому я посвящаю свою любовь:

Гейлин	*— нет в живых*
Рей	*— нет в живых*
Френси	*— тяжелый психоз*
Кэти	*— необратимые изменения головного мозга*
Джим	*— нет в живых*
Вел	*— обширные необратимые изменения головного мозга*
Ненси	*— тяжелый психоз*
Джоан	*— необратимые изменения головного мозга*
Мэрин	*— нет в живых*
Ник	*— нет в живых*
Терри	*— нет в живых*
Деннис	*— нет в живых*
Фил	*— необратимые изменения поджелудочной железы*
Сью	*— необратимые изменения сосудистой системы*
Джерри	*— тяжелый психоз и необратимые изменения сосудистой системы*

...и так далее.

Перевод с английского
В. БАКАНОВА

Александр ЗОРИН

В ОЖИДАНИИ ФЕЙ КЫМГАНСАНА

Ён Сук любила вышивать на шелке. И лучше всего ей удавался корейский тигр. На белоснежном, тончайшем полотне хищник обычно спускался с горы, поднимавшейся сразу же за домом девочки. Ён искусно подбирала яркие цвета нитей, и тигр выходил у нее то добрым, то свирепым. Узнав об этой любви, зверь захотел познакомиться с девочкой. Как-то вечером, когда Ён при свете тусклой лампы сидела за его очередным портретом, тигр спустился с горы и заглянул в окно ее комнаты.

Какова же была реакция девочки? Ответ на этот вопрос даст предстоящий в июле в Корейской Народно-Демократической Республике XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Пока можно предположить два варианта. Первый: девочка испугается, закроет лицо руками и закричит что есть силы, призывая на помощь старших, чтобы прогнать хищника. Второй: тоже испуг (хищник ведь), но любопытство одержит верх, Ён постарается получше рассмотреть тигра, а может быть, даже познакомиться с ним...

Политический, философский и религиозный состав участников Пхеньянского фестиваля настолько разнообразен, что о многих гостях этого форума корейская молодежь раньше не знала даже понаслышке, против некоторых имела стойкое предубеждение: выкормыши империализма. Сегодня хозяева фестиваля из Союза социалистической трудовой молодежи КНДР настроены оптимистично: они уже не опасаются того, что фестивальное движение — довольно разноликое — может отрицательно повлиять на систему воспитания корейской молодежи. Так, в культурную программу наряду с конкурсами политической песни, классической и современной музыки впервые войдет и фестиваль рок-музыки, и выставка произведений живописи самых различных направлений. Открыто будут работать и клубы национальных делегаций.

— Мы приложим все силы, чтобы обеспечить гостям Пхеньяна возможность свободного и интересного общения друг с другом, с корейскими юношами и девушками,— сказал нам секретарь ЦК ССТМ по международным вопросам.— Постараемся поближе познакомить участников с обычаями, жизнью корейского народа. Поможем побывать им в семьях корейцев. Все молодежные проблемы гости будут обсуждать в восьми тематических центрах фестиваля. Программу форума определяет Международный подготовительный комитет, а мы постараемся обеспечить максимум удобств для ее реализации.

Один дипломат в Пхеньяне рассказывал мне, что, работая там больше пятнадцати лет, он еще ни разу не был дома у корейца. Нам повезло больше: в ходе поездки мы «пробили» себе «поход в семью...» за три дня. Времена меняются. На фестиваль Корея пригласила к себе практически весь мир. Подготовительные комитеты форума действуют в более чем ста странах, ожидается участие около сорока международных и региональных организаций молодежи и студентов.

Картина рисуется отрадная. Но насколько она реалистична — покажет время. Во всяком случае, нынешней зимой во время подготовки фестиваля я видел своими глазами: наши корейские друзья кропотливо, тщательно и упорно готовятся к молодежной встрече. За два года они построили крупнейший в мире крытый стадион на 150 тыс. мест, красивейшие залы и гостиницы, выдающийся по архитектуре проспект Кванбок, который украсил бы любую столицу мира. Однако беседы с корейскими юношами и девушками убедили меня, что молодежь здесь пока ничтожно мало знает об окружающем ее мире, не имеет возможности читать иностранные книги, газеты, журналы. По телевидению здесь из «импорта» — наши старые героико-патриотические ленты. Приемники в стране почему-то работают только на средних волнах, да и то лишь в диапазонах вещания радиостанций КНДР. XIII Всемирный фестиваль если и не сломает эту стену, то уж наверняка проделает в ней много брешей, даст корейской молодежи возможность увидеть, чем и как живут ее сверстники на других континентах.

Корея ли откроет для себя мир, или мир откроет для себя Корею? Думаю, в любом случае это знакомство необходимо. И кое-какие шаги на этом пути уже сделаны. Впервые за последние двадцать лет в фестивале примет участие, пока, правда, в качестве наблюдателя, делегация Китая. Увенчалась успехом попытка Союза социалистической трудовой молодежи пригласить в гости молодежь из Южной Кореи.

КНДР готовится к фестивалю воистину с «корейским характером». Учитываются даже мельчайшие детали. Репетиции церемоний открытия и закрытия начались больше чем за год до начала форума. Еще зимой роскошные квартиры в домах на проспекте Кванбок, где разместятся участники и гости, сверкали чистотой паркета и свежими полотенцами. Вся страна (и это не преувеличение) работает на фестиваль: лучшие рабочие строят его объекты, лучшие режиссеры и хореографы разрабатывают его красочные действа. По оценкам самих корейцев, 260 фестивальных объектов обошлись стране в 4,7 миллиарда долларов. Хозяева говорят об этом с гордостью, а мне подумалось: как трехлетняя подготовка к фестивалю еще скажется на экономике КНДР, в общем-то не самой богатой страны мира?

Признаемся, что у Московского форума 1985 года такой отрицательный опыт уже был. XII Всемирный фестиваль в Москве при всей его политической важности потряс мир размахом, масштабами и... затратами. Нужны ли молодежи столь дорогостоящие мероприятия? Кто следующий захочет так же щедро тряхнуть мошной? Будем надеяться, что после Пхеньяна фестивальное движение свернет с пути организации официально-помпезных церемоний и будет действовать скромнее, но эффективнее. Слово — за Международным подготовительным комитетом форума.

Фестиваль вновь приходит на азиатский континент. Именно в то время, когда в мире утверждаются принципы нового политического мышления, перестраиваются межгосударственные отношения, прорисовываются очертания безъядерного и ненасильственного мира. Думаю, символично, что местом проведения молодежной встречи станет страна, долгие годы оставшаяся «белым пятном» на карте планеты. Мы были потрясены упорством и самоотверженностью, с которыми молодежь КНДР возводит фестивальные объекты, и чувствовали, с какой надеждой и верой они ждут предстоящий форум.

Когда в день открытия фестиваля в 150-тысячной чаше стадиона соберутся участники и гости праздника, над полем появится радуга, поделились секретом организаторы церемонии, и по ней на землю спустятся восемь фей Кымгансана — Алмазных гор на севере республики. Предание гласит, что эти волшебницы владеют цветами счастья, но пока еще ни разу не покидали свои владения. Над стадионом же они разбросают тысячи цветов. Будем надеяться, что они достанутся и гостям, и хозяевам.

Вадим ШЕФНЕР

Заклинание

Жизнь в предстоящее устремлена,
В ложных не верь богов,
Выплюнь из памяти имена
Личных былых врагов.
Делай лишь то, что совесть велит,
Строго собою правь,—
И от чесотки мелких обид
Душу свою избавь.
Выброс из сердца сомнений хлам,
Верь, что счастье — с тобой,
Радуйся дням, отпущенным нам
Вечностью и судьбой.

Продолжение судьбы

Я с каждым годом сам себе родней,
Но годы в даль безудержно стремятся,—
И знаю я, что мне на склоне дней
С самим собой придется распрощаться.

Отхлынет явь, и отоснятся сны,
Весь мир мой будет у меня похищен,—
И составною частью тишины
Я стану на окраинном кладбище.

Но тысячи и тысячи живых,
Как прежде, будут мыслить и трудиться;
В невзгодах чьих-то, в радостях чужих
Судьба моя продлится, обновится.

Тревоги и надежды стариков
Из века в век наследует планета,—
И миллионы наших двойников,
Не зная нас, живут на свете этом.

Страх

Страх загадочно-многолик,
Он проник во многие души...
Совещаться я с ним привык
В море, в воздухе и на суше.

Но вчера мне приснился сон,
Будто мой советчик — в опале,
Будто будет он отменен,
Исключен из земных реалий.

Я проснулся, мокрый от слез,
Трепеща, как пленная птаха,—
Так меня испугал прогноз,
Что на свете не станет страха.

Ах, пропасть без него зазря,
Кануть в пропасть придется многим,—
Как слепцам без поводыря
На петлистой горной дороге.

И предвижу я много бед,
Много-много горького плача,
Если все, в ком совести нет,
Потеряют и страх в придачу.

Вечная стройка

Мы — люди всех племен и поколений
В извечном споре о добре и зле
Из кирпичей ошибок и сомнений
Храм Истины возводим на Земле.

Нам не покинуть этой стройплощадки,
Вовеки не достроить этот храм —
Из года в год все новые загадки
Хитрюга жизнь подбрасывает нам.

И пусть в минувшем сделано немало,
Но длится, длится вечная страда —
И в мире не иссякнет никогда
Запас строительного материала.

г. Ленинград

Александр ЮДАХИН

☆☆☆

Тебя, стальная критикесса,
и отставная поэтесса,
за словоблудье угостят,
но Бог и люди не простят.
Гляди, мотая злой башкою,
идя походкою мужскою
на службу или в общепит,
как под тобой земля горит.
Пока не изменила память,
подумай, прежде чем ударить,
в кругу поэтов молодых
ногой лежачего под дых.

☆☆☆

Столовский пугало, изгой,
забывший сельскую осину,
пропивший клюевскую силу,
ты не способен на разбой
и потому кончай стращать,
вращать кровавыми белками
и, поминая чью-то мать,
стучать по стойке кулаками,
кончай позорить свой народ
и бормотать в горячке белой,
что Соколов не патриот,
а просто рифмоплет умелый!
Ты с человеком незнаком,
двойное горе пережившим,
единственно живым стихом
лауреатство заслужившим.
По мне, Владимир Соколов,
хотя не жнет и дров не рубит,
без суеты и лишних слов
сильней вас всех Россию любит!

Саша Маркус *

В македонском сюртуке дорожном
он сидел Бамбулой осторожным,
все боялся хрупкий стул сломать,
пил компот, хотя хотел поддать.

* Саша Маркус — известный македонский переводчик, театральный деятель СФРЮ.

«Не пускала жинка в город Тетов,
а приехал»... Силясь прикурить,
прохрипел, что на две тыщи метров
водиялся со мной поговорить.
Переживший три инфаркта с ходу,
лил смущенно валерьянку в воду,
хлопал в такт танцорам, подпевал —
в общем, от других не отставал.
Протокольно спорили, курили,
плавали в бассейне, как в реке...
Так мы с ним и не поговорили
по душам на нашем языке.
Я его спросил перед отлетом:
— Ну, давай поговорим сейчас...—
Он сказал: «Не стоит по субботам
объясняться... В следующий раз...»
Под крылом страна друзей осталась.
Мы неслись домой сквозь облака.
А за нами телеграмма мчалась:
«Саша Маркус умер. ТЧК.»

Болезнь сына

Стало светлей. Загалдели грачи.
— Кризис прошел,— объяснили врачи.—
Можешь идти, не печалься!
Вышел я в город, бесплотен, как тень:
«Господи, сколько здоровых детей!
Сколько на улице счастья!»

Олег ХЛЕБНИКОВ

☆☆☆

В. П. Астафьеву

Меня греет
куплennый еще родителями тулуп —
мне уютно в нем, как в дому родном.
Для мангрела
каждый угол — клуб,
каждый стол под платаном, каждый зонт под дождем.

А еще у грузина, даже если живет в Москве,
и Россия есть, и Родина есть,
есть гора и долина,
седина на виске,
что мужчине тоже делает честь.

Мои русые волосы
не хотят седеть,
а залысины вовсе не красят мужчин.
Наши средние полосы
в самом деле стали редеть...
Но в несчастьях моих ни один не повинен грузин.

Часы

Колеса зубьями за зубья
цепляются,
и потому,
ценяясь судьбами за судьбы,
идем по кругу своему.
Совсем не сложная наука —
отсчитывать за часом час...
Ах, птица-тройка! — Лебедь, Щука
и Рак — куда летишь сейчас?

☆☆☆

Дурыкино, Дубинино, Кресты...
Я ехал от Москвы к Солнечногорску.
И вспомнил я Некрасова, как ты,
читатель проницательный
и в доску
не свой. И ехал я поговорить
о прихотях твоих и о предмете ином.
Мой слог мог благозвучней быть,
когда б — о боже! — не названья эти.

☆☆☆

...приезжали на Казанский,
на вокзал большой.
«Не любовь, а наказанье...»
кто-то пел с душой.

Где теперь он, этот кто-то?
Где теперь душа?..
А вокзал Казанский — вот он,
башня хороша.

Рефлексия

Закинешь сети — вытянешь подлодку;
в любви признаешься — плати десятку,
не то опять отключат телефон.
Семидесятилетнюю молодку
за пьянку, проституцию и взятку
навек условно осудил закон.

Зато какие подросли ребята!
Им никакая не страшна работа,
все, что угодно, могут потушить.
Период полного полураспада
так долог, что здоровая зевота
трубу любую может заглушить.

☆☆☆

Навыками дамскими вполне
овладели и провинциалки,
и провинцилюдки. На волне
удержались в штормовой болтанке.
Не смутились, что в штанах нельзя
в кущи райсовета, райсобеса.
Истончаясь, пролегла стезя
Равенства, Свободы и Прогресса,
как по шпалам, по ресницам их,
оставляя черные потеки.
А невольный вольнодумный вихрь
юбки взбаламутил...
Век жестокий
не сумел покуда совладать
с женской тягой к красоте, которой
этот мир приходится спасать
после глада каждого и мора.

Ближние

Как будто умерли. Как будто
вас вовсе нет —
раз возле нет.
Ваш облик различаю смутно
сквозь тонкий лед холодных лет.

И все же несколько свиданий
на полпути из света в тень
в одном из лучших мироздданий
нам предстоит. И лишь затем —

лети, лети, души частица,
элементарная почти,
туда, где вновь тебе приснится,
что можно, возвратясь, найти

оставленное мигом раньше.
Лети, как в детстве с горок, с крыш,
как в юности в любовном раже,—
со страхом и восторгом даже —
как между строчками летишь.

Вл. СОЛОВЬЕВ

СУДЬБА ПУШКИНА

На снимке: Владимир Соловьев. Фотография 70-х годов XIX в.

I

Есть предметы, о которых можно иметь неверное или недостаточное понятие — без прямого ущерба для жизни. Интерес истины относительно этих предметов есть только умственный, научно-теоретический, хотя сами они могут иметь большое реальное и практическое значение. <...>

Но есть предметы, порядка духовного, которых жизненное значение для нас прямо определяется, кроме их собственных реальных свойств, еще и тем *понятием*, которое мы о них имеем. Одного из таких предметов касается настоящий очерк. <...>

Есть нечто, называемое *судьбой*,— предмет хотя не материальный, но тем не менее вполне действительный. Я разумею пока под судьбою тот *факт*, что ход и исход нашей жизни зависят от чего-то кроме нас самих, от какой-то превозмогающей *необходимости*, которой мы волей-неволей должны подчиниться. <...>

II

В житейских разговорах и в текущей литературе слово *судьба* сопровождается обыкновенно эпитетами более или менее порицательными: «враждебная» судьба, «слепая», «беспощадная», «жестокая» и т. д. Менее резко, но все-таки с некоторым неодобрением говорят о «насмешках» и об «иронии» судьбы. Все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от какой-то силы, иногда равнодушной или безразличной, а иногда и прямо неприязненной и злобной. В первом случае понятие судьбы сливается с ходячим понятием о *природе*, для которой равнодушие служит обычным эпитетом:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И *равнодушная* природа
Красою вечною сиять [1].

Когда в понятии судьбы подчеркивается это свойство — равнодушие, то под судьбою разумеется собственно не более, как закон физического мира.

Во втором случае,— когда говорится о судьбе как враждебной силе,— понятие судьбы сближается с понятием демонического, адского начала в мире, представляется ли оно в виде злого духа религиозных систем, или в виде безумной мировой воли, как у Шопенгауэра.

Конечно, есть в действительности и то, и другое; есть и закон равнодушной природы, есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и нам приходится иметь дело и с тем, и с другим.

Но от этих ли сил мы зависим *окончательно*, они ли определяют общий ход нашей жизни и решают ее исход,— они ли образуют нашу судьбу?

Сила, господствующая в жизни лиц и управляющая ходом событий, конечно, действует с равною необходимостью везде и всегда; все мы одинаково подчинены судьбе. Но есть люди и события, на которых действие судьбы особенно явно *ощутительно; их прямо называют роковыми*, или фатальными, и, конечно, на них нам всего легче рассмотреть настоящую сущность этой превозмогающей силы. <...>

Острее всего такое впечатление производила смерть Пушкина. Я не помню времени, когда бы культ его поэзии был мне чуждым. Не умея читать, я уже много знал из него наизусть, и с годами этот культ только возрастал. Немудрено поэтому, что роковая смерть Пушкина, в расцвете его творческих сил, казалась мне вопиющею неправдою, нестерпимою обидою, и что действовавший здесь рок не вязался здесь с представлением о доброй силе.

Между тем, постоянно возвращаясь мыслею к этому мучительному предмету, останавливаясь на давно известных фактах, узнавая новые подробности, благодаря обнародованным после 1880 и особенно после 1887 года документам, я должен был, наконец, прийти к печальному утешению:

Жизнь его не враг отъял,—
Он *своею* силой пал,
Жертва гибельного гнева,—

своею силой или, лучше сказать, своим *отказом* от той нравственной силы, которая была ему доступна и пользование которою было ему всячески облегчено.

[1] См. примечания в конце статьи.

Ни эстетический культ Пушкинской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в образе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаем ту истину, что он сообразно своей собственной воле окончил свое земное поприще. Ведь противоположный взгляд был бы унизителен для самого Пушкина. Разве не унизительно для великого гения быть пустою игрушкой чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого гения и у его поклонников не находится достаточно презрительных выражений.

Главная ошибка здесь в том, что гений принимается только за какое-то чудо природы и забывается, что дело идет о гениальном *человеке*. Он по природе своей выше обыкновенных людей,— это бесспорно,— но ведь и обыкновенные люди также по природе выше других существ, например животных, и если эта *сравнительная* высота *обязывает* всякого обыкновенного человека соблюдать свое человеческое достоинство и тем оправдывать свое природное преимущество перед животными, то высший дар гения *тем более* обязывает к охранению этого высшего, если хотите — сверхчеловеческого, достоинства. Но не настаивая слишком на этой градации, которая осложняется обстоятельствами другого рода, во всяком случае, должно сказать, что гениальный человек обязан по крайней мере к сохранению известной, хотя бы наименьшей, минималькой, степени нравственного человеческого достоинства, подобно тому, как от самого обыкновенного человека мы требуем по крайней мере тех добродетелей, к которым способны и животные, как, например, родительская любовь, благодарность, верность.

Утверждать, что гениальность совсем ни к чему не обязывает, что гению все позволено, что он может без вреда для своего высшего призвания всю жизнь оставаться в болоте низменных страстей, это — грубое идолопоклонство, фетишизм, который ничего не объясняет, и сам объясняется лишь духовною немощью своих проповедников. Нет! Если гений есть благородство по преимуществу, или высшая степень благородства, то он по преимуществу и в высшей степени обязывает. С точки зрения этой нравственной аксиомы взглянем на жизнь и судьбу Пушкина.

III

Менее всего ждал бы я, чтобы этот мой взгляд был понят в смысле прописной морали, обвиняющей поэта за его нравственную распущенность и готовой утверждать, что он погиб в наказание за свои грехи против «добродетели», в тесном значении этого слова. <...>

Высшее прояление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного *преодоления* могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты.

Естественные условия для такого торжества были у Пушкина. С необузданною чувственною натурой у него соединялся ясный и прямой ум. Пушкин вовсе не был мыслителем в области умозрения, как не был и практическим мудрецом; но здравым пониманием насущных нравственных истин, смыслом правды он обладал в высокой степени. Ум его был уравновешенный, чуждый всяких болезненных уклонений. Среди самой пламенной страсти он мог сохранять ясность и отчетливость сознания, и если его можно в чем упрекнуть с этой стороны, то разве только в излишней трезвости и прямолинейности взгляда, в отсутствии всякого практического и житейского *идеализма*. Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, *гениальным перерождением жизни в поэзию*, а для самой текущей жизни, для житейской практики оставалась только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом.

Такое раздвоение между поэзией, т. е. жизнью, творчески просветленною, и жизнью действительною или практическою, иногда бывает поразительно у Пушкина. <...>

Одно из лучших и самых популярных стихотворений нашего поэта говорит о женщине, которая в «чудное мгновенье» первого знакомства поразила его «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»; затем время разлуки с нею было для него томительным рядом пустых и темных дней, и лишь с новым свиданием воскресли для души «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». <...> В одном интимном письме, писанном приблизительно в то же время, как и стихотворение, Пушкин откровенно говорит об этой самой даме, но тут уже вместо гения чистой красоты, пробуждающего душу и воскрешающего в ней божество, является «наша вавилонская блудница, Анка Петровна» [2]. <...>

Знакомая поэта, конечно, не была ни гением чистой красоты, ни вавилонскою блудницею, а была «просто приятною дамою» или даже, может быть, «дамою приятною во всех отношениях». Но замечательно, что в преувеличенном ее порицании у Пушкина не слышится никакой горечи разочарования, которая говорила бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлечения,— откровенный отзыв высказан в тоне веселого балагурства, в полном контрасте с тоном стихотворения. <...>

IV

Если не признавать вдохновения, как самостоятельного источника поэзии, то, сопоставляя стихотворение «Я помню чудное мгновенье» с прозаическим отзывом Пушкина, можно сделать только одно заключение, что стихи просто выдуманы, что их автор никогда не видел того образа и никогда не испытал тех чувств, которые там выражены. Но, отрицая поэтическое вдохновение, лучше вовсе не говорить о поэтах. А для признающих вдохновение и чувствующих его силу в этом произведении должно быть ясно, что в *минуту творчества* Пушкин действительно испытал то, что сказал в этих стихах; действительно чувствовал возрождение в себе божества. Но эта идеальная действительность существовала для него только в минуту творчества. Возвращаясь к жизни, он сейчас же перестал верить в пережитое озарение, сейчас же признал в нем только обман воображения — «нас возвышающий обман», но все-таки обман и ничего более. Те видения и чувства, которые возникают в нем, по поводу известных лиц и событий, и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он не тяготился такой бессвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзией и житейской практикой. <...>

Все возможные исходы из противоречия между поэтическим идеалом и житейскою действительностью остались одинаково чуждыми Пушкину. Он не был, к счастью, ни мизантропом, ни Дон-Кихотом и, к несчастью, не умел или не хотел стать практическим идеалистом, деятельным служителем добра и исправителем действительности. Он с полною ясностью отмечал противоречие, но как-то легко с ним мирился: указывая на него, как на факт, и прекрасно его характеризуя (например, в стихотворении «Пока не требует поэта»), он даже не подозревал — до своих последних, зрелых лет,— что в этом факте есть задача, требующая решения. Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорблял нравственного слуха, который, очевидно, был менее чутким, нежели слух поэтический.

Отношения к женщинам занимают очень большое место и в жизни, и в поэзии Пушкина; и хотя не во всех случаях эти отношения давали ему повод к апокалиптическим употреблениям, но везде выступает непримиренная двойственность между идеалом творчества и крайним реализмом житейских взглядов. <...>

V

В Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные и не связанные между собою существа: вдохновенный жрец Аполлона [7] и ничтожнейший из ничтожных детей мира. Высшее существо выступило в нем не сразу, его поэтический гений обнаруживался постепенно. В ранних его произведениях мы видим игру остроумия и формального стихотворческого дарования, легкие отражения житейских и литературных впечатлений. Сам он характеризует такое творчество, как «ничтожные звуки безумства, лени и страстей». Но в легкомысленном юноше быстро вырастал великий поэт, и скоро он стал теснить «ничтожное дитя мира». Под тридцать лет решительно обозначается у Пушкина «смутное влечение чего-то жаждущей души».— Неудовлетворенность игрою темных страстей и ее светлыми отражениями в легких образах и нежных звуках. «Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль». Он понял, что «служенье муз не терпит суеты», что «прекрасное должно быть величаво», т. е. что красота, прежде чем быть приятною, должна быть достойною, что *красота есть только ощутительная форма добра* и *истины*.

Если бы Пушкин жил в средние века, то, достигнув этого понимания, он мог бы пойти в монастырь, чтобы связать свое художническое призвание с прямым культом того, что абсолютно достойно. Ему легко было бы удалиться от мира,

в исправление и перерождение которого он, как мы знаем, не верил. В тех условиях, в которых находился русский поэт XIX века, удобнее и безопаснее было избрать другой род аскетизма: он женился и стал отцом семейства. С этим благополучно прошел для него период необузданных чувственных увлечений, которые могли бы задавить неокрепший творческий дар, вместо того, чтобы питать его. *Это* искушение оказалось недостаточно сильным, чтобы одолеть его гений, он сумел вовремя положить предел безмерности своих низших инстинктов, ввести в русло свою материальную жизнь. «Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль».

Но, становясь отцом семейства, Пушкин по необходимости теснее прежнего связывал себя с жизнью социальною, с тою общественною средою, к которой принадлежал, и тут его ждало новое, более тонкое и опасное искушение.

Достигнув зрелого возраста, Пушкин ясно сознал, что задача его жизни есть то служение, «которое не терпит суеты», служение тому прекрасному, которое «должно быть величавым». Так как он оставался в обществе, то его служение красоте неизбежно принимало характер *общественного* служения, и ему нужно было установить свое *должное* отношение к обществу.

Но тут Пушкин, вообще слишком даже разделивший поэзию с житейскими отношениями, не захотел отделить законное сознание о своем высшем поэтическом призвании и о том внутреннем преимуществе перед другими, которое давал ему его гений,— не захотел он отделить это законное чувство своего достоинства, как великого поэта, от личной мелкой страсти самолюбия и самомнения. Если своим гением Пушкин стоял выше других и был прав, сознавая эту высоту, то в своем самолюбивом раздражении на других он падал со своей высоты, становился против других, то есть на одну доску с ними, а чрез это терял и всякое оправдание для своего раздражения,— оно оказывалось уже только дурною страстью вражды и злобы.

VI

Самолюбие и самомнение есть свойство всех людей, и полное его истребление не только невозможно, но, пожалуй, нежелательно. Этим отнимался бы важный возбудитель человеческой деятельности; это было бы опасно, пока человечество должно жить и действовать на земле. <...>

Хотя для Пушкина <...> идеал совершенства предполагал полное умерщвление самолюбия и самомнения.

«Хвалу и клевету приемли равнодушно» [3],— но требовать или ждать от него действительного осуществления такого идеала было бы, конечно, несправедливо. Оставшись в миру, он отказался от практики сверхмирского совершенства, и было бы даже жалко, если бы поэт светлой жизни погнался за совершенством покойников.

Но можно и должно было требовать и ожидать от Пушкина того, что по праву ожидается и требуется нами от всякого разумного человека во имя человеческого достоинства,— можно и должно было ждать и требовать от него, чтобы, оставаясь при своем самолюбии и даже давая ему, при случае, то или другое выражение, он не придавал ему *существенного* значения, не принимал его, как мотив важных решений и поступков, чтобы о страсти самолюбия он всегда мог сказать, как и о всякой другой страсти: я имею ее, а не она меня имеет. К этому по крайней мере обязывал Пушкина его гений, его служение величавой красоте, обязывали, наконец, его собственные слова, когда, с укором обращаясь к своему герою, он говорит, что тот

Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом [4].

Этой, наименьшей, обязанности Пушкин не исполнил.

VII

Допустив над своею душою *власть* самолюбия, Пушкин старался оправдать ее чувством своего высшего призвания. Это фальшивое оправдание недостойной страсти неизбежно ставило его в неправильное отношение к обществу, вызывало и поддерживало в нем презрение к другим, затем отчуждение от них, наконец, вражду и злобу против них.

Уже в сонете «Поэту» высота самосознания смешивается с высокомерием, и требование бесстрастия — с обиженным и обидным выражением отчуждения.

Ты — царь, живи один!

(...) Но ведь одиночество царей состоит не в том, что они живут одни,— чего собственно и не бывает,— а в том, что они среди других имеют единственное положение. Это есть одиночество горных вершин.

Монблан — монарх соседних гор:
Они его венчали.
(«Манфред» Байрона)

(...) Не подобало высокомерие и солнцу нашей поэзии. К *иным* чувствам и взглядам призывало его не только сознание своей гениальности, но и сознание религиозное, которое с наступлением зрелого возраста пробудилось и выяснилось в нем. Прежде его неверие было более легкомыслием, чем убеждением, и оно прошло вместе с другими легкомысленными увлечениями. То, что он говорит про Байрона, еще более применяется к нему самому: «скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной».

В сознании своего гения и в христианской вере поэт имел двойную опору, слишком достаточную, чтобы держаться в жизни на известной высоте, недосягаемой для мелкой вражды, клеветы и сплетни,— на высоте одинаково далекой от нехристианского презрения к ближним и от недостойного уподобления толпе. Но мы видим, что Пушкин постоянно колебался между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него, выражающимся в язвительных личных выходках и эпиграммах. В его отношении к неприязненным лицам не было ничего гениального, ни христианского, и здесь — настоящий ключ к пониманию катастрофы 1837 года.

VIII

По мнению самого Пушкина, повторяемому большинством критиков и историков литературы, «свет» был к нему враждебен и преследовал его. Та *«злая судьба»*, от которой будто бы погиб поэт, воплощается здесь в «обществе», «свете», «толпе»,— вообще в той пресловутой *среде*, роковое предназначение которой только в том, кажется, и состоит, чтобы «заедать» людей.

При всей своей распространенности, это мнение, если его разобрать, оказывается до крайности несостоятельным. Над Пушкиным все еще тяготеет критика Писарева, только без ясности и последовательности этого замечательного писателя. Люди, казалось бы, прямо противоположного ему направления и относящиеся к нему и ко всему движению шестидесятых годов с «убийственным» пренебрежением, на самом деле применяют к своему кумиру — Пушкину — прием Писаревской критики, только с другого конца и гораздо более нелепым образом. Писарев отрицал Пушкина потому, что тот не был социальным и политическим реформатором. Требование было неосновательно, но факт был совершенно верен: Пушкин, действительно, не был таким реформатором. Теперешние обожатели Пушкина, не покидая дурного критического метода — *произвольных* требований и *случайных* критериев, рассуждают так: Пушкин — великий человек, а так как *наш критерий* истинного величия дан в философии Ницше и требует от великого человека быть учителем жизнерадостной мудрости язычества и провозвестником нового или обновленного культа героев, то Пушкин и был таким учителем мудрости и таким провозвестником нового культа, за что и пострадал от косной и низменной толпы. Хотя требования здесь и другие, чем у Писарева, но дурная манера предъявлять великому поэту свои личные или партийные требования, в существе, та же самая. (...)

К фальшивой оценке Пушкина, как учителя древней мудрости и пророка новой или обновленной античной красоты, привязывается (довольно искусственно и нескладно) давнишний взгляд на его гибель, как роковое следствие его столкновения с враждебною общественною средой. Но общественная среда враждует обыкновенно с теми людьми, которые хотят ее исправлять и перерождать. У Пушкина такого желания не было; он решительно отклонял от себя всякую преобразовательную задачу, которая, действительно, вовсе не шла бы к нему. (...)

Вообще, столкновение лица с обществом должно быть слишком принципиально глубоким, чтобы делать кровавую развязку безусловно необходимою, объективно неизбежною. <...>

Пушкина будто бы не признавали и преследовали! Но *что же* собственно не признавалось в нем, что было предметом вражды и гонений? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемирной литературе найдется другой пример великого писателя, который так рано, как Пушкин, стал общепризнанным и популярным в своей стране. А говорить о гонениях, которым будто бы подвергался наш поэт, можно только для красоты слога.

Если несколько лет невольного, но привольного житья в Кишиневе, Одессе и собственном Михайловском — есть гонение и бедствие, то как же мы назовем бессрочное изгнание Данте из родины, тюрьму Камоэнса [5], объявленное сумасшествие Тасса [6], нищету Шиллера, остракизм Байрона, каторгу Достоевского и т. д.? Единственное бедствие, от которого серьезно страдал Пушкин, была тогдашняя цензура; но, во-первых, этот «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» и, следовательно, для великих писателей менее страшен, чем для прочих. Внешние условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Во всяком случае, можно быть уверенным, что в тогдашней Англии ему за его ранние «вольности» досталось бы от общества гораздо больше, чем в России от правительства, как это ясно на примере Байрона. Когда говорят о вражде светской и литературной среды к Пушкину, забывают о его многочисленных и верных друзьях в этой самой среде. Но почему же «свет» более представлялся тогда Уваровым[7] или Бенкендорфом, чем Карамзиными, Вельгурскими [8], Вяземскими и т. д.? И кто были представители русской литературы: Жуковский, Гоголь, Баратынский, Плетнев или же Булгарин? Едва ли был в России писатель, окруженный таким блестящим и плотным кругом людей понимающих и сочувствующих.

IX

Как поэт, Пушкин мог быть вполне доволен своим общественным положением: он был всероссийскою знаменитостью еще при жизни. Конечно, между его современниками в России были и такие, которые отрицали его художественное значение или недостаточно его понимали. Но это вообще люди эстетически до него не доросшие, что было так же неизбежно, как и то, что люди совсем неграмотные не читали его сочинений. Обижаться и негодовать в одном случае было бы так же странно, как и в другом. И на самом деле, Пушкин обижался и негодовал на общество не за это, не за эстетическую тупость людей мало образованных, а за холодность и неприязненность к нему многих лиц и тех двух кругов, к которым он принадлежал, светского и литературного. Но эта неприязненность, доходившая иногда до прямой враждебности, относилась, главным образом, не к поэту, не к жрецу Аполлона, а лишь к тому, кто иногда, по собственному признанию, между детей ничтожных мира бывал, может быть, всех ничтожнее. В общественной среде Пушкина были, конечно, как и во всякой другой среде, злостные глупцы и негодяи, для которых превосходство ума и дарования нестерпимо само по себе. Вражда этих людей, возбуждаемая силою Пушкина, могла, однако, держаться и действовать только через его слабости. Он сам давал ей пищу и толкал в лагерь своих врагов таких людей, которые не были злостными глупцами и негодяями.

Главная беда Пушкина были его эпиграммы. Между ними есть, правда, высшие образцы этого невысокого, хотя законного рода словесности, есть настоящие золотые блестки добродушной игривости и веселого остроумия; но многие другие ниже поэтического достоинства Пушкина, а некоторые ниже человеческого достоинства вообще, и столько же постыдны для автора, сколько оскорбительны для его сюжетов. Когда, например, почтенный ученый, оставивший заметный след в истории своей науки и ничего худого не сделавший, характеризуется так.

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем
И дневного пропитанья
Ежемесячным враньем,—[9]

то едва ли самый пламенный поклонник Пушкина увидит здесь ту «священную жертву», к которой «требует поэта Аполлон». Ясно, что тут приносится в жертву только личное достоинство человека, что требовал этой жертвы не Музагет, а демон гнева, и что нельзя было ожидать, чтобы жертва чувствовала при этом благоговение к своему словесному палачу. (...)

X

Дурное дело обиды, для которого Пушкин злоупотреблял своим талантом и унижал свой гений, было так естественно и потому легко для его врагов. Они были тут в своей сфере, исполняли свою роль; для них не было падения,— падение было только для Пушкина. На низменной почве личной злобы и вражды все выгоды были на *их* стороне, их победа была здесь необходима. Но разве необходимо было Пушкину оставаться до конца на этой несвойственной, мучительной и невыгодной почве, на которой всякий шаг был для него падением? Враги Пушкина не имеют оправданья; но тем более его вина в том, что он опустился до их уровня, стал открытым для их низменных замыслов. Глухая борьба тянулась два года, и сколько было за это время моментов, когда он мог одним решением воли разорвать всю эту паутину, поднявшись на ту *доступную* ему высоту, где неуязвимость гения сливалась с незлобием христианина.

Нет такого житейского положения, хотя бы возникшего по нашей собственной вине, из которого нельзя было при доброй воле выйти достойным образом. Светлый ум Пушкина хорошо понимал, чего от него требовали его высшее призвание и христианские убеждения; он знал, что должен делать, но он все более и более отдавался страсти оскорбленного самолюбия с ее ложным стыдом и злобною мстительностью.

Потерявши внутреннее самообладание, он мог еще быть спасен постороннею помощью. После первой несостоявшейся дуэли с Геккерном[10] император Николай Павлович взял с него слово, что в случае нового столкновения он предупредит государя. Пушкин дал слово, но не исполнил его. Ошибочно уверившись, что непристойное анонимное письмо писано тем же Геккерном, он послал ему (через отца) свой второй вызов в таком изысканно-оскорбительном письме, которое делало кровавый исход неизбежным. Между тем, при крайней степени своего раздражения, Пушкин не дошел все-таки до того состояния, в котором прекращается вменяемость, и в котором данное им слово могло быть просто забыто. После дуэли у него было найдено письмо к графу Бенкендорфу с изложением его нового столкновения, очевидно,для передачи государю. Он написал это письмо, но не захотел отправлять его. Он думал, что чей-то пошлый и грязный анонимный пасквиль может уронить его честь, а им самим сознательно нарушаемое слово — не может. Если он был тут «невольником», то не «невольником чести», как называл его Лермонтов, а только невольником той страсти гнева и мщения, которой он весь отдался.

Не говоря уже об истинной чести, требующей только соблюдения внутреннего нравственного достоинства, недоступного ни для какого внешнего посягательства,— даже принимая часть в условном значении согласно светским понятиям и обычаям, анонимный пасквиль ничьей чести вредить не мог, кроме чести писавшего его. Если бы ошибочное предположение было верно, и автором письма был действительно Геккерн, то он тем самым лишал себя права быть вызванным на дуэль, как человек, поставивший себя своим поступком вне законов чести; а если писал не он, то для вторичного вызова не было никакого основания. Следовательно, эта несчастная дуэль произошла не в виду какой-нибудь внешней для Пушкина необходимости, а единственно потому, что он решил покончить с ненавистным врагом.

XI

Последний взрыв злой страсти, окончательно подорвавший физическое существование поэта, оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения. Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в ней действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми.

«Особенно замечательно то,— пишет Жуковский,— что в эти последние часы жизни он как будто сделался *иной:* буря, которая за несколько часов волновала его душу *неодолимою* страстью, исчезла, не оставив в ней следа; ни слова, ни воспоминания о случившемся». Но это не было потерею памяти, а внутренним повышением и очищением нравственного сознания и его действительным освобождением из плена страсти. Когда его товарищ и секундант Данзас[11],— рас-

сказывает кн. Вяземский,— желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна.— «Требую,— отвечал он,— чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином».

Описывая первые минуты после смерти, Жуковский пишет: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что на нем в эту первую минуту смерти... Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было также и выражение поэтическое. Нет! Какая-то важная, удивительная мысль на нем разлилась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он ответил мне, если бы мог на минуту воскреснуть?»

Хотя нельзя угадать, какие слова сказал бы своему другу возродившийся через смерть великий поэт, но можно *наверное* отвечать за то, чего бы он *не* сказал. Он не сказал бы того, что доселе твердят его неразумные поклонники, делающие из великого человека своего маленького идола. Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы, не сказал бы, что его смерть была бессмыслениою и бесцельною, не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов; в его словах не было бы укора, ропота и негодования. И эта несомненная уверенность, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что она прямо дается простым фактическим описанием его последних часов,— эта уверенность есть последнее благодеяние, за которое мы должны быть признательными великому человеку. Окончательное торжество духа в нем и его примирение с Богом и с миром примиряют нас с его смертью: эта смерть *не* была безвременною.

Как? — скажут,— а те дивные художественные создания, которые он еще носил в своей душе и не успел дать нам, а те сокровища мысли и творчества, которыми бы он мог обогатить нашу словесность в свои зрелые и старческие годы?

Какой внешний, механический взгляд! Никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог обогатить нашу словесность.

XII

(...) Мы не создаем Пушкина по своему образу и подобию, а берем действительного Пушкина с его действительным характером и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него к этому времени. Уже в шестой главе «Евгения Онегина» есть ясное указание на то, как далеко был бы поэт от безразличия, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистного и презренного врага:

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага и т. д.
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

Так говорил еще не перегоревший в юных страстях автор «Евгения Онегина»; что бы сказал возмужалый автор «Пророка» и «Отцы пустынники и жены непорочны»? Добровольно отдавшись злой буре, которая его увлекала, Пушкин *мог* и *хотел* убить человека, но с действительною смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно, и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в зрелые годы, тот согласится, что конец этой добровольной с его стороны, им вызванной, дуэли — смертью противника — был бы для Пушкина во всяком случае жизненною катастрофою. Не мог бы он с такою тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для «звуков сладких и молитв»; не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить *священную жертву светом* божеству поэзии; для нарушителя нравственного закона, нельзя уже было чувствовать себя *царем* над толпою, и для невольника страсти — свободным *пророческим глаголом* жечь сердца людей. При той высоте духа, которая ему была доступна, и которую так ясно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает. (...)

Все многообразные пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в сущности сводятся к двум: или путь внутреннего перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй,— и неужели мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой смерти, и что духовное очищение могло совершиться в три дня?

Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы должны по совести признать, во-первых, *доброю*, потому что она вела человека к наилучшей цели — к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его благу; а во-вторых, мы должны признать ее *разумною*, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в *данном положении*, т. е. наилучшим способом. Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять человеческой жизнью без участия собственной воли человека, а при данном состоянии воли этого человека то, что с ним произошло, должно было произойти и есть самое лучшее из того, что вообще могло бы с ним произойти, т. е. *кажется* возможным...<...>

Примечания

Статья В. С. Соловьева «Судьба Пушкина» была написана в 1897 году. В ней автор рассматривает судьбу поэта в контексте своей нравственной философии, которая представлена такими фундаментальными трудами, как «Оправдание добра», «Смысл любви» и др. Не касаясь литературоведческого, местами спорного, взгляда философа на Пушкина, художника и человека, хочется обратить внимание читателя на его безусловное следование правилу: судить художника по законам, им же для себя установленным. В данном случае — нравственным законам. Следует подчеркнуть, что основная идея философа — всеединство — определяет русло его рассуждений о судьбе «поэта-богочеловека», направляя в него два потока идеального и материального мира, как «живую» и «мертвую» воду.

Статья В. С. Соловьева «Судьба Пушкина» печатается с сокращениями.

1. Из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».
2. Речь идет о Керн Анне Петровне (1800—1879).
3. Из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
4. А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава шестая.
5. Камоэнс (1524 или 1525—1580), португальский поэт.
6. Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт.
7. Уваров Сергей Семенович (1786—1855), министр народного просвещения, президент Академии наук, председатель Главного управления цензуры.
8. Вильгорский Матвей Юрьевич, граф (1794—1866), гос. деятель, композитор-дилетант, меценат.
9. Эпиграмма на М. Т. Каченовского. Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), русский историк, литературный критик, издатель.
10. Им. в виду Дантес-Геккерн Жорж Шарль, барон (1812—1895), приемный сын Геккерна Луи Борхарда де Беверваарда, барона (1791—1884), нидерландского дипломата, с 1826 г. посланника при русском дворе, смертельно ранивший Пушкина на дуэли.
11. Данзас Константин Карлович (1801—1870), лицейский товарищ Пушкина, секундант на дуэли с Дантесом.

Подготовка публикации
и примечания Геннадия ЗВЕРЕВА

А. Ф. ЛОСЕВ

И НЕ ПОГАСНЕТ ТО, ЧТО́ РАЗ В ДУШЕ ЗАЖГЛОСЬ[1]

Мы не случайно объединили в одной рубрике в «Наше наследие» эссе Вл. Соловьева «Судьба Пушкина» и статью недавно ушедшего от нас советского философа, профессора Алексея Федоровича Лосева. Эта статья будет служить своеобразным ключом к пониманию тех идей и мыслей, которые высказал крупнейший представитель русского идеализма.

Это одна из последних прижизненных работ профессора А. Ф. Лосева, которую он подготовил специально для нашего журнала.

Мы выражаем признательность вдове А. Ф. Лосева А. А. Тахо-Годи, доктору филологических наук, профессору, которая любезно предоставила редакции его рукопись.

Фото Павла Кривцова.

Когда в свою сухую ниву
Я семя истины принял,
Оно взошло — и торопливо
Я жатву первую собрал.

Вл. Соловьев

В последний раз в имение своих друзей Пустыньку Владимир Соловьев приехал 2 июля 1900 г., за месяц до смерти. Чувствуя приближение рокового конца, он сам выбрал место, где просил похоронить его. На этом месте сорвал он перед отъездом красный цветок и вдел его в петлицу сюртука. Обстоятельства, однако, сложились так, что Вл. Соловьев был похоронен не в Пустыньке, как хотел, но в Москве, на Новодевичьем кладбище. Безвременно оборвалась жизнь философа, которому едва было 47 лет, который отличался небывалой силой философской мысли и небывалым владением мировой философией, напряженнейшей духовной жизнью и мощной творческой энергией.

Каковы были масштабы Вл. Соловьева как философа и как личности, можно судить, например, по документу, приводимому одним из его биографов, В. Л. Величко. Дело в том, что свою магистерскую диссертацию Вл. Соловьев написал и защитил в 21 год, что было удивительным и поразительным даже для тех времен. По этому случаю и писал письмо видный историк, академик К. Н. Бестужев-Рюмин к вдове профессора С. В. Ешевского, приводимое у В. Л. Величко: «...Был вчера диспут вашего любимца Соловьева. ...Такого диспута я не помню и никогда мне не приходилось встречать такую умственную силу лицом к лицу. Необыкновенная вера в то, что он говорит, необыкновенная находчивость, какое-то уверенное спокойствие — все это признак высокого ума. Внешней манерой он много напоминает отца, даже в складе ума есть сходство: но мне кажется, что этот пойдет дальше. В нашем круге осталось какое-то обаятельное впечатление; Замысловский, выходя с диспута, сказал: «он стоит точно пророк». И действительно, было что-то вдохновенное. ...Если будущая деятельность оправдает надежды, возбужденные этим днем, **Россию можно поздравить с гениальным человеком...**»[2]

Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве 16 января 1853 г. в семье крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева (1820—1879). С. М. Соловьев был настроен прогрессивно и либерально; с 1871 по 1877 г. был ректором Московского университета, был членом Академии наук, написал и издал 29 томов «Истории России с древнейших времен», преподавал историю наследнику, т. е. будущему Александру III, а также имел среди своих учеников таких, как В. О. Ключевский. Мать Вл. Соловьева, Поликсена Владимировна, имела своим отдаленным предком замечательного мыслителя XVIII в. Григория Саввича Сковороду (1722—1794). Семья Соловьевых, из которой вышло еще несколько литературных деятелей, создала наилучшие условия для образования Вл. Соловьева, его научной и философской деятельности.

Учился Вл. Соловьев в 5-й московской гимназии, поступив туда сразу в 3-й класс и кончив ее в 1869 г. с золотой медалью. Из гимназических лет Вл. Соловьева имеются сведения отчасти мальчишеского, а отчасти уже философско-критического содержания. Он дружил со своими сверстниками, братьями Львом и Николаем Лопатиными, т.к. их отец, юрист М. Н. Лопатин был близким другом С. М. Соловьева. В письме к М. М. Стасюлевичу[3] сам Вл. Соловьев, с присущим ему юмором, описывает, например, такого рода мальчишества вместе с Лопатиными в селе Покровском (Глебово-Стрешневе): «Цель нашей деятельности в то время состояла в том, чтобы наводить ужас на покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химке, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: «Пожар! Пожар! Покровское горит! Те выскакивали в чем попа-

[1] См. примечания в конце статьи.

но, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством»[4].

О мальчишествах другого типа с теми же Лопатиными В. Соловьев пишет так: «...мы усиленно интересовались наблюдениями над историей развития земноводных, для чего в особо устроенный нами бассейн напускали много головастиков, которые однако от неудобства помещения скоро умирали, не достигнув высших стадий развития. К тому же зоологическую станцию мы догадались устроить как раз под окнами кабинета моего отца, который объявил, что мы сами составляем предмет для зоологических наблюдений, но что ему этим заниматься некогда»[5].

Но в эти же годы в настроениях Вл. Соловьева необходимо находить также и серьезную сторону. Именно, уже с 13 лет и до 18 он переживает сомнения в религиозных истинах и проявляет глубокий критицизм, о котором сам же пишет в письмах к Е. В. Романовой (Селевиной). Здесь мы читаем о «детской, слепой, бессознательной» вере: «Конечно, не много нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру — я ее отрицал в 13 лет... С другой стороны, мы знаем, что великие мыслители — слава человечества — были истинно и глубоко верующими (атеистами же были только пустые болтуны вроде французских энциклопедистов или современных Бюхнеров и Фохтов, которые не произвели ни одной самобытной мысли). Известны слова Бэкона, основателя положительной науки: немножко ума, немножко философии удаляют от Бога, побольше ума, побольше философии опять приводят к Нему»[6].

Итак, по Вл. Соловьеву, наивная и детская вера сменяется периодом рассудка. Но что такое рассудок или разум? Это — либо наука, либо философия. Философия, считает Вл. Соловьев, остается в области логической мысли, а настоящее убеждение человека должно быть не отвлеченным, а живым; такого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. «Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние — мне и теперь вспомнить тяжело,— совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни. Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным, и сам разум доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света; потому что когда человек принужден сказать: я ничто — он этим самым говорит: Бог есть все»[7].

Этот 20-летний молодой человек, еще не кончивший студент, сам только что прошедший мрачный период всеотрицания, рассуждает именно так, как он будет рассуждать в свой зрелый период. Вот еще одна цитата из письма все к той же Кате Романовой, к которой еще мальчишкой Вл. Соловьев питал нежные чувства. Здесь систематически и даже схематически виден весь религиозно-философский путь Вл. Соловьева: «Итак ты видишь, что человек относительно религии при правильном развитии проходит три возраста: сначала пора детской или слепой веры, затем вторая пора — развитие рассудка и отрицание слепой веры, наконец, последняя пора веры сознательной, основанной на развитии разума».

Таким образом, мы видим, что гимназические и университетские годы Вл. Соловьева отличались не только шалостями и баловством, но и вполне серьезными религиозно-философскими переживаниями, которые по глубине мало чем отличались от переживаний зрелого философа Вл. Соловьева.

Высшее образование Вл. Соловьев получил в Московском университете (1869—1873). Страстные поиски высших истин сказались уже в это раннее время его жизни. Всем известно, что Вл. Соловьев очень рано читал славянофилов и крупнейших немецких идеалистов, но мало кто знает, что в последние годы гимназии и первые годы университета он зачитывался тогдашними вульгарными материалистами и даже пережил весьма острую материалистическую направленность. Л. М. Лопатин вспоминал: «...Переход Соловьева к неверию, в противоположность его мучительному состоянию при сознательном возвращении к христианству, совершился чрезвычайно легко и быстро...»[8].

Между прочим, есть сведения о пребывании Вл. Соловьева в Московской Духовной Академии в качестве вольнослушателя, но, по-видимому, никакого серьезного влияния это на него не оказало.

Источники говорят, что Вл. Соловьев вел себя в университете довольно свободно и вольнодумно, на лекции ходил мало и был малообщителен. Его гимназический и университетский товарищ, впоследствии крупный историк Н. И. Кареев, прямо говорит, что Вл. Соловьева как студента не существовало. В эти годы Вл. Соловьев сближается с московскими спиритами, именно с востоковедом И. О. Лапшиным и А. Н. Аксаковым. К спиритизму Вл. Соловьев быстро охладел, но зато ощутил в себе медиумические возможности, и автографическими знаками у него впоследствии были испещрены все рукописи.

Особо нужно сказать о теоретических исканиях Вл. Соловьева в его университетские годы. По сообщению Л. М. Лопатина, в этот смутный переходный период своей философии Вл. Соловьев увлекался и Фейербахом, и Кантом, и особенно Шопенгауэром, а в конце концов и Шеллингом, в котором он находил примирение Шопенгауэра с Гегелем. И все это было в какие-то 2—3 года, потому что в 1873—1874 гг. у Вл. Соловьева уже была готова магистерская диссертация «Кризис западной философии (против позитивистов)», по которой видно, что он не только овладел всеми этими системами философского идеализма, но был уже в состоянии их сравнивать и находить в них односторонние тенденции.

В 1875 г. Вл. Соловьев получил научную командировку за границу «для изучения в Британском музее памятников индийской, гностической и средневековой философии»[9]. Об этом первом заграничном путешествии Вл. Соловьева необходимо рассказать подробнее. Сохранились его любопытные записи с разными чертежами, с упоминанием Каббалы, Бёме, Сведенборга, Шеллинга и того, что сам Соловьев называет «Я». Все эти черновики связаны с его занятиями проблемой Софии (в древнегреческом языке «софи́я» — «мудрость», «премудрость»).

Однако по причинам духовно-секретного характера, он в октябре того же года оказался в Каире. Целью путешествия Вл. Соловьева в Египет было посещение Фиваиды (бывшие египетские Фивы, в 200 км от Каира) — древнейшее место как египетских, так впоследствии и христианских культов, прославленное благодаря первоначальному монашеству и получившему в истории христианства мировое значение. Эти древние египетско-христианские тайны влекли к себе Вл. Соловьева, надеявшегося здесь получить новое и еще небывалое для себя откровение. Он один пошел через пустыню в Фиваиду, но здесь на него напали разбойники, что весьма юмористично описывает сам Соловьев в своей поэме «Три свидания»:

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то

Чуть не убит,— как шумно, по-арабски
Совет держали шейхи двух родов,
Что делать им со мной,..

До Фиваиды Вл. Соловьев так и не дошел, но именно здесь, под Каиром, явилось ему то, что он сам называл видением и что в позднейшей литературе называлось вечной женственностью, но что представилось ему в личной форме. В той же поэме Вл. Соловьев пишет об этом весьма возвышенно:

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

На языке Вл. Соловьева это выступало в виде Софии Премудрости Божией, которой он посвятил не одно глубокое философское рассуждение и стихи («Вся в лазури сегодня явилась», «У царицы моей есть высокий дворец»). Это и есть тот секрет, ради которого Вл. Соловьев предпринял свою первую заграничную командировку.

Автор настоящей статьи в свое время был учеником известного философа Л. М. Лопатина, который рассказывал ему, какие неимоверные трудности пришлось преодолеть Вл. Соловьеву, чтобы по возвращении из заграничной командировки начать работать на кафедре философии. Из-за профессорской склоки в Московском университете в марте 1877 г. Вл. Соловьев покинул Москву и перевелся в Петербург, но там встретил довольно холодное отношение, и был доцентом, а не профессором. В Петербургском университете Вл. Соловьев пробыл лишь четыре года, и в 1881 году оставил академическое поприще, начав жить как свободный литератор и публицист. Вл. Соловьев чувствовал, что в его жилах бьется кровь проповедника и публициста, литературного критика и поэта, иной раз даже какого-то пророка и визионера и вообще человека, преданного изысканиям духовным интересам. Быть профессором ему было просто скучно.

Между первым заграничным путешествием и докторской диссертацией (1876—1880) философская деятельность

Вл. Соловьева процветает; им напечатаны «Философские основы цельного знания», «Критика отвлеченных начал» (работа, защищенная в качестве докторской диссертации в 1880 году), «Чтения о Богочеловечестве».

В 90-е годы Вл. Соловьев возвращается к теоретической философии. К этому периоду относится его трактат «Красота в природе», а также «Смысл любви». Написаны такие значительные произведения, как «Понятие о Боге» (В защиту философии Спинозы) и «Теоретическая философия». Чисто философским трудом необходимо считать огромное его произведение «Оправдание добра», которое Вл. Соловьев посвятил своим отцу и деду «с чувством живой признательности и вечной связи». Философско-теоретическими интересами был продиктован также новый перевод Платона, хотя сам философ напечатал при жизни лишь первый том.

Вообще говоря, конец 80-х и начало 90-х гг. были для Вл. Соловьева временем довольно тяжелым. Правда, в 1891 г. он был назначен редактором отдела философии энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Но, кажется, это единственное благоприятное явление за весь этот период. Прежде всего Вл. Соловьева весьма удручала полемика с эпигонами славянофильства. Его трехтомный труд о теократии не состоялся вследствие цензурных затруднений, и вышла в свет только «История и будущность теократии», составлявшая третью часть от замысленного. Читать лекции по церковным вопросам ему в 1891 г. было запрещено, так же как издание его труда «Религиозные основы жизни». Вместе с Н. Я. Гротом[10] он основал в Москве журнал «Вопросы философии и психологии» в 1889 г., но участники журнала к католическим симпатиям Вл. Соловьева отнеслись равнодушно и даже враждебно.

Несколько публичных лекций, читанных Вл. Соловьевым в разное время, вызвали тогда в обществе большой резонанс, и на них стоит остановиться особо. 28 марта 1881 г. Вл. Соловьев в публичной лекции, текст которой не сохранился, призывал помиловать убийц Александра II. Относительно этой лекции возник ряд недостойных сплетен. Вероятно, в связи с революционной атмосферой 1905 г. жена известного петербургского лингвиста, писательница Р. Бодуэн де Куртенэ обрисовала эту лекцию в виде какого-то митинга, на котором одни будто бы носили Вл. Соловьева на руках и кричали ему: «Ты наш вождь!», а другие будто бы кричали: «Тебя самого нужно казнить!»[11]. Какой-то доносчик, однако, описывал в III отделение лекцию в весьма мягких тонах. Сам же Вл. Соловьев, обращаясь к Александру III, писал, что «настоящее тягостное время дает русскому Царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского всепрощения...»[12]. Таким образом, требование Вл. Соловьева о помиловании убийц Александра II не имело никакого отношения к революционным симпатиям, а было продиктовано наивным, искренним и честным убеждением в необходимости христианского всепрощения.

В марте 1887 г. в Москве Вл. Соловьев прочитал в пользу студентов две лекции на тему «Славянофильство и русская идея». Когда он выставлял в качестве идеала деятельность Владимира Святого, это принималось еще более или менее сочувственно. Но когда он доказывал, что подлинным прогрессом православия была западническая деятельность Петра I или что русскую идею целиком воплотил Пушкин, это воспринималось тогдашней московской публикой либо без всякого сочувствия, либо даже враждебно.

Наконец, в 1891 г. Вл. Соловьев прочитал в Московском Психологическом обществе лекцию «Об упадке средневекового миросозерцания», в которой доказывалось падение христианства и необходимость выхода на другие культурные пути. Лекция вызвала взрыв полемики в московском обществе: одни считали Вл. Соловьева пророком, а другие — лже-пророком, которому пора заткнуть рот. Особенно восстали против лекции К. Леонтьев и Ю. Николаев (Говорухо-Отрок)[13].

В конце 80-х гг. Вл. Соловьев резко разошелся с Н. Ф. Федоровым[14]. Произошло это в результате какой-то странной выходки со стороны Н. Ф. Федорова. Что же касается идейных расхождений между ними, то после неимоверного увлечения последним Вл. Соловьев хорошо распознал грозный и ужасающе недуховный характер его учения о физическом воскрешении покойников.

Необходимо упомянуть еще две надломленные и, можно сказать, погибшие дружбы Вл. Соловьева с его крупными современниками. Это — дружба с А. А. Фетом и К. Леонтьевым.

Творчество Фета всегда было для Вл. Соловьева чем-то пленительным и поучительным. Вл. Соловьев бывал в имении Фета Воробьевке, получил от Фета в подарок его книгу «Вечерние огни» с надписью: «Зодчему этой книги». Казалось бы, более счастливой дружбы нельзя себе и представить. Но вот в чем дело. Фет во многом подражал пантеистической эстетике Гете, любил и даже переводил Шопенгауэра. Вл. Соловьев никогда не был пантеистом, а всегда был и оставался христианином и притом православным. Фет не любил христианства и откровенно над ним посмеивался. Для Вл. Соловьева это было тем более неприятно, что Фет оказался отъявленным карьеристом, использовавшим и православные и неправославные связи и в конце концов добившимся для себя звания камергера. Правда, карьеризм Фета был вынужденным и проводился под давлением тягчайших обстоятельств личной судьбы. Отношение Вл. Соловьева к этому камергерству достаточно ясно по следующим стихам.

Жил-был поэт,
Нам всем знаком,
Под старость лет
Стал дураком.

Однако дело здесь было, конечно, не в дурости. В 90-х гг., после того, как Фет покончил самоубийством[15], Вл. Соловьев с ужасом и жалостью вспоминает свою погибшую дружбу с Фетом, посвящает ему стихи.

Другая дружба, тоже кончившаяся крахом, была у Вл. Соловьева с К. Леонтьевым (1831—1891), который признавался в своем «личном пристрастии» к Вл. Соловьеву и в своем «почтительном изумлении» перед ним[16]. Для К. Леонтьева Вл. Соловьев «несомненно самый блестящий, глубокий и ясный философ — писатель в современной Европе»[17], «сердечной совестливости» которого невозможно не верить[18]. Полное идейное расхождение между ними началось в конце 80-х гг. В письмах к некоему Анатолию Александрову, сотруднику «Московских Ведомостей», К. Леонтьев высказывался весьма резко: «Надо бы.., чтобы духовенство наше, наконец, возвысило голос. ...Скажут: много чести? Я не согласен. Преосв. Никанор удостоил внимания своего Л. Н. Толстого; а что такое проповедь этого самодура и юрода сравнительно с логическою и связною проповедью сатаны — Соловьева?»[19]. В тех же письмах К. Леонтьев предлагает: «Изгнать, изгнать Соловьева из пределов Империи нужно...», «употребить все усилия, чтобы Вл. Соловьева выслали (навсегда или до публичного покаяния) за границу»[20].

Никто так глубоко не понял Вл. Соловьева, как К. Леонтьев, но никто так резко не изругал его, как тот же К. Леонтьев, считавший недопустимым смешение православия и светского прогресса. Впоследствии добродушный и объективно настроенный Вл. Соловьев написал в «Русском обозрении» (1892, № 1) весьма дружелюбную статью «Памяти К. Леонтьева», где назвал его «писателем редкого таланта», «замечательно самостоятельным и своеобразным мыслителем», сердечно религиозным, а главное, добрым человеком».

Общий вывод относительно конца 80-х — начала 90-х гг. напрашивается сам собой: обстоятельства жизни и деятельности Вл. Соловьева, вместе с ростом его личности и творчества, становились все тяжелее, но сам он в своем внутреннем самочувствии неизменно сохранял кротость и благодушие.

Что касается личных, а также интимных настроений Вл. Соловьева в 90-е гг., то можно сказать, что здоровье его становилось все хуже, что он тяжело переносил свое одиночество и часто даже испытывал материальные затруднения. В письмах к жене Фета Марье Петровне он, скрывая свое болезненное состояние, писал: «Чувствую себя довольно хорошо и очень много работаю: становлюсь чем-то вроде литературного поденщика»[21].

Вл. Соловьев — это светлая, глубоко верующая в конечное торжество всечеловеческого идеала натура. Перед нами то, что можно назвать классикой философской мысли. Но под влиянием постоянных и усиленных исторических занятий Вл. Соловьев пришел невольно для себя к философской позиции, которая стала отличаться чертами тревоги, неуверенности и даже трагических ожиданий.

Вл. Соловьев страшился уничтожения западной цивилизации новым монгольским нашествием, на этот раз — из Китая. Эта идея паумонголизма, как и вообще все главнейшие соловьевские идеи, продумана им обстоятельно и глубоко на основании всей исторической жизни Китая. Он полагал, что китайская идея порядка столкнется с западной идеей прогресса. Разумеется, дать сейчас научный отчет

в правильности этих исторических ожиданий Вл. Соловьева совершенно невозможно. Но то, в чем мы безусловно уверены и что можно подтвердить научно анализом сочинений философа, это несомненно есть предчувствие каких-то небывалых мировых катастроф. Соловьев мучительно ощущал надвигающуюся гибель новейшей цивилизации, что ясно видно из его произведения «Три разговора».

Справедливость заставляет сказать, что православные убеждения Вл. Соловьева до конца его дней остаются в основном непоколебимыми. Но давнишнее сниженное отношение к обрядам, таинствам и догматам православной церкви в последние месяцы несомненно усиливается. Во второй половине июня 1900 г. (умер Вл. Соловьев 31 июля 1900 г.) он объяснял В. Л. Величко, почему он теперь не ходит в церковь: «Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане опять будут собираться в катакомбах, потому что вера будет гонима,— быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!» [22].

Мы хотели бы обратить внимание читателя еще на одно обстоятельство, которое нам представляется весьма важным. Это присущее Вл. Соловьеву совмещение экспансивности и умозрения, но только совсем в другой области. Биографические данные Вл. Соловьева свидетельствуют об его большой влюбчивости в детские, школьные и студенческие годы.

В. Л. Величко свидетельствует о первой такой любви Вл. Соловьева, когда будущему философу было всего 9 лет и столько же лет было его «возлюбленной». Оказалось, что у него есть такого же возраста соперник, с которым его «возлюбленная», некая Юлинька С. играла и бегала больше, чем с ним. Дело кончилось дракой Вл. Соловьева с его удачливым соперником, на другой день после которой он внес в свой детский дневник следующее: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки...» [23].

Судя по письмам, позже более глубокие чувства Вл. Соловьев питал к своей кузине Е. В. Романовой, но тем не менее в 1873 году, когда ему было 20 лет, он ей писал: «Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастье — составляет главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать **второстепенное** место в моем существовании» [24].

После своего возвращения из-за границы в 1877 г. Вл. Соловьев сблизился с семьей крупнейшего русского поэта середины XIX века графа Алексея Константиновича Толстого, к тому времени покойного. В момент сближения Соловьева с семьей Толстого общий тон отношений в доме определялся духом незримо присутствовавшего в нем покойного поэта, но в этот тон вдова его, Софья Андреевна Толстая, вносила свой, очень личный оттенок мистической духовности. В атмосфере романтической таинственности и космической поэзии выросло учение Вл. Соловьева о Софии.

Здесь Вл. Соловьев познакомился с Софьей Петровной Хитрово, любимейшей племянницей Софьи Андреевны Толстой. С. П. Хитрово неотлучно жила при ней и даже унаследовала после ее смерти имение ее Пустыньку. Вл. Соловьеву было тогда только 24 года, а С. П. Хитрово была уже замужем, имела троих детей и вопреки настойчивому желанию Вл. Соловьева не желала расторгать брак. По другим сведениям их брак не состоялся ввиду аскетических наклонностей Вл. Соловьева. Впоследствии, когда С. П. Хитрово было уже 48 лет и муж ее умер, Вл. Соловьев возобновил свои брачные предложения, но вновь получил отказ, мотивированный тем, что С. П. Хитрово в это время уже готовилась стать бабушкой.

Отношения Вл. Соловьева и С. П. Хитрово остаются для нас загадочными. Можно сказать только одно: философ всю жизнь прожил не имея ни семьи, ни собственного дома, жил в основном у друзей и даже умирать приехал в имение Узкое в 16 верстах от Москвы, к своему другу С. Н. Трубецкому. Чувства же свои к С. П. Хитрово, с некоторыми временными ослаблениями, Вл. Соловьев сохранил на всю жизнь, посвящая ей свои лучшие стихи и постоянно приезжая в Пустыньку, где он и сорвал однажды, незадолго до смерти, красный цветок. То немногое, что можно сказать об этих глубоких и тайных отношениях между ними, можно говорить только с помощью более или менее вероятных догадок. Во всяком случае, Софья Петровна Хитрово была для Вл. Соловьева одним из отдаленных подобий той Софии, которую он использовал как основное природно-философское понятие. Вероятно, оба они, Вл. Соловьев и С. П. Хитрово, приняли все меры для того, чтобы скрыть свои чувства от современников и от истории, потому что никаких документов, которые характеризовали бы интимную сторону этих отношений, в распоряжении биографов Вл. Соловьева не осталось.

Для характеристики мирочувствия Вл. Соловьева, может быть, нелишне привести рассказ В. Л. Величко в его биографии философа. В связи с посещением Вл. Соловьева в Финляндии, где тот отдыхал, В. Л. Величко писал: «Помню, как мы с ним однажды ехали из Иматры лесом в Рауху, где он жил зимой 1895 г. Сквозь ветви пышных сосен и елей ярко сияла луна. Синеватый снег сверкал миллионами алмазов, спорхнувшие стаи синичек и снегирей о чем-то защебетали, словно весной... Мы онемели оба как в опьянении, и я невольно воскликнул: «Видишь ли ты Бога?» Владимир Соловьев точно в полусне, точно перед ним в действительности проходило близкое душе видение, отвечал: «Вижу богиню, мировую душу, тоскующую о едином Боге». Всю дорогу затем мы промолчали» [25].

Примечания

1. Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Ночь на Рождество», 24 декабря 1894 г., посвященного В. Л. Величко.
2. В. Л. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. 2-е изд. Спб., 1903—1904 гг., с. 27—28.
3. М. М. Стасюлевич (1826—1911) — русский историк и журналист, основатель и редактор (1866—1908) журнала «Вестник Европы».
4. Письма, 1923, с. 60 (Письма Вл. Соловьева цитируются по изданиям: «Письма Владимира Сергеевича Соловьева под редакцией Э. Л. Радлова» т. I—III. Спб., 1908—1911. «Вл.Соловьев. Письма под редакцией Э. Л. Радлова», Пб., 1923).
5. Письма, 1923, с. 61.
6. Письма, т. III, с. 73.
7. Письма, т. III, с. 75.
8. Л. М. Лопатин. Вл. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой.— Вопросы философии и психологии, 1913, № 4 (кн. 119), с. 355.
9. С. М. Лукьянов. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. т. III, Пг. 1921, с. 64.
10. Н. Я. Грот (1852—1899) — философ, первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии».
11. См. «Былое», 1906, № 3, с. 48—55.
12. Письма, 1923, с. 149—150.
13. Ю. Н. Говорухо-Отрок (Николаев) (ум. 1896) — критик и журналист.
14. Н. Ф. Федоров (1828—1903) — русский философ-утопист.
15. О самоубийстве Фета см.: В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг., 1915, с. 47—53. Д. Д. Благой. Мир как красота. (в сб.— А. А. Фет. Вечерние огни. М., 1971; с. 630).
16. К. Леонтьев о Вл. Соловьеве и эстетике жизни (по двум письмам). М., 1912, с. 5.
17. Там же, с. 14.
18. Там же, с. 10.
19. А. Александров. Памяти К. Н. Леонтьева. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад. 1915, с. 126 — 127.
20. Там же, с. 125; 127.
21. Письма, т. III, с. 122
22. В. Л. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. 2-е изд., Спб., 1903—1904, с. 167—168.
23. В. Л. Величко, ук. соч. с. 14.
24. Письма, т. III, с. 82.
25. В. Л. Величко, ук. соч. с. 54.

Публикация и примечания доктора филологических наук, профессора А. А. ТАХО-ГОДИ

«Нет, весь я не умру...»
Бронза.

Из произведений народного художника СССР О. К. КОМОВА

Петр Ильич Чайковский.
Бронза.
Модель памятника для г. Воткинска.

**«Мы все сойдем
под вечны своды...»**
Бронза.

**Александр Пушкин
и Наталья Гончарова.**
Гипс.

Альбрехт Дюрер.
Бронза.

Иосиф БРОДСКИЙ

СКОРБНАЯ МУЗА

Сегодня мы бережно собираем все свидетельства об А. А. Ахматовой; тем большую ценность имеет слово ее преемника «по чину» русской поэзии Иосифа Александровича Бродского. Предлагаемый очерк во многом необычен. Он не случайно написан по-английски — ведь перед нами предисловие к сборнику стихов Ахматовой в английском переводе (Нью-Йорк, 1983). Предисловие обращено к американцам, для русского читателя Бродский, может быть, писал бы иначе. Но этот очерк, с афористической сжатостью формулировок, с упором не столько на трагическую биографию, сколько на возможно более точный анализ творчества, очень нужен и нам: поэт говорит о поэте так, как никогда и никто другой не скажет.

Фото 20-х годов.

Узнав, что дочь хочет напечатать подборку стихов в столичном журнале, отец потребовал, чтобы она взяла псевдоним и «не позорила славную фамилию». Дочь повиновалась, и в русскую литературу вместо Анны Горенко вошла Анна Ахматова.

Не то чтобы она сомневалась в своем таланте и правильности выбранного пути или искала тех выгод, которые дает писателю раздвоенность; главное заключалось в необходимости блюсти приличия, поскольку в знатных семьях (а к ним относилось и семейство Горенко) к профессии литератора относились свысока и полагали ее приличной для тех, у кого не было способа заявить о себе иначе.

Претензии отца были, пожалуй, чрезмерными. В конце концов Горенко не принадлежали к титулованной знати. С другой стороны, они жили в Царском Селе — летней резиденции царской фамилии, а многолетнее соседство такого рода редко проходит даром, но для семнадцатилетней дочери главным было другое: сто лет назад в Царскосельском лицее «беззаботно расцветал» Пушкин.

Что же до псевдонима, то среди предков Анны Горенко по материнской линии был Ахмат-хан, потомок Чингиза, последний правитель Золотой Орды. «Я — чингизка»,— говаривала она не без гордости. Для русского слуха «Ахматова» звучит на восточный, более того, на татарский лад. Она не гналась за экзотикой, наоборот: в России все татарское встречается скорее не с любопытством, а с предубеждением.

Но пять открытых «А» (Анна Ахматова) завораживали, и она прочно утвердилась в начале русского поэтического алфавита. Пожалуй, это была ее первая удачная строка, отлитая акустически безупречно, с «Ах», рожденным не сентиментальностью, а историей. Выбранный псевдоним красноречиво свидетельствует об интуиции и изощренном слухе семнадцатилетней девочки, на чьих документах и письмах тоже вскоре появилась подпись: Анна Ахматова.

Будущее отбрасывает тени — выбор оказался пророческим.

Ахматова относится к тем поэтам, у кого нет ни генеалогии, ни сколько-нибудь заметного «развития». Такие поэты, как она, просто рождаются. Они приходят в мир с уже сложившейся дикцией и неповторимым строем души. Она явилась во всеоружии и никогда никого не напоминала, и, что, может быть, еще важней, ни один из бесчисленных подражателей даже не подошел близко к ее уровню. Они все были похожи более друг на друга, чем на нее.

Отсюда следует, что феномен Ахматовой не сводится к тонким стилистическим ухищрениям и связан скорее со второй частью знаменитого уравнения Бюффона для «Я».

Божественная неповторимость личности в данном случае подчеркивалась ее потрясающей красотой. От одного взгляда на нее перехватывало дыхание. Высокую, темноволосую, смуглую, стройную и невероятно гибкую, с бледно-зелеными глазами снежного барса, ее в течение полувека рисовали, писали красками, ваяли в гипсе и мраморе, фотографировали многие и многие, начиная от Амедео Модильяни. Стихи, посвященные ей, составили бы больше томов, чем все ее сочинения.

Все это я говорю к тому, что внешняя сторона ее «Я» ошеломляла. Скрытая сторона натуры полностью соответствовала внешности, что доказали стихи, затмившие одно и другое.

От ее речи неотделима властная сдержанность. Ахматова — поэт строгих ритмов, точных рифм и коротких фраз. Синтаксис ее прост, не перегружен придаточными конструкциями, спиральное строение которых в немалой степени держит на себе русскую литературу. По грамматической простоте ее язык родствен английскому. Среди своих современников она — Джейн Остин, и, если ее речи темны, виной тому не грамматика.

В эпоху технического экспериментаторства в поэзии она демонстративно отстранялась от авангардизма. Скорее, ее стихи тяготеют (да и то внешне) к тому, что послужило толчком для обновления и русской, и мировой поэзии на рубеже веков,— к вездесущим, как трава, четверостишиям символистов. Но это внешнее сходство поддерживалось Ахматовой сознательно, ради не упрощения, а усложнения поставленной задачи. Она, как и в ранней юности, соблюдала приличия.

Ничто не обнажает слабость поэта так беспощадно, как классический стих, поэтому он редко встречается в чистом виде. Нет трудней задачи, чем написать две строчки, чтобы они прозвучали по-своему, а не насмешливым эхом чьих-то стихов. При строго выдерживаемом размере отзвук слышится с особенной силой, и от него не спасет усердное насыщение строки конкретными деталями. Стихи Ахматовой никогда не были подражательными, она заранее знала, как одолеть противника.

Ее оружием было сочетание несочетаемого. В одной строфе она сближает на первый взгляд совершенно не связанные предметы. Когда героиня на одном дыхании говорит о силе чувства, цветущем крыжовнике и на правую руку надетой перчатке с левой руки, дыхание стиха — его размер — сбивается до такой степени, что забываешь, каким он был изначально. Другими словами, эхо умолкает в разнообразии и придает ему цельность. Из формы оно становится нормой.

Рано или поздно такое случается и с эхом классики,

и с разнообразием описаний. В русском стихе это было сделано Анной Ахматовой: тем неповторимым «Я», которое носило ее имя. Напрашивается мысль, что ее внутреннее «Я» слышало, как язык рифмой сближает, казалось бы, далекие предметы, а внешнее «Я» с высоты человеческого роста глазами, зрением видело их родственность. Оно соединяло то, что уже было связано раньше в жизни и в языке — предвечно, на небесах.

Вот где берет начало царственность ее речи, ибо она не претендовала на новизну. Рифмы у нее легки, размер нестесняющий. Иногда она опускает один-два слога в последней и предпоследней строчке четверостишия, чем создает эффект перехваченного горла или невольной неловкости, вызванной эмоциональным перенапряжением. Но дальше этого она не шла, ей было не нужно: она свободно чувствовала себя в пространстве классического стиха и не считала свои высоты и достижения чем-то особениым в сравнении с трудами предшественников, использовавших ту же традицию.

Конечно, здесь есть элемент нарочитого самоуничижения. Никто не вбирает в себя прошлое с такой полнотой, как поэт, хотя бы из опасения пройти уже пройденный путь. (Вот почему поэт оказывается так часто впереди «своего времени», занятого, как правило, подгонкой старых клише.) Что бы ни собирался сказать поэт, в момент произнесения слов он сознает свою преемственность. Великая литература прошлого смиряет гордыню наследников мастерством и широтою охвата. Поэт всегда говорит о своем горе сдержанно, потому что в отношении горестей и печалей поистине он — Вечный Жид. В этом смысле Ахматова, безусловно, вышла из петербургской школы русской поэзии, которая, в свою очередь, опиралась на европейский классицизм и античные начала. Вдобавок ее создатели были аристократами.

То, что Ахматова была скупа иа слова, отчасти объясняется пониманием, какое наследство досталось ей нести в новый век. И это было смирение, поскольку именно полученное наследство сделало ее поэтом двадцатого столетия. Оиа просто считала себя, со всеми высотами и открытиями, постскриптумом к летописи предшественников, в которой они запечатлели свою жизнь. Их письмена трагичны, как жизнь, и, если постскриптум темен, урок был усвоен полностью. Она не посыпает пеплом главу и не рыдает на стогнах, ибо оии никогда так ие поступали.

Первые сборники имели огромный успех у критики и у читателей. Истинный поэт меньше всего думает об успехе, но следует вспомнить, когда вышли книги. То были 1914 и 1917 годы, начало первой мировой войны и Октябрьская революция. С другой стороны, не в этом ли оглушающем реве мировых событий голос поэта обрел неповторимый тембр и жизненность? И снова бросается в глаза пророческий характер начала ее творческого пути: она с него не сворачивала в течение полувека. Ценность пророчества тем больше, что в России гром событий перемежался неотвязным бессмысленным бормотанием символистов. Со временем обе мелодии сомкнулись и слились в грозный полифонический гул новой эры, и на его фоне Ахматовой суждено было говорить всю жизнь.

Ранние сборники — «Вечер», «Четки», «Белая стая» — посвящены теме, которой всегда отдаются первые сборники,— теме любви. Стихи похожи на интимную скоропись дневниковых записей. Они рассказывают об одном событии внешнего или психологического бытия и по длине не превышают шестнадцати, максимум двадцати строк. Они запоминаются с лету, и их заучивали и заучивают в России вот уже многие поколения.

Но ведь не из-за краткости или темы появляется желание во что бы то ни стало запомиить эти стихи. Ни то, ни другое не новость для искушенного читателя. Новое здесь заложено в подходе автора к старой теме. Брошенная, измученная ревностью или сознанием вины, истерзанная героиня чаще корит себя, чем впадает в гнев, красноречивее прощает, чем обвиняет, охотнее молится, чем плачет. Она черпает в русской прозе девятнадцатого века душевную тонкость и точность психологических мотивов, а чувству собственного достоинства учится у поэзии. Немалая же доля иронии и отстраненности не кратчайший путь к смирению, а отпечаток ее духа и личности.

Надо ли говорить, как вовремя пришли к читателю ее стихи; поэзия больше других искусств школа чувства, и строки, ложившиеся на душу читавшим Ахматову, закаляли их души для противостояния натиску пошлости. Сопереживание личной драме прибавляет стойкости участникам драмы истории. Не за афористическое изящество тянулись люди к ее стихам; это была чисто инстинктивная реакция. Людьми двигал инстинкт самосохранения: грохочущая поступь истории слышалась все ближе и ближе.

Ахматова услыхала ее загодя: глубоко личный лиризм «Белой стаи» уже оттенил мотив, вскоре ставший с ней неразлучным,— мотив подспудного ужаса. Умение сдерживать страсти романтической натуры пригодилось, когда все затопил страх. Страх проникал в поры страсти, покуда они не образовали единый эмоциональный сплав, впервые заявивший о себе в «Белой стае». С выходом сборника русская поэзия вошла в «настоящий, не календарный двадцатый век» и устояла при столкновении.

В отличие от большинства современников Ахматова не была застигнута врасплох происшедшим. К моменту революции ей уже исполнилось двадцать восемь — слишком много, чтобы поверить, и слишком мало, чтобы оправдать. Будучи женщиной, она полагала, что ей не следует ни прославлять, ни проклинать совершившееся. Смена социального порядка не послужила для нее толчком к отказу от строгого стиха и распаду ассоциативных связей. Искусство не имитирует слепо жизнь из боязни стать набором штампов. Ахматова сохранила и голос, и интонацию и, как и раньше, не отражала, но преломляла мир призмой сердца. Вот только нанизывание деталей, ранее частично снимавшее эмоциональное напряжение, словно бы вырывается из-под контроля и разрастается, заслоняя все остальное.

Она не отвернулась от революции, не встала в позу судии. Она смотрела на мир трезво и видела неукротимый народный взрыв, несущий каждому отдельному человеку небывалое количество бед и горя. К этому взгляду она пришла не оттого, что ей выпала такая страшная участь, но в первую очередь силой своего дара. Поэт рождается демократом, и дело не в том, что его положение в обществе редко бывает прочным, а в том, что он обращается ко всей нации на ее языке. То же отиосится и к трагедии, поэтому поэзия и трагедия всегда рядом. Ахматова, тяготевшая в стихе к народному говору, к ладу народной песни, не отделяла себя от народа с гораздо большим правом, чем тогдашние глашатаи литературных и прочих манифестов: она разделяла с народом горе.

Впрочем, слова про общность с народом намекают на некую рассудочность, немыслимую без многословного витийства. Она же была частицей большого целого, а псевдоним подчеркивал размытость «классовой принадлежности». К тому же она чуралась надменности, заложенной в слове «поэт»: «Не понимаю я громких слов: поэт, биллиард...» Она не прикидывалась скромницей, но неизменно держала в уме трезвую перспективу будущего. Верность любовной теме в стихах тоже указывала на близость к людям. Единственное, что ее отличало,— это неподчиненность этики сиюминутным историческим обстоятельствам.

А в остальном она была, как все; да и время не поощряло обособления. Ее стихи не стали гласом народным лишь потому, что никогда народ не говорит на один голос. Но голос Ахматовой не принадлежал и сливкам общества, в нем напрочь отсутствовало обожесталение народной массы, въевшееся в кровь и плоть русской интеллигенции. Возникшим около этого времени в ее стихах «мы» она пыталась укрыться от враждебного равнодушия истории, и не она — другие носители языка расширили смысл местоимения до лингвистического предела. Будущее удержало «мы» навсегда и укрепило позицию тех, кому оно принадлежало.

Между «гражданственными» стихами Ахматовой времеи революции и войны нет психологической разницы, хотя промежуток составляет почти тридцать лет. «Молитву», например, если отвлечься от даты написания, легко связать с любым моментом новой русской истории, и безошибочный выбор названия доказывает чуткость поэта, и то, что его работа историей в чем-то облегчена. История берет на себя столь много, что поэты бегут пророческих строк, предпочитая простое описание чувств и фактов.

Стихи Ахматовой тоже номинативны — и вообще, и в частности в тот период. Она понимала, что делит мысли и чувства с очень и очень многими, а неизменно повторяющееся время придает им универсальный характер. В ее глазах история и судьба имеют очень небольшой выбор. Ее «гражданственные» стихи органично вливались в общий лирический поток, где «мы» практически не отличалось от «я», употреблявшегося чаще и с большим эмоциональным нака-

лом. Перекрываясь в значении, оба местоимения выигрывали в точности. Имя лирическому потоку было любовь, и об эпохе и Родине она писала почти с неуместной интимностью, а стихи о страсти обретали эпическое звучание, расширяя русло потока.

В поздние годы Ахматова с негодованием отвергала попытки критиков и исследователей свести ее творчество к любовным стихам начала века. Она была, конечно, права. Написанное в последние сорок лет жизни перевешивало их и по количеству, и по значимости. Однако ученых критиков можно понять: с 1922 года до самой смерти в 1966-м ей не удалось напечатать ни одного сборника, и им приходилось работать с тем, что было. Но и еще одна причина, менее очевидная и более трудная для понимания, привлекала внимание исследователей к ранней Ахматовой.

В течение жизни время говорит с нами на разных языках — на языке детства, любви, веры, опыта, истории, усталости, цинизма, вины, раскаяния и т. д. Язык любви — самый доступный. Ее словарь охватывает все остальные понятия, ее речам внемлет природа живая и мертвая. Слову на языке любви дан глас провидческий, почти Богодвдохновенный, в нем слиты земная страсть и толкование Священного Писания о Боге. Любовь есть воплощение бесконечности в конечном. Обращение этой связи приводит к вере или к поэзии.

Любовная поэзия Ахматовой — это прежде всего поэзия, в ней на поверхности лежит повествовательное начало, и всем читателям предоставляется чудесная возможность расшифровать горести и печали героини на свой вкус. (В разгоряченном воображении некоторых стихи явились свидетельством «романов» Ахматовой с Блоком, а также с Его Императорским Величеством, хотя она была на порядок талантливее первого и на шесть дюймов выше второго.) Полуавтопортрет, полумаска, она — героиня — преувеличивает трагичность жизни с театральной готовностью, как бы испытывая пределы возможной боли и стойкости. В других стихах она точно так же нащупывает предел возможного счастья. Иными словами: реалистичность здесь служит средством постижения Высших Предначертаний. И все это было бы лишь новой попыткой вдохнуть жизнь в традиции старого жанра, если бы не сами стихи.

Уровень ее стихов делает смешными биографический и фрейдистский подход, ибо конкретный адресат размывается и служит только предлогом для авторской речи. Искусство и инстинкт продолжения рода схожи в том плане, что оба сублимируют творческую энергию, и потому равноправны. Почти навязчивый мотив ранней лирики Ахматовой — не столько возрождение любви, сколько молитвенный настрой. Написанные по разным поводам, рожденные жизнью или воображением, стихи стилистически однородны, так как любовное содержание ограничивает возможности формального поиска. То же относится к вере. В конце концов у человечества не так много способов для выражения сильных чувств, что, кстати, объясняет возникновение ритуалов.

Постоянное рождение новой и новой любви в стихах Ахматовой — не отражение пережитых увлечений, это тоска конечного по бесконечности. Любовь стала ее языком, кодом для общения с временем, как минимум для настройки на его волну. Язык любви был ей наиболее близок. Она жила не собственной жизнью, а временем, воздействием времени на души людей и на ее голос — голос Анны Ахматовой. Требуя внимания к своим поздним стихам, она не отрекалась от образа истосковавшейся по любви юной женщины, но голос и дикция ушли далеко вперед в попытке сделать гул времени различимым.

В сущности, все стало другим уже в пятом и последнем сборнике — «Anno Domini MCMXXI». В отдельных стихотворениях гул вечности вбирает в себя голос автора до такой степени, что ей приходится оттачивать конкретность детали или образа, чтобы спасти их и себя вместе с ними от бесчеловечной размеренности ритма. Полное единение, вернее растворение в вечности, придет к ней позже. А пока она пыталась уберечь свои понятия о мире от всепоглощающей просодии[1], ибо просодии ведомо о времени больше, чем может вместить живая душа.

Незащищенность от этого знания, от памяти о раздробленном времени подняла ее на невообразимую духовную высоту, где уже невозможны прозрения, вызванные новыми сторонами действительности, новым проникновением в суть вещей. Ни одному поэту не дано преодолеть эту пропасть. Знающий о ней понижает тон и приглушает голос ради сближения с реальностью. Порой это предпринимается из чисто эстетических побуждений, чтобы уменьшить приподнятость и нарочитость, уместные на подмостках. Чаще цель такой маскировки — сохранение своей личности. Так было и у поэта строгих ритмов Анны Ахматовой. И чем она усерднее пряталась, тем неуклоннее ее голос таял в Чьем-то Другом, бросавшем в дрожь при попытке увидеть, как в «Северных элегиях», кто скрыт за местоимением «я».

Судьба местоимения постигала прочие части речи, бледневшие или, наоборот, набиравшие силу в просодической перспективе времени. Поэзия Ахматовой предельно конкретна, но чем конкретнее был образ, тем неожиданнее его делал выбранный стихотворный размер. Стихотворение, написанное ради сюжета,— как жизнь, прожитая ради некролога. То, что зовется музыкой стиха,— на самом деле, время, перекроенное так, чтобы переместить содержимое рифмованных строк в фокус лингвистической неповторимости.

Мелодия становится вместилищем времени, фоном, на котором стихам дается стереоскопическое строение. Сила Ахматовой — в умении выразить надличностную эпическую стихию музыки в гармонии с действительным содержанием, особенно начиная с 20-х. Эффект подобной инструментовки страшен: словно привыкнув опираться о стену, вы обнаруживаете вдруг, что опереться можно только о горизонт.

Сказанное следует помнить иноязычным читателям, ибо распахнутый горизонт исчезает при переводе, а на бумаге остается одномерное «содержание». С другой стороны, русский читатель тоже был долгое время лишен подлинного знакомства с Ахматовой. У перевода и у цензуры немало общего, в обоих случаях в основе лежит принцип возможного, а языковой барьер по высоте сравним с воздвигнутым государством. Ахматова окружена одним и другим, и только первый начинает давать трещины[1].

Сборник «Anno Domini MCMXXI» был для нее последним. В течение сорока четырех лет у нее не вышло ни одной книжки. Правда, после войны два раза издавались ее стихи — перепечатанная любовная лирика, разбавленная патриотическими военными стихами и грубыми виршами, славящими приход мирных дней. Последними она надеялась помочь сыну, который все равно просидел в лагерях восемнадцать лет. Эти сборники ни в коем случае нельзя считать авторскими, их составляли чиновники государственного издательства и выпускали в свет, дабы убедить публику, главным образом иностранную, что Ахматова жива, благополучна и лояльна. Туда вошло около пятидесяти стихотворений, никак не отражающих созданное ею за четыре десятилетия.

Ахматову погребли заживо и бросили два камешка на курган, чтобы не спутать место. Для ее удушения сплотились разные силы, но основная роль принадлежала истории, чья главная черта — пошлость, а главное доверенное лицо — государство. К Anno MCMXXI, т.е. к 1921 году, новорожденное государство успело дотянуться и до Ахматовой, приговорив к расстрелу ее первого мужа, Николая Гумилева (не исключено, что с ведома Ленина). Исходя из первобытного принципа «око за око», власти не вправе были ждать от нее ничего, кроме жажды мести, тем более в связи с общепризнанной автобиографической тенденцией ее стихов.

По-видимому, именно такова была логика государства, приведшая к уничтожению в следующие пятнадцать лет всего ее круга, включая ближайших друзей — поэтов Владимира Нарбута и Осипа Мандельштама. Наконец, арестовали сына, Льва Гумилева, и второго мужа, искусствоведа Николая Пунина, вскоре умершего в заключении. Потом началась война.

Наверное, в истории России не было страшней пятнадцати предвоенных лет. Не было чернее их и в жизни Ахматовой. Жизнь в те годы, или, точнее, множество оборванных тогда жизней, увенчали ее музу венком скорби. Стихи о любви уступили место стихам памяти мертвых. Смерть, ранее казавшаяся выходом из тупика страсти, стала обыденностью, не зависящей ни от каких страстей. Из поэтического образа смерть перешла в разряд прозы жизни.

[1] Просодия — раздел учения о стихосложении, трактующий о ритме, структуре строки и пр. *(прим. переводчика).*

[1] 1982 г. *(прим. переводчика).*

Она не оставляла пера, во-первых, потому, что просодия включает в себя также и смерть, и, во-вторых, считая себя виноватой в том, что уцелела. По сути, ее стихи памяти мертвых — не что иное, как попытка включить их или хотя бы ввести их в структурную ткань поэзии. Она не увековечивала погибших. Большинство из них составляли гордость русской литературы и сами себя увековечили. Она стремилась соладать с бессмысленностью существования, внезапно разверзшейся перед ней уничтожением источников смысла, приручить мучительную бесконечность, населив вечность тенями близких. Стихи в память мертвых — только они удерживали членораздельную речь на грани безумного воя.

И все равно в ее тогдашних стихах слышен стон: навязчивым повторением рифмы, сбивчивой строчкой, перебивающей гладкое течение речи,— но те стихи, где говорилось впрямую о чьей-то смерти, свободны от этого. Она как бы опасается оскорбить погибших потоками слез, и в опасении открыто встать рядом с ними слышится отзвук ее любовных стихов. Она говорит с мертвыми, как с живыми, не прибегая к традиционному стилю «На смерть***», и не стремится сделать ушедших идеальными, безупречными собеседниками, которых поэты ищут и находят среди усопших либо среди ангелов.

Тема смерти — лакмус поэтической этики. Жанром «In memoriam» часто пользуются для выражения жалости к себе, для упражнений в метафизике, доказывающих подсознательное превосходство уцелевшего перед павшим, большинства (живых) перед меньшинством (мертвых). У Ахматовой нет этого и в помине. Она не обобщает покойных, а говорит детально о каждом. Она обращается к меньшинству, к которому ей причислить себя легче, чем к большинству. Смерть ничего не изменила в их облике — так как же можно использовать их в качестве отправной точки для возвышающих и возвышенных рассуждений.

Подобные стихи, естественно, не могли быть опубликованы и даже перепечатаны и записаны. Они хранились в памяти автора и еще нескольких человек для пущей сохранности. Время от времени она производила переучет: ей наизусть читали те или иные отрывки. Предосторожность была не лишней — люди пропадали за менее страшные дела, чем клочок бумаги. Она не так боялась за себя, как за сына, которого в течение восемнадцати лет пыталась вызволить из лагерей. Клочок бумаги мог обойтись слишком дорого, ему дороже, чем ей, потерявшей все, кроме последней надежды и рассудка.

Они оба недолго прожили бы, попадись властям в руки «Реквием». На сей раз стихи бесспорно автобиографичны, но сила их вновь в обычности биографии Ахматовой. «Реквием» оплакивает скорбящих: мать, потерявшую сына, жену, потерявшую мужа; Ахматова пережила обе драмы. В этой трагедии хор гибнет раньше героя.

Сострадание героям «Реквиема» можно объяснять горячей религиозностью автора, понимание и всепрощение, кажется, превышающие мыслимый предел, рождаются ее сердцем, сознанием, чувством времени. Ни одна вера не даст силы для того, чтобы понять, простить, тем более пережить гибель от рук режима одного и второго мужа, судьбу сына, сорок лет безгласия и преследований. Никакая Анна Горенко не смогла бы такого вынести; смогла — Анна Ахматова, при выборе псевдонима прямо провидевшая грядущее.

Бывают в истории времена, когда только поэзии под силу совладать с действительностью, непостижимой простому человеческому разуму, вместить ее в конечные рамки. В каком-то смысле за именем Анны Ахматовой стоял весь народ, чем объясняется ее популярность, что дало ей право говорить от имени всех людей и с ними говорить напрямую. Ее поэзия, читаемая, гонимая, замурованная, принадлежала людям. Она смотрела на мир сначала через призму сердца, потом через призму живой истории. Другой оптики человечеству не дано.

Просодия, время, хранимое языком, свела две перспективы в единый фокус. Умение прощать она почерпнула здесь же, ибо всепрощение не религиозная добродетель, а свойство времени, земного и метафизического. Стихи ее уцелеют независимо от того, опубликуют их или нет, потому что они насыщены временем, а язык древнее, чем государство, и просодия сильнее истории. Да и не нужна ей история, а нужен поэт — такой, как Анна Ахматова.

1982

Перевод с английского
А. КОЛОТОВА

Публицистика

СЕГОДНЯШНИМИ ГЛАЗАМИ

Это заметки на полях при чтении стенограмм партийных съездов. Отчеркнутые места, вдруг привлекшие «сегодняшнее» внимание, выписки и сопоставления, которые почти не требуют комментариев.

О здоровой стороне склок и дрязг

5 марта 1923 года больной Ленин пишет Сталину: «Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. (...) Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены, я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».

У Владимира Ильича как у настоящего русского интеллигента было высокое понятие чести и достоинства. Так и Пушкин бросил вызов обидчику, когда дело коснулось чести его жены... Сталин, конечно, от такого ультиматума дрогнул и немедленно принес извинения. Но что все это стоило Владимиру Ильичу! Через день с ним случился удар, приведший к правостороннему параличу и утрате речи. От этого удара он уже не оправился.

А вскоре, 17 апреля, Сталин, уже испробовавший свои силы в склоках и дрязгах, с трибуны XII съезда РКП(б) произнес редчайшие по откровенности слова:

«Говорят о склоках и дрязгах в губкомах. Я должен сказать, что склоки и трения, кроме отрицательных сторон, имеют и хорошие стороны. Основным источником склок и дрязг является стремление губкомов создать вокруг себя спаянное ядро, сплоченное ядро, могущее руководить как один. Эта цель, это стремление здоровые и законные, хотя добиваются их часто путями, не соответствующими целям. (...) 9/10 склок и трений, несмотря на непозволительность их форм, имеют здоровое стремление — добиться того, чтобы сколотить ядро, могущее руководить работой. (...) Вот та здоровая сторона склок, которая не должна быть заслоиена тем, что она иногда принимает страшно уродливые формы...»

Какая диалектика! Сталин не только сделал свои выводы, но настойчиво с трибуны съезда учил, как надо «сколачивать ядро»!

О методе пускания крови

И. В. Сталин в заключительном слове по политотчету ЦК XIV съезду ВКП(б), напомнив, что он в свое время был против(!) исключения Троцкого из Политбюро, подчеркнул: «Мы не согласились... потому, что знали, что политика отсечения чреватв большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови — а они требовали крови — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, зав-

тра другого, послезавтра третьего,— что же у нас останется в партии? (Аплодисменты.)

Далее Сталин высказался против «разнузданной травли тов. Бухарина»: «...Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови тов. Бухарина... Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте».

Итак, в конце 1925 года Сталин, защищая Троцкого от Зиновьева и Каменева, высказывается против «метода пускания крови», затем, защищая от них же Бухарина, воскликнул: «Не дадим вам его крови!»

Наступил XVII съезд. Много воды утекло. Троцкий давно повержен, исключен, выслан. Сталинская секира уже занесена над самим Бухариным. Выступая на съезде с покаянной речью, Бухарин вдруг вспомнил о «крови». О той самой? Или это просто совпадение? Говоря о гитлеровцах, пришедших к власти в Германии, которые проповедуют... окровавленный кинжал, Бухарин цитирует поэта Иоста: «Народ должен требовать жрецов-вождей, которые проливают кровь, кровь, кровь, которые колют и режут!»

Это было в 1934 году. Не косвенное ли напоминание Сталину, последняя, отчаянная «реплика» перед гибелью?

О доносах и доносительстве

На XIV съезде ВКП(б) в декабрьские дни 1925 года вспыхнул, в частности, короткий спор, касающийся партийной этики. Вот сгруппированные высказывания по этому поводу:

«БАКАЕВ: — Я не могу равнодушно отнестись и к тем нездоровым нравам, которые пытаются укоренить в нашей партии. Я имею в виду доносительство... На вопросы так называемого доносительства у меня есть определенные взгляды, но если это доносительство принимает такие формы, такой характер, когда друг своему другу задушевной мысли сказать не может, на что это похоже. Товарищи, я меньше всего склонен к преувеличениям, я здесь говорю, что эти нравы нетерпимы в нашей партии, что партия должна по рукам дать тем товарищам, которые пытаются культивировать такие нравы...

ШКИРЯТОВ: — Товарищи, есть доносы и доносы. Если тов. Бакаев подразумевает под доносами то, что члены партии следят за моральной жизнью другого члена партии, подсматривают в окно, как он живет, то, конечно, такими доносами не нужно заниматься и так следить за каждым членом партии не нужно. Но если член партии замечает, что отдельные члены партии хотят создать какие-нибудь идейные группировки, и он об этом знает, но об этом не сообщает в высшие партийные органы, то это неправильно. Это — не донос, это — обязанность каждого члена партии... Каждый член партии может написать заявление, если он видит в наших рядах нездоровые явления.

ГУСЕВ: — Теперь парочку слов насчет задушевных мыслей тов. Бакаева. Что это за задушевные мысли, которые являются конспиративными от партии, которые нужно скрывать, ибо если кто-нибудь сообщает их ЦК, то сейчас же начинают кричать, что это доносительство?.. Фальшивишь ты, Бакаич, фальшивишь, поверь мне. (...) Я не предлагаю ввести у нас ЧК в партии. У нас есть ЦКК, у нас есть ЦК, но я думаю, что каждый член партии должен доносить. Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства... Думается мне, что в данном случае с тов. Бакаевым приключился припадок мещанской морали, которая охватывает всегда всякого оппозиционера, который сбивается с правильной партийной линии.

НИКОЛАЕВА: — Тов. Гусев сегодня с этой трибуны сказал так: что же — говорит — мы за доносы, такие доносы должны быть в партии, ибо каждый коммунист должен быть чекистом. Товарищи, что такое чекист? Чекист — это есть то орудие, которое направлено против врага. Против классового нашего врага... Доносы на партийных товарищей, доносы на тех, кто будет обмениваться по-товарищески мнением с тем или иным товарищем, это будет только разлагать нашу партию, и не членам ЦКК выступать за такие доносы и делать подобного рода сравнения... Не такой системой надо бороться. Надо бороться системой правильной постановки внутрипартийной демократии. (Смех.) И только истинное освещение положения вещей может действительно предотвратить нежелательные явления, и ЦКК должна серьезно заняться вопросом о внутрипартийной демократии.

КУРУНОВ: — В нашей партии не может быть доносчиков, и говорить здесь о доносах — абсолютно недопустимая вещь... Мы должны самым решительным образом отмести в нашей партийной практике название коммунистов доносчиками за то, что они предупреждают партию об опасности и вскрывают болезни наших партийных организаций или уклоны и ошибки отдельных товарищей.

КУЙБЫШЕВ: — Тов. Крупская говорила относительно большой власти, которая имеется у Секретариата, она говорила о необходимости обсуждения тех вопросов, которые волнуют партию. Все это выглядит, так сказать, невинно, в тоне, в котором говорит Надежда Константиновна. Но знают же все товарищи, члены партии, что... существующее руководство партией является одним из лучших в истории нашей партии... я от имени ЦКК заявляю о том, что это руководство и этот генеральный секретарь нашей партии является тем, что нужно для партии, чтобы идти от победы к победе.

МИНИН: — Ленинградская делегация заявляет, что, воздерживаясь при голосовании внесенной резолюции, она считает необходимым сделать следующее заявление:

«...Ш... развившаяся за последнее время система писем, использования частных разговоров, личных сообщений... не может не привить в партии самые нездоровые и до сих пор немыслимые обычаи. Все это, вместе взятое, стоит в прямом и резком противоречии как с основами внутрипартийной демократии, так и со всем строем и характером нашей большевистской ленинской партии».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Петровский): — ...Заявление, которое было заслушано после требования с моей стороны о внесении поправок в резолюцию, мы должны рассматривать по существу, как к данной резолюции не относящееся. (Аплодисменты. Крики: «Правильно!»)

Заседание закрывается...»

Поправка была отвергнута.

Никому не пришло в голову сказать, что при обнаружении разногласий первейшей обязанностью единомышленников по отношению друг к другу является не — «написать заявление», а разобраться, убедить или убедиться, предупредить, наконец... А когда личные аргументы исчерпаны, тогда другое дело, тогда принципиальные вопросы выносятся на общий форум. Открыто и честно.

Ленин яростно спорил с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным. Но всегда открыто, публично, без «доносов» (не было в партии такой «проблемы»!), без «склок и дрязг», без «пускания крови». А после разрешения разногласий доверял им самые ответственные посты в самые тяжелые годы...

Сталин на XIV съезде по поводу доносов не высказался. Он давно знал, что к чему.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Борис СЛУЦКИЙ

«МОЖЕТ, ЭТО ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ...»

Летом 1954 года Слуцкий, Евтушенко и я шли вдоль ограды Александровского сада в сторону Исторического музея. Шли ко мне на улицу 25 Октября есть арбуз. Евтушенко, стеная от жажды, вышагивал впереди, неся арбуз над плечом. Я спросил у Слуцкого, что он думает о выражении «профессиональный поэт». «— Вот профессионал, — сказал Слуцкий, — а мы... мы дилетанты».

Ничего обидного в этих словах не было. Слуцкий нежно относился к Евтушенко. Было другое. Слуцкий не был против ранней профессионализации. Он опасался, что в тех условиях, в которых мы тогда находились, можно легко «разменяться». И второе — он свято относился к делу поэзии. Стихи его почти не печатались. Никакой нервозности по отношению к этому он не проявлял. Это импонировало. И каким-то косвенным образом помогало стоять на своем.

Меня поразили «Лошади в океане», «Кельнская яма»; в стихах о районной бане я увидел декларацию иной, «антирозовой» эстетики, и в самом Слуцком открыл для себя крупного человека, с которым можно откровенно говорить обо всем. А откровенный разговор тогда ценился не менее, чем сейчас. Даже более — он был опасен. Было у Слуцкого удивительное свойство: казалось, что он понимает в тебе больше, чем ты сам, пониманием этим не кичится, а говорит с тобой, как равный с равным (что чрезвычайно важно для очень молодого человека). Евтушенко с ним общался, как и с многими, впрочем, гораздо чаще, и однажды радостно мне сообщил: «Слуцкий сказал: Соколов разрабатывает заброшенные серебряные рудники, которые были объявлены исчерпанными». Но я, вопреки ожиданиям моего друга, не огорчился (правда, подумал: а почему не золотые?).

Все у нас тогда было молодо, все было зелено. С улицы Горького я сбегал в переулки, мне казалось, что туда была загнана и настоящая Москва, и правда поэзии.

«Привыкши выковыривать изюм певучести из жизни сладкой сайки», я любил читать Слуцкого. Его стихи были, как черный хлеб. Как черный хлеб войны, которого всегда не хватало. Они были и как протоколы честных собраний. В них выражались и жесткие формулы времени, и неожиданная (тогда) свобода мышления. Независимость без всякой мелкой «фронды». Крупная независимость в целом.

Поэт четких, подчеркнуто прозаизированных формулировок, художник, как бы поставивший перед собой задачу: взяв грубый кусок жизни, не творить из него романтическую легенду, а таковым его и показывать, — Слуцкий всю жизнь разрабатывал одну из наиболее главнейших форм именно романтической поэзии — балладу. От «Лошадей в океане» до последних (известных нам) стихов.

Не молод очень лад баллад,
Но если слова болят
И слова говорят о том, что болят,
Молодеет и лад баллад.

Слуцкий болел за свое время, за своих современников, говорил о том, что болит. При этом сама сдержанность его слова таила в себе динамитную энергию.

Я не знаю самых ранних стихов Слуцкого, был ли на них романтический флер. Я познакомился с ним и его стихами, когда он уже держал романтику за порогом. И все равно она была где-то рядом. Не отсюда ли и баллада?

Мне кажется, что балладность мышления Слуцкого парадоксальным образом связана с историзмом его мышления, с тягой к отмеченным знаком эпохи сюжетам живой жизни, в которой и сам он был действующим лицом. Он сдернул романтический флер с баллады, лишил ее имени, оставив ей сюжетность, и показал, из чего она делается — из грубой и несладкой жизни.

Каждая новая публикация стихов Слуцкого не только событие в жизни нашей поэзии. Стихи его показывают, насколько все-таки поэзия выше быстротекущего времени. Оно — уходит, она — остается. При этом я имею в виду не афористические строчки («Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», «Надо думать, а не улыбаться», «Мы все ходили под богом, у бога под самым боком»...), а поэзию как таковую. Просто стихи Бориса Слуцкого, написанные в разные годы. У настоящей поэзии есть особое свойство — быть современной всем временам. Как сегодня написанные, звучат строки поэта:

В девятнадцатом веке жалели,
просто так — жалели людей.
...Может, это еще пригодится
в двадцать первом и в двадцать втором.

Владимир СОКОЛОВ

Баллада о догматике

— Немецкий пролетарий не должо́н! —
Майор Петров, немецким войском битый,
ошеломлен, ъбит с толку, поражен
неправильным развитием событий.

Гоним вдоль родины, как желтый лист,
гоним вдоль осени под пулеметным свистом,
майор кричал, что рурский металлист
не враг, а друг уральским металлистам.

Но рурский пролетарий сало жрал,
а также яйки, млеко, масло,
и что-то в нем, по-видимому, погасло,
он знать не знал про классы и Урал.

— По Ленину не так идти должно! —
Но войско перед немцем отходило,
раскручивалось страшное кино,
по Ленину пока не выходило.

По Ленину, по всем его томам,
по тридцати томам его собрания.
Хоть Ленин — ум и всем пример умам
и разобрался в том, что было ранее.

Когда же изменились времена,
и мы наперли весело и споро,
майор Петров решил: теперь война
пойдет по Ленину и по майору.

Все это было в марте, и снежок
выдерживал свободно полоз санный.
Майор Петров, словно Иван Сусанин,
свершил диалектический прыжок.

Он на санях сам-друг легко догнал
колонну отступающих баварцев.
Он думал объяснить им, дать сигнал,
он думал их уговорить сдаваться.

Язык противника не знал совсем
майор Петров, хоть много раз пытался.
Но слово «класс» — оно понятно всем,
и слово «Маркс», и слово «пролетарий».

Когда с него снимали сапоги,
не спрашивая спецпроисхождении,
когда без спешки и без снисхождения
ему прикладом вышибли мозги,

в сознании угаснувшем его,
несчастного догмятика Петрова,
не отразилось ровно ничего.
И если бы воскрес он — начал снова.

Черные брови

Дети пленных турчанок,
как Разин Степан,
как Василий Андреич Жуковский,
не пошли они по материнским стонам,
а пошли по дороге отцовской.

Эти гены турецкие — Ближний Восток,
что и мягок, и гневен, и добр, и жесток —
не сыграли роли значительной.
Нет, решающим фактором стали отцы,
офицеры гвардейские ли, удальцы
с Дону, что ли, реки той медлительной.

Только черные брови, их бархатный нимб
утверждали без лишнего гнева:
колыбельные песни, что пелись над ним,
не российского были распева.

Впрочем, что нам кокаться в анкетах отца
русской вольности
и в анкетах певца
русской нежности.
Много ли толку?
Лучше вспомним про Питер и Волгу.

Там не спрашивали, как звалась твоя мать.
Зато спрашивали, что ты можешь слагать,
проверяли, как ты можешь рубить,
и решали, что делать с тобой и как быть.

☆☆☆

На том пути в Москву из Граца,
в Москву из Вены, в Москву — с войны,
где мы собирались отыграться,
свое получить мы были должны,

на полпути, в одном государстве
в каком-то царстве, житье-бытье,
она сказала мне тихо: «Здравствуй!»,
когда я поднял глаза на нее.

Мужчины и женщины этого года,
одетые в формы разных держав,
зажатые формой, имея льготу
на получение жизни одной,

мужчины и женщины разных наций,
как будто деревья разных пород,
разноголосицу всех интонаций
сливали в единый язык и народ.

Сливали и славили то, что выжили,
что живы, что молоды все почти,
что нынче лучше вчерашнего, выше ли,
потом разберемся, по пути.

Дела плоховатые стали плохими.
Потом они стали — хуже нет.
Но я познакомился с женщиной; имя,
имя было Жанет.

А что я, стану рыться в паспорте?
Она была Жанет — для меня.
Мне было тогда, как слепцу на паперти.
Она пришла, беду смепя.

Беду, которая дежурила
бессменной сиделкой над головой,
она обманула, то есть обжулила.
Я понял, что я молодой и живой.

А все это было в 45-м
году, и сразу же после войны
на том пути обратном, попятном,
пройти который мы были должны.

Песня

На перекрестке пел калека.
Д. САМОЙЛОВ

Ползет обрубок по асфальту,
какой-то шар,
какой-то ком.
Поет он чем-то вроде альта,
простуженнейшим голоском.

Что он поет,
к кому взывает
и обращается к кому,
вокруг улица зевает?
Она привыкла ко всему.

— Сам — инвалид.
Сам — второй группы.
Сам — только год пришел с войны.—
Но с ним решили слишком грубо,
с людьми так делать не должны.

Поет он мысли основные
и чувства главные поет
о том, что времена иные,
другая эра настает.

Поет калека, что эпоха
такая новая пришла,
что никому не будет плохо
и не оставят в мире зла,

и обижать не будут слепых,
и больше пенсию дадут,
и все отрубленные ноги
сами собою прирастут.

☆☆☆

Как выглядела королева Лир,
по документам Королёва Лира,
в двадцатые — красавица, кумир,
в конце тридцатых — дребезги кумира?

Как серебрилась эта седина,
как набухали этих ног отеки,
когда явилась среди нас она,
размазав по душе кровоподтеки.
К трагедии приписан акт шестой:
дожитие. Не жизнь, а что-то вроде.
С улыбочкой, жестокой и простой,
она встает при всем честном народе.

У ней дела! У ней внучата есть.
Она за всю Европу отвечала.
Теперь ее величие и честь —
тянуть все то, что начато сначала.

Все дочери погибли. Но внучат
она не даст! Упрямо возражает!
Не славы чад, а просто кухни чад
и причечной седины окружает.

Предательницы дочери и та,
что от нее тогда не отказалась,
погибли. Не осталось ни черта,
ни черточки единой не осталось.

Пел занавес, и публика ушла.
Не ведая и не подозревая,
что жизнь еще не вовсе отошла,
большая, трудовая, горевая,

что у внучат экзамены, что им
ботинок надо, счастья надо вдоволь.
Какой пружиной живы эти вдовы!
Какие мы трагедии таим!

Публикация Ю. БОЛДЫРЕВА

Галина
ВИШНЕВСКАЯ

СОЛЖЕНИЦЫН И РОСТРОПОВИЧ

Когда Мстислав Ростропович, открывший новую страницу в истории мировой музыкальной культуры, великий виолончелист, для которого писали свои сочинения Прокофьев и Шостакович, Хачатурян и Бриттен, незаурядный дирижер, пианист, совершил подлинно гражданский поступок, дав приют в своем доме гонимому Александру Солженицыну, и был в конечном счете вынужден, как и его жена, прославленная певица Галина Вишневская, искать применение своим талантам за рубежом, где в марте 1978 года вдруг узнал, что и он, и Вишневская лишены советского подданства, он адресовал Л. И. Брежневу знаменательные слова: «В Ваших силах заставить нас переменить местожительство, но Вы бессильны переменить наши сердца, и где бы мы ни находились, мы будем продолжать с гордостью за русский народ и с любовью к нему нести наше искусство».

Ростропович сейчас является главным дирижером и художественным руководителем Вашингтонского национального оркестра, который недавно впервые исполнил «Стихиру» Родиона Щедрина, написанную к 1000-летию христианства на Руси. И вместе с советскими и зарубежными артистами Ростропович выступал в благотворительных концертах в пользу жертв землетрясения в Армении. Союз композиторов СССР восстановил Мстислава Ростроповича в своих рядах, и остается ждать, что как ему, так и Галине Вишневской будет возвращено наконец и советское гражданство.

В этом номере мы начинаем публикацию (с некоторыми сокращениями) заключительных глав из автобиографической книги Галины Вишневской «Галина», изданной в 1985 году в Париже, в которых рассказывается, как Ростропович принял участие в судьбе Солженицына...

На снимке: Александр Солженицын, Мстислав Ростропович, Наталья Светлова (жена Солженицына) и сыновья Солженицына Ермолай и Игнатий.

Слава познакомился с Александром Исаевичем весной 1968 года, приехав на концерт в Рязань. Перед выходом на сцену он узнал, что в зале присутствует Солженицын. Ему, конечно, захотелось познакомиться со знаменитым писателем. Он думал, что тот зайдет к нему за кулисы после концерта, но Александр Исаевич уехал домой. Тогда Слава раздобыл его домашний адрес и на другой день утром просто заявился к нему:

— Здравствуйте. Я — Ростропович, хочу с вами познакомиться.

Солженицын жил в маленькой квартирке на первом этаже, и Слава был удивлен стесненностью и убожеством быта знаменитого писателя. Кроме него с женой, в квартире жили еще две престарелые тетки жены. За окнами круглые сутки так грохотали проезжавшие машины, что дрожали стекла, не говоря уже о том, что даже форточки нельзя было в доме открыть: район Рязани отравлен выпусками химических заводов.

Вскоре Александр Исаевич приехал в Москву и был у нас дома, но мне не пришлось тогда с ним познакомиться — я была на гастролях за границей. Слава же еще несколько раз виделся с ним у общих знакомых. Однажды, встретив дочь писательницы Лидии Чуковской, узнал от нее, что Солженицын болен, что живет он сейчас в деревне Рождествo, где у него есть своя маленькая дачка. Слава сел в машину и тут же поехал навестить его.

Во времена хрущевского правления дали людям в частное пользование маленькие — в шесть соток — клочки земли, так называемые садовые участки, для обработки под огороды, и разрешили построить на них домики, но без отопления и не больше чем в одну комнату, чтобы хватило места лишь укрываться от дождя летом да держать садовый инвентарь[...]

Вот в такой хижине на садовом участке на Киевском шоссе и нашел Слава Солженицына, приехав к нему в дождливый и холодный осенний день. Она была единственным местом, где он мог в тишине работать, живя там с ранней весны до наступления холодов[...]

У Александра Исаевича оказался острейший радикулит, который он получил, живя в этом сыром, неотапливаемом помещении, и нужно было немедленно уезжать, перебираться обратно в Рязань, что означало: прощай работа! Кроме того, приближалось исключение из Союза писателей, после чего Солженицын становился бесправным, беззащитным.

Естественно, что, увидев в таком отчаянном положении своего нового друга, Слава тут же и предложил ему переехать на всю зиму к нам в Жуковку. Мы закончили тогда постройку на нашем участке небольшого дома для гостей. В одной половине сделали гараж, а в другой — хорошую двухкомнатную каартиру с кухней, ванной, верандой. Отопление провели от большого дома.

Нечего и говорить, с каким волнением я ожидала появления Солженицына в нашем доме. Как назло в таких случаях, опять у меня не было домработницы, и я с девчонками тащила на себе кровати, кухонную и столовую мебель из нашего дома в будущий дом знаменитого писателя. Особую заботу доставили мне портьеры. Купить негде, шить же новые не было времени. И я, сорвав свои с третьего этажа нашего дома, повесила их в его будущий кабинет. Из американской поездки я привезла их — белые с синими разводами — и все приставала к Славе: хорошо ли, что я Александру Исаевичу такие занавески повесила? Не слишком ли модерно и не будут ли они действовать ему на нервы? Какой у него вкус? Может, он любит старину?

А Слава единственно, что помнил из виденного в Рязани,— это рыжую бороду Солженицына да двух старух по углам тесной квартиры. Да и в самом деле, в молодости всю войну на фронте, потом десять лет в тюрьме и лагерях, тут и в голову не придут его бытовые запросы. Наверное, вообще их у него и нету.

И вот рано утром 19 сентября 1969 года, выглянув в окно, я увидела на нашем участке старенькую машину «Москвич». Слава сказал, что в шесть часов утра приехал Александр Исаевич, оставил свои вещи, а сам уехал в Москву поездом и через несколько дней вернется, чтобы поселиться уже окончательно.

— Ну, как, доволен ли? Дом-то понравился ему? Пойдем посмотрим, как он расположился, может, помочь ему, в чем нужно, поставить еще мебель какую-нибудь...

Заходим в дом, и я хозяйским глазом вижу, что ничего не изменилось, никакого нового имущества нет. Лишь на кровати в спальне узел какой-то лежит. Зашла в кухню — тоже ничего нет, кроме того, что я оставила. Может, он машину еще не разгрузил?.. Вернулась в спальню. Что же за узел такой? Оказывается, это старый черный ватник, стеганый, как лагерный, до дыр заношенный. Им обернута тощая подушка в залатанной наволочке, причем видно, что заплаты поставлены мужской рукой, так же, как и на ватнике, такими большими стежками... Все это аккуратно связано веревочкой, и на ней висит алюминиевый мятый чайник. Вот это да! Будто человек из концентрационного лагеря только что вернулся и опять туда же собирается. У меня внутри точно ножом полоснуло.

— Слава, это что же, «оттуда», что ли?

Мы стояли над свернутым узлом, бережно хранившим в себе, в обжитых складках и заплатах, человеческие муки и страдания, не смея прикоснуться к нему руками. Значит, так и возит Александр Исаевич свое драгоценное имущество с места на место, никогда с ним не расставаясь, и, пройдя свой каторжный путь, не позволяет себе его забыть?

Так передо мной предстала сначала судьба Солженицына, и лишь через несколько дней появился он сам. Светловолосый, плотный мужчина, хорошего среднего роста, рыжая борода, ясные серо-голубые глаза с лихорадочным блеском, нервный, звонкий голос.

— Ну, давайте знакомиться, Галина Павловна. Меня зовут Саша.

— Так бросьте церемонии и зовите меня Галей.

— Спасибо. Я вам и Стиву (так он звал Славу) бесконечно благодарен за ваше великодушное приглашение, да вот боюсь, не стесню ли вас.

— Да что вы говорите! Ведь дом пустой стоит. Мы счастливы, что вы согласились жить в нем. Я все волнуюсь, что вам недостаточно удобно, дом-то небольшой.

— Галочка, я никогда еще в такой роскоши не жил, для меня это как во сне, а вы говорите — неудобно... И место такое чудесное, сад, а тишина-то какая! Вот благодать — дом, работа. Господи боже мой!.. У меня только к вам просьба: разрешите поставить где-нибудь в глубине сада стол и скамейку для работы. У меня есть знакомый старик-столяр, он приедет и смастерит, если вы не возражаете. И еще я должен привезти сюда свой письменный стол — я к нему привык.

— Да везите что угодно! Располагайтесь так, чтобы жить здесь было вам приятно и удобно.

Вскоре, приехав на дачу, я познакомилась с женой Солженицына — Наташей Решетовской, большеглазой, хрупкой женщиной. Я мало с нею встречалась, она жила у нас только первую зиму. Но я помню свое первое впечатление от знакомства с нею, когда они зашли к нам на чашку чая. Я сказала тогда Славе: «Какой странный брак. Когда они поженились?»

Бывает такой тип женщин в России, тип вечной невесты из провинциального дворянского гнезда. Они были одногодки, но она, в юности писавшая стихи, игравшая Шопена, так и осталась маленькой холодно-воспитанной барышней, только стала на тридцать лет старше... Детей у них не было.

В тот вечер мы сидели за столом, увлеченные беседой (с самим Солженицыным!), и вдруг Наташа упорхнула от нас в комнату рядом и (...) заиграла на рояле что-то Рахманинова, Шопена (...).

Александра Исаевича передернуло, он опустил глаза, как бы стараясь сдержаться, потом посмотрел на Славу:

— Ну, уж при тебе-то могла бы и не играть, а?

Я тогда подумала, что не такая уж беда, если женщина из желания быть «интересной» в присутствии знаменитого музыканта садится за рояль музицировать. Но если мужу ее от этого становится неловко — это другое дело.

КАК Я СТАЛ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ

Рассказывает Юрий ЩЕРБАК

ЮРИЙ ЩЕРБАК родился в 1934 году в Киеве, украинец, беспартийный. Писатель, доктор медицинских наук. Председатель украинской экологической ассоциации „Зеленый світ". Женат, имеет двоих детей.

ЮРИЙ ЩЕРБАК – это 30 лет жизни, отданных борьбе с эпидемиями особо опасных инфекций на Украине и в Узбекистане.

ЮРИЙ ЩЕРБАК – это правда о трагедии в Чернобыле, это голос писателя-публициста в защиту человека и природы, против строительства АЭС на Украине.

ЮРИЙ ЩЕРБАК – это позиция честного гражданина за Перестройку, против засилья бюрократического аппарата, за создание правового государства.

ЮРИЙ ЩЕРБАК – это программа улучшения здравоохранения и социальной опеки, борьба за здоровую экологическую среду.

ЮРИЙ ЩЕРБАК – это ответственность перед народом, независимость от министерств и ведомств, принципиальность в отстаивании интересов избирателей.

— Никогда не думал, что могу стать народным депутатом СССР. При существовавшей политической системе я был абсолютно обречен. Я был типичным аутсайдером: беспартийный, жена иностранка — подданная Польши... Писатель какой-то... в общем, много было факторов, которые работали против меня в те времена, когда депутата не выбирали, а назначали. Поэтому мне и во сне не могло такое присниться...

— *Как вас впервые выдвинули и кто выдвинул?*

— За несколько дней до Нового года мне позвонил какой-то человек, сказав, что он с завода — с какого завода, я не понял,— и спросил: «Как вы относитесь к тому, чтобы мы вас выдвинули народным депутатом?» Я сказал: «Позвольте, я возьму стул, не то упаду сейчас». Решил, что это розыгрыш... А когда выяснилось, что это не розыгрыш и моего согласия на выдвижение просят с Киевского механического завода имени Антонова — это бывшее КБ Антонова, — я подумал: на заводе, где я никогда не бывал и даже не знал точно, где он расположен, никаких шансов у меня нет. И отказался. Но пришли люди с завода и уговорили меня не снимать свою кандидатуру, потому что несколько цехов меня все-таки выдвинули. Окончательный выбор предстояло сделать заводской конференции, ибо выдвинуто было около десяти человек, среди них и генеральный конструктор Балабуев...

— *Как вы думаете, почему рабочие выдвинули вас?*

— Моя документальная повесть «Чернобыль», напечатанная в журнале «Юность», имела большой резонанс. Я крестник «Юности». На всех предвыборных встречах звучало: «Чернобыль».

— *А ваша деятельность как лидера «зеленых»?*

— Одно с другим неразрывно связано. До аварии я вообще не знал, что такое атомная электростанция. Честно говоря, меня и не очень волновали эти дела. Знал лишь, что построили где-то там станцию, абсолютно, как говорили, безопасную... И только когда все это увидел, я понял, на каком волоске мир держится и к каким последствиям может привести безудержное развитие атомной энергетики. И с тех пор включился в борьбу против строительства новых блоков.

В конце 1987 года по инициативе группы ученых и писателей при Украинском Комитете защиты мира образовалась экологическая ассоциация «Зелений світ». Ассоциация была задумана как союз чувств и знаний. Если я председатель, то заместитель мой — Дмитрий Михайлович Гродзинский — радиобиолог, радиоэколог, член-корреспондент Академии наук Украины. Энергетики расшифровали нам энергетический баланс Украины. Проблемы энергетические должны решаться сейчас не наращиванием мощностей — будь то тепловые или атомные станции, — а изменением структуры промышленности, потому что на Украине очень энергоемкая обрабатывающая, рудодобывающая промышленность. Изобретенная у нас непрерывная разливка стали используется лишь на 6—8 процентов, в Японии же — на 99, а это гораздо менее энергоемкий способ, чем наши мартеновские печи. То есть западные, передовые в технологическом отношении страны произвели и здесь качественный скачок. Сейчас у нас на единицу национального продукта приходится в два—четыре раза больше энергозатрат, чем в США и Японии. А нам говорят: есть потребность в электроэнергии — будем строить электростанции. Этот путь ведет в тупик!

Проблемы экологии, естественно, превалировали и в моей предвыборной программе. Я настаивал и на том, чтобы рассекретить все данные медицины по Чернобылю... Наши врачи повязаны подписками о неразглашении, они, как правило, не сотрудничают с зеленым движением — боятся. Но надо проломить стену секретности! Я предлагаю принять указ об уголовной ответственности врачей за сокрытие фактов, связанных с экологической ситуацией. Человек имеет право на жизнь, а раз так, он должен знать, какие опасности его поджидают в том или ином городе. Заводы, отравляющие среду, должны выплачивать людям компенсацию за потерю здоровья. Ведь цифры по Украине ужасающие. На 7—8 лет меньше продолжительность жизни у мужчин, на 4—5 — у женщин по сравнению с развитыми странами. Еще десять лет назад 30 процентов рожениц имели отклонения от здоровья, теперь же — 70 процентов. Я говорил людям: на мой взгляд, главным критерием эффективности социально-экономической системы является здоровье народа, а не количество тонн стали на душу населения. О чем можно говорить, если мы занимаем 32-е место в мире по продолжительности жизни, 50-е по смертности детей до года? Как видите, эти вопросы — экологии, здравоохранения и информированности — переплетались в моей программе. Притом все это выполнимо. И еще. Я предложил внести в Конституцию право человека жить в экологически чистой среде как неотъемлемое право человека. Если это будет записано в Конституции — впервые в мире! — то гораздо легче будет решать эти вопросы. А пока наши кобзари поют... экологические думы!

— *Давайте возвратимся к вашему выдвижению. Итак, вы пришли на заводскую конференцию в антоновскую фирму...*

— На конференции я увидел, как всколыхнула всех избирательная кампания, и подумал: Боже мой! Наш народ был лишен одной из великих страстей, мужских страстей, — возможности заниматься политикой! Это очень обедняло жизнь. Я смотрел на этих ребят и думал: одни ходят на футбол, другие пьют, а эти — такие чистые люди! — занялись политикой. Было тайное голосование, и я получил 286 голосов, Балабуев — 82 голоса... И, таким образом, я был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР от Механического завода по Жовтневому избирательному округу.

Мое выдвижение шло по Киеву как цепная реакция, и на большей части собраний я физически не мог присутствовать. В итоге выдвинули меня около двадцати трудовых коллективов. По национально-территориальному округу, по Жовтневому, в других районах... Но я не раз убеждался, что эти неожиданные мои выдвижения командно-административную систему особо не радовали. В Минском округе, например, где было изначально решено выдвинуть двух женщин-рабочих и никого больше не пускать (забегая вперед, скажу, что обе они не прошли), со мной приключилась такая история. Когда меня выдвигали в НИИ сверхтвердых материалов, меня, естественно, пригласили на собрание. Я уже готовился ехать, как вдруг звонок: администрация не дает

мне пропуск. Видите ли, это закрытое предприятие! На этом собрании выступил директор института член-корр. Академии наук УССР Н. В. Новиков, который сказал, что звонил в Институт эпидемиологии и инфекционных болезней, где я прежде работал и защитил с самыми высокими отзывами докторскую диссертацию, и будто там ему сказали, что эта моя работа никуда не годится, и вообще дали мне самую нелестную характеристику. Я позвонил Новикову и попросил сообщить мне, с кем он разговаривал в институте. Он ответил, что не скажет. Я спросил: как он смел меня оклеветать? Но вразумительного ответа я не получил... Тем не менее я был избран в этом институте подавляющим большинством голосов кандидатом в депутаты. Однако протокол не был принят, хотя никаких нарушений не было. Но это особая, почти детективная история...

Знали бы вы, сколько грязи было вылито на меня в те дни моими чиновными недоброжелателями! Побывал я и в жидомасонах, и в украинских националистах, в агентах ОУН, выступал даже... «за памятник Бендере». И отец у меня был не тот, какой надо, и брат сидел. Да, сидел. В 1948-м брат, студент двадцати одного года, был схвачен органами в Киеве и осужден Особым Совещанием на семь лет. Был амнистирован и сейчас является одним из ведущих герпетологов страны (специалистом по змеям и рептилиям), заслуженным деятелем науки Украины. А когда стало ясно, что все эти инсинуации лишь делают мне шумную рекламу, в ход пошли анонимные листовки, распечатанные на ЭВМ, в которых доверительно сообщалось, что жена моя — иностранка, и, мало того, у меня есть счет в швейцарском банке... С таким «капиталом» я и подошел к окружному собранию Жовтневого избирательного округа.

Нас, претендентов, было одиннадцать, из них человек восемь — гендиректора. Об этом стоит особо сказать, такой вот расцвет демократии. Прежде, когда места в Верховном Совете распределялись, то и рабочих, и беспартийных, кстати, было больше. Когда директору говорили, что он должен выдвинуть, положим, молодого вальцовщика — комсомольца до тридцати лет, — то он беспрекословно выполнял указание, и ему в голову не пришло бы выдвинуться самому. Но когда сказали, что у нас в стране демократия... На многих предприятиях начали выдвигать директоров, так как система замыкается на них, все рычаги управления в их руках. Было смешно читать в «Вечерке», как рабочие отказывались в пользу своих директоров. Мол, Иван Иваныч такой гений, и его программа полностью совпадает с моей, так пусть он нас и представляет. И вот я попал в такую кампанию. И длилось это представление тринадцать часов. Потрясающий политический театр, для всех — впервые.

— А каков был состав окружного собрания? У нас в Москве, в Свердловском избирательном округе, подобное собрание выдвинуло кандидатами в депутаты трех директоров, «отфильтровав» такого популярного артиста и общественного деятеля, как Юрий Никулин. А к чему это привело? Двое директоров, не набравшие — вместе! — и половины голосов избирателей, продолжили борьбу, и при повторном голосовании, в котором приняли участие лишь 51,6 процента избирателей, один из них был избран наконец депутатом. Но этот народный депутат не обрел поддержки даже одной трети избирателей округа!

— Каждый из нас был представлен выборщиками, но больше половины зала было собрано непонятно как. Темная и загадочная история, как и везде. Ясно, что система формировала свои команды и имела контрольный пакет акций. Но они пересолили — это показали результаты выборов. Пересолили даже с записками. У меня полный ящик записок — это кардиограмма настроений народа, лет через 20 — 30 этим документам цены не будет... Но сколько же там провокационных и грязных вопросов типа тех, о которых я рассказывал. Или вот: почему вы на Чернобыль ничего не дали, зарабатывая миллионы рублей? Я нигде этим не похвалялся, но тут пришлось сказать, что первый же гонорар в «Юности» за свою повесть я перевел на чернобыльский счет. После очередной провокационной записки я сказал: товарищ такой-то, я очень хочу с вами познакомиться. Я отвечу вам, только, пожалуйста, встаньте. В зале шум, все смотрят по сторонам. Но никто не встает. Секретарь собрания: «Как фамилия? Такого нет». (Потом оказалось, что десятки записок были подписаны несуществующими людьми.) Я говорю: вы клеветник, подонок, но вы еще и трус. Зал аплодирует мне. Откуда, спросите, мне известно, что это системные вопросы? В тот же день шло собрание национального округа, где выдвигались первый секретарь горкома К. И. Масик, я, Иван Драч... И там Драчу задали тот же вопрос о Швейцарском банке... А наше собрание решило открытым голосованием, что в кандидатский список вносятся трое. А голосование по кандидатурам уже тайное. Ночь. Идет подсчет голосов. Наконец сообщают: больше 50 процентов набрал только ректор Политехнического института Таланчук. Гендиректор завода «Большевик» Извеков и я недобрали голосов сорок до этой нормы. Таким образом, заявляет председатель, в список вносится товарищ Таланчук. Все устали, уже никто ничего не соображает — расходятся. Наутро припоминают, как же так? Ведь решили вносить троих! Мы не выполнили свое же решение! Потом ездили в Центризбирком, так подтвердили, что да, неправильно, но... Кампания проводилась по срокам так, что, пока обернется протест, время уходит. Итак, был зарегистрирован Таланчук, а я, имевший больше всего надежд на этот округ, пришел домой как после бокса — я занимался когда-то боксом, — и сказал жене: больше в этой грязи не участвую.

Но ровно через неделю приходят ко мне незнакомые люди и говорят: мы же вас выдвинули по Шевченковскому округу! Оказывается, один научно-исследовательский институт выдвинул меня, и протокол, как ни странно, приняли. Я сказал, что не пойду на окружное собрание. Мне говорят: вы себе уже не принадлежите, вам люди поверили, вы должны бороться. И брат: мужик ты или нет? И я пошел, понимая, что система меня не пропустит, что в прошлый раз у меня были выборщики от шести коллективов, а теперь — от одного... К этому времени в трех округах Киева уже было зарегистрировано по одному кандидату — Масик, Згурский и Таланчук, две работницы в четвертом. И оставались только два собрания — в Ленинском округе и Шевченковском. У зданий, где проходили эти два собрания, люди стояли с плакатами: оставьте нам право выбора. Была суббота. А в понедельник ожидался Горбачев. И это сработало.

И вот мы сидим, одиннадцать гладиаторов, и по запискам я понимаю, что что-то произошло. Ни одной провокационной записки! Такое ощущение, что кто-то, державший меня за горло, отпустил руку. Были острые вопросы, но грязных не было. Я говорил, что не собираюсь делать политическую карьеру, останусь писателем, а сюда меня привели две вещи: стыд и тревога. Стыд за состояние страны, до которого ее довели сталинские сатрапы и брежневские коррумпированные элементы. Стыд за все наши дефициты: от дефицита свободы до дефицита в магазине. За уровень смертности детей. За бедность стариков. И тревога — за судьбу новорожденной демократии, которая уже задыхается в стальных объятиях командной системы и может погибнуть. И ярчайший пример тому — наши окружные собрания. Мы, на Украине, снова бьем все рекорды по части стагнации...

После тайного голосования в списке остались пять человек: инженер В. П. Иванин, полковник Ю. А. Смирнов — они набрали больше меня, академик Ю. Н. Пахомов, писатель В. А. Яворивский и я. Мы вышли на улицу и услышали сенсационную новость: по Ленинскому округу зарегистрировано целых семь человек, в том числе Драч и Амосов. Ничего не стоят умозрительные бюрократические схемы! Там, где оставили одного-двух, там были новые выборы, за единственным исключением. А где оставили помногу, там прошли с первого раза Амосов и я.

В газетах можно было прочесть, как первый секретарь горкома, оправдывая свое поражение на выборах, врубил аппаратчикам за то, что они плохо его пропагандировали. Что ж, те пропагандировали, как умели, по-казенному. А у меня была команда энтузиастов, в основном состоявшая из так называемых неформалов разных направлений.

— Как вы вели агитационную кампанию?

— Тут как раз вышел фильм «Микрофон» Укркинохроники — фильм о трагедии Народичского района Житомирской области (в ста километрах от Чернобыля), куда упали радиоактивные осадки и где высокое загрязнение почвы. Часть местных жителей переселены, а часть — остались, хотя их тоже надо переселять. Снял фильм Георгий Шкляревский по сценарию Владимира Колинько, а я ездил с ними — они снимали, как я расспрашиваю людей. Женщины плачут, указывают на детей, у которых увеличена щитовидная железа, и говорят, что от них скрывают результаты анализов. На ферме ветеринарный врач рассказывает, сколько уродств появилось в этом году. Снят поросенок-циклоп, что характерно для радиоактивных генетических поражений... В одном эпизоде дозиметрист стоит возле жилого дома и показывает: 2,6 миллирентген в час — это в сто раз выше нормы...

И в финале снят экологический митинг в Киеве, где я выступаю, говоря, что пора рассекретить все эти данные, сказать людям правду. И вот авторы фильма любезно предоставили мне копию, а мои доверенные лица ходили по району и устраивали просмотры. И мои выступления начинались или кончались, как правило, этим фильмом.

— *У вас были встречи с молодыми избирателями?*

— Рок-группа «СССР» и поэт Юрий Рыбчинский, печатающийся в «Юности», предложили мне сделать программу. Но на программу пришло так много пенсионеров, что я даже испугался — все-таки хэви-металл... Ну, думаю, что они скажут! Народный кандидат играет рок. И когда мне дали синтезатор и я сыграл мелодию старого рока, старики покосились.., но ничего. Потом ребята пели «Разыскивается особо опасный преступник» — о Сталине, об Афгане пели...

Я говорил на встречах, что нужен, конечно, закон в защиту прав молодежи — это социально уязвимая группа, нужна молодежная программа. Спрашивали о стипендиях. Думаю, здесь нужны общественные фонды. Не комсомольских активистов, не выдвиженцев старого толка отличать, а действительно талантливых людей. Скажем, какой-то процветающий завод замечает будущего специалиста и платит ему стипендию. Когда приезжали в Киев представители Комитета молодежных организаций ЮНЕСКО из двадцати стран Европы и Америки, они захотели встретиться со мной. Словом, молодежь поддерживала меня. Может быть, и престиж «Юности» тут сработал.

— *С какими проблемами обращались к вам избиратели? Какие вопросы задавали чаще всего?*

— Были потрясающие встречи. Я наполнен энергией людей, которые поверили, что можно изменить нашу жизнь — жить лучше, достойнее. Очень много было вопросов об экологии, о загрязнении продуктов питания радионуклидами, об отсутствии информации на эту тему. Я говорил, что надо местным Советам проверять и контролировать продукты, заслушивать информацию на сессиях, сообщать населению, сколько отбраковано, из каких районов... В связи с тем, что в Киеве понижен иммунный статус 80 процентов людей — это данные за прошлый год, хотя нельзя утверждать, что это связано с Чернобылем, — то вопрос: как это корригировать? Почему бы городским властям не объяснять людям, как надо питаться, что предпринимать, чтобы радионуклиды выводить? Какие витаминизированные продукты употреблять? По крайней мере для детских учреждений сделать программу витаминизации... Я предлагаю создать центр по борьбе со СПИДом. В Киеве трое больных клинической формой СПИДа, 28 зараженных, и еще не все выявлены.

Очень остро стоял вопрос о недоверии к аппарату, о многопартийной системе. Спрашивали, что я думаю о Щербицком,— может ли он руководить Компартией Украины. Я говорил, что, на мой взгляд, не может и что я ему сочувствую. А по поводу многопартийности говорил, что подлинный плюрализм, конечно, требует многопартийности. Но я говорил и о том, что разрушать сейчас сложившуюся в стране политическую систему нельзя, что КПСС — это единая интегрирующая сила общества, и если мы введем многопартийность, то возникнут партии эстонские, азербайджанские, но единой партии, другой реальной силы, которая объединяла бы всю страну, я не вижу. Другое дело, что сама партия должна решительно демократизировать себя.

— *Ближе к выборам ваши «доброжелатели» уже утихомирились?*

— Напротив. За день до выборов в «Прааде Украины» была опубликована статья некоего Мороза, как оказалось, партийного функционера. Он писал, что в повести «Чернобыль» я оплевываю партийных работников, отрицательно отзываясь о Маломуже, бывшем втором секретаре обкома, и о Гаманюке, бывшем первом секретаре Припятского горкома партии, который, кстати, после аварии был сурово наказан. И эта статья сработала на меня лишь как реклама. Но я подумал: ведь у меня в повести большинство героев, настоящих,— члены партии. Это сталкеры, это пожарные, это Телятников, Белоконь, Эсаулов, Гуренко — секретарь ЦК Компартии Украины, избранный народным депутатом...

— *И нашу редакцию после опубликования «Чернобыля» не устает обстреливать письмами некий «общественный комитет в защиту В. Маломужа», утверждая, что вы опорочили безвинного человека и вам придется держать ответ на суде.*

— Безвинного? У меня есть свидетельство начальника гражданской обороны ЧАЭС Воробьева о том, что именно Маломуж не позволил своевременно подать сигнал радиационной тревоги. Воробьев и десятки других людей, слышавшие от Маломужа, что все в порядке, в 10 часов утра 26-го, когда уже сотни человек были поражены лучевой болезнью,— эти люди будут свидетелями в суде. И в материалах Правительственной комиссии сказано о роли Маломужа. Маломуж знает имена тех, кто дал ему указание глушить информацию, пусть он их хотя бы в суде назовет! И я, и матери припятских детей предъявим ему в этом случае встречный иск. Я помню, как на одном митинге перед выборами появился человек из этого «комитета в защиту...» и стал против меня говорить. Я попросил этого человека представиться, он отказался. Тогда я сказал, что припятчане не хотят подавать в суд на Маломужа. Народ набросился на этого человека, и он слинял, затерялся в толпе. Так остро люди реагируют на все, что связано с утайкой информации.

— *Что вы делали в день выборов?*

— Я верю в судьбу. Почти фаталистически. Я сказал жене и детям: как решится — так и решится. Я все сделал, что мог, сделал честно.

В то воскресенье, 26 марта, в Киеве был дождливый день. Я пошел проголосовал по своему округу. Проголосовал за Драча — пусть Николай Михайлович Амосов меня извинит. Пусть меня извинит Константин Иванович Масик, но я вычеркнул его, показав свое отношение к отсутствию выбора. Потом мы с женой пошли на могилу к моей маме...

Мама умерла 21 января, в разгар предвыборной кампании. Я тогда существовал как бы в черном туннеле, в двух уровнях... Накануне сидел на выдвижении в НИИ ботаники и понимал, что должен быть не здесь. Я места себе не находил. Оттуда надо было ехать на выдвижение в университет, но я поехал в больницу. Приезжаю, а маму из палаты, из кардиологии, перевели уже в реанимацию. Туда не пускали. Я сказал дежурному: я врач, я писатель, я никогда не прощу себе... Он меня знал и пустил. И я еще маму увидел, поговорил с ней. А вышел — заплакал, понял, что больше ее не увижу...

В день выборов была польская пасха. Мы вернулись домой и отметили ее. Мария что-то приготовила. Я отключил телефон, понимая, что будут бесконечно звонить с участков — моих наблюдателей было там человек 50—60 — и кричать, что идет нарушение закона. Я решил даже близко не подходить к избирательным участкам.

Я думал, хорошо было тем, кто выдвигался по куриям. Семьсот пятьдесят человек сели в золотую карету, сделали нам ручкой и уехали, а мы, как саперы, поползли к своему депутатству. А я думаю, что и каждый член Политбюро должен стоять перед рабочими и отвечать на вопросы о тех же ведомственных больницах. Принцип должен быть один — территориальный. Иван Николаевич Салий, первый секретарь Подольского райкома партии, очень нестандартный человек, выдвинувшийся вместо Масика по национальному округу, сказал замечательно: результаты выборов свидетельствуют, что теперь, прежде чем стать лидером партии, надо получить всенародное признание. То есть порядок обратный по сравнению с прежним...

Где-то в половине двенадцатого ночи раздался звонок в дверь. Стоят мои доверенные лица, Виктор Михайлович Черинько и Владимир Митрофанович Солопенко, в чрезвычайном возбуждении: «Мы побеждаем». Я стал говорить «чур вас» и стучать по дереву. Но они уже просчитали, что на большей части участков я иду с подавляющим преимуществом. Я сказал: все же давайте подождем результатов. Они ушли. Я открыл окна, была теплая влажная весенняя ночь... Позвонил Михаилу Борисовичу Погребинскому, моему доверенному лицу, который сидел в окружной комиссии,— к нему сходились сводки. Он подтвердил: такая тенденция есть, позвоните в семь утра. Но я проспал! А в восемь часов он уже уехал, бедный, после бессонной ночи, на работу. О победе мне сообщила его жена. И тут начались звонки. Мы снова отключили телефон и тихо сидели — в польском консульстве был выходной день, и жена была дома — справляли пасху, красили яйца...

Вот, собственно, и вся история.

Беседу записал
Рустам РАХМАТУЛЛИН.

НА КОЛЕНИ — ПЕРЕД СМЕРТЬЮ?

Разговор с оппонентом публикации «Убивающий миф»[1]

— А если вдруг еще... «Чернобыль»?
— Тогда я встану на колени.
— Можете гарантировать, что такое больше не случится?
— К сожалению, не могу.
— Но где же тут логика? Вы отстаиваете неприкасаемость ядерной энергетики, не отрицая возможности повторения катастрофы. Перед кем же тогда на колени, если случится вновь смертельная беда?..
(Фрагмент разговора.)

Однако прежде чем он состоялся, этот разговор с оппонентом, в редакцию поступила рукопись доктора физико-математических наук Н. С. Работнова, сопровождаемая письмом первого заместителя председателя Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР Б. А. Семенова. И с грифом: «Разрешается к опубликованию в открытой печати». Заметим, точно таким, каким была помечена и наша беседа с социологом, юристом Б. А. Куркиным. И тем не менее, как выяснилось, именно она и побудила отозваться указанное ведомство и уважаемого ученого. Следует добавить, что в результате сокращений, произведенных комитетом (и пока что обязательных к исполнению всеми редакциями) при визировании им «Убивающего мифа», нами были допущены две досадные опечатки. Приводим первую. В оригинале беседы говорилось: «Уже сегодня валовое водопотребление **всеми** станциями Минэнерго в европейском регионе превысило 100 кубокилометров в год...» В журнале вместо подчеркнутого нами здесь слова **всеми** возникло другое — **атомными,** что существенно и недопустимо исказило истинный смысл сказанного Б. А. Куркиным. В другом абзаце было написано: «А теперь прибавим к этому радиоактивные выбросы предприятий по добыче и обогащению ядерного топлива, во время его транспортировки к реакторам, **а затем к местам переработки и захоронения».** К сожалению, во время поспешного (в номер) переноса вышеупомянутых купюр Главатома подчеркнутое нами окончание фразы выпало. Это особенно досадно, учитывая, что имеено отработанное топливо, в тысячи раз превышающее по уровню радиоактивности «свежее», представляет собой особую опасность при обращении с ним и перевозке. Нельзя не заметить, однако, что Николай Семенович Работнов в своем критическом анализе нашей публикации, естественно, акцентировав внимание на этой злополучной недоговоренности и написав, что свежие ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы для реакторов) слабо радиоактивны и их «можно брать в руки», сам же тотчас оговаривается: «Разумеется, их нельзя собирать вместе слишком много и плотно упаковывать — не забудем про критическую массу».

И тем не менее мы, разумеется, ни в коей мере не намерены уклоняться от ответственности за допущенные неточности и приносим за них свои извинения Б. А. Куркину, нашим читателям и специалистам в области ядерной энергетики.

[1] «Юность», 1989, № 1.

Остается вопрос: как быть с рукописью уважаемого ученого? Опубликовать ее? Естественно. Тем более что живем в эпоху гласности и плюрализма мнений. Но, дочитав до конца статью нашего оппонента, мы остановились на двух завершающих фразах: «Отнюдь не подвергая сомнению право редакции публиковать любые высказывания по любому вопросу, считаю тем не менее, что нужно представлять слово и людям, которые, говоря о ядерной энергетике, по крайней мере понимают, о чем говорят. Это не значит, что им надо верить на слово, но аргументы стоит выслушать...» Почему не воспринять этот призыв в буквальном смысле? И вместо достаточно традиционной, перерастающей порой в затяжные перепалки рукописной полемики не свести оппонента лицом к лицу с нашим автором? Предоставив обоим возможность вступить на равных, как говорится, в открытый и честный бой.

И у Бориса Александровича, и у Николая Семеновича мужества оказалось достаточно, и они, не дрогнув, согласились встретиться в «Юности».

Вот запись этого нелегкого и принципиального поединка, состоявшегося в нашем присутствии.

Работнов: Остановимся прежде всего на поднятом вами вопросе о возможном возникновении критической массы при крушении и повреждении контейнера со свежим топливом. Поймите: как содержимое ведра не может уместиться в стакане, так и критмасса реакторного топлива (примерно 100 тонн) не войдет в транспортный контейнер. Это вам скажет любой специалист. Хотя, согласен, то, что касается всех, могут обсуждать все.

Корр.: Насчет того, что «могут», мы оцениваем по себе: специалисты из Главатома возражали против публикации эпизодов, касающихся не обнародованных до сих пор фактов ядерных выбросов на Урале. Однако перейдем к вашим принципиальным замечаниям по поводу выступлений Бориса Александровича.

Работнов: Один из постоянных рефренов этих публикаций: «Проблема промышленного захоронения радиоактивных отходов не решена нигде в мире». Вы явно путаете две совершенно разные вещи, вернее, считаете их за одну: отработавшее ядерное топливо и собственно радиоактивные отходы (РАО). Последние образуются **только** при переработке отработавшего топлива с целью извлечения из него оставшегося урана и образовавшегося плутония.

Перерабатывать его мы умеем давно, достаточно напомнить про тысячи наших боеголовок с утонченными сердечниками. Переработка же использованных ТВЭЛов, находящихся десятки лет в пристанционных хранилищах, откладывается только лишь из-за отсутствия срочности: у нас с избытком хватает «свежего» и сравнительно недорогого урана. Мы не собираемся хоронить использованное топливо — это же вторичное сырье, эквивалент которого соответствует миллиардам тонн органического топлива. Ведь выгорает только 5 процентов урана. После переработки оно снова может быть использовано.

Куркин: Что касается захоронения РАО, не могу разделить вашего оптимизма. Самые последние данные: выводы комиссии президиума АН СССР, в которую входили, в частности, академики В. И. Субботин, Б. Н. Ласкорин и другие, однозначны — технические проблемы захоронения радиоактивных отходов не решены! Заявлено это — не в первый раз — пять месяцев назад. Аналогичного мнения придерживался и академик П. Л. Капица, которого вряд ли можно было отнести к противникам ядерной энергетики. Учитывая, что и в других странах долговременные хранилища планируется создать лишь в начале будущего века, не пытайтесь убедить, что у нас с этим все в порядке. Давайте поговорим честно: отработавшее топливо АЭС не перерабатывается не потому, что нет в этом срочности, а потому, что образующиеся при этом высокорадиоактивные отходы мы не в состоянии похоронить.

Работнов: О нерешенности этой проблемы можно говорить лишь в том же смысле, в каком 10 лет назад считалось нереальным строительство туннеля под Ла-Маншем: ни решения о строительстве, ни денег, ни проекта. Но у специалистов была полная уверенность, что если политики решат и деньги будут, то в разумные сроки появятся и проект, и туннель. То же самое с могильниками РАО. Ввод первых запланирован в США и ФРГ через 10—15 лет.

РАО, накопленные, например, военным комплексом, находятся уже почти полвека на временном хранении. Это и полезно — исходная активность снизилась многократно.

Немного технических подробностей о графике спада активности и остаточного тепловыделения ТВЭЛов, извлеченных из реактора. За первые десять дней они падают в шестьдесят раз, потом этот процесс резко замедляется. За десять лет происходит ослабление еще в десять раз, **что уже заметно ослабляет требования к оборудованию хранилищ** (выделено нами.— Ред.). В этом одна из причин довольно длительной выдержки отработавшего топлива в бассейнах-хранилищах при АЭС. Если ТВЭЛы переработать, то активность полученных РАО упадет за 100 лет еще в десять раз. В следующие десять раз — через тысячу лет.

Куркин: Помилуйте, вы хотите нас убедить в том, что разумно хранить смертоносное вещество практически под открытым небом, дожидаясь того времени, когда оно «ослабеет» настолько, что его смогут выдержать подземные хранилища, которые необходимо будет вырубать в гранитных, гнейсовых или базальтовых породах? При этом шахты должны быть вентилируемые, чтобы образующиеся при десятки и сотни лет продолжающихся реакциях агрессивные газы и тепло не разнесли эти ядерные погреба. И где гарантии, что не будут отравлены грунтовые воды, что землетрясение или тектоническая подвижка не «подарит» нам еще одну катастрофу? Не будем забывать, что все созданное руками человека живет в лучшем случае тысячелетие. Но радиоактивные изотопы — миллионы лет, а посему выход их наружу со временем просто неизбежен.

Работнов: Разумеется, для хранилищ РАО будут подобраны идеальные геологические условия: ни рудничного газа, ни плывунов, ни водоносных слоев. Постоянное хранилище — это будет глубокое, хорошо изолированное подземелье относительно небольшого объема. Ведь о каких количествах идет речь? По данным МАГАТЭ за 1987 год, в мире скопилось всего 2720 кубометров высокоактивных отходов. Из них доля СССР и европейских социалистических стран — 420 кубометров. Отходов средней активности — соответственно 21100 и 3100 кубометров. Скромность этих объемов и объясняет отсутствие спешки с захоронением.

Куркин: Измерять в данном случае проблему количественными объемами — это все равно, что уподобиться человеку, заявляющему, что из всех городов, перенесших бомбардировки, менее других пострадали Хиросима и Нагасаки, ведь на них сбросили «всего» по одной бомбе.

И, кстати, по поводу высоко- и среднерадиоактивных отходов, накопленных, как вы выразились, в СССР и европейских социалистических странах. Ведь вы прекрасно знаете, что все ТВЭЛы с АЭС стран СЭВ будут перерабатываться и храниться в нашем Отечестве — в соответствии с договорами. Так же как и отходы Финляндии и, возможно, ФРГ.

Работнов: Насчет ФРГ я в первый раз слышу.

Куркин: Это очень странно для специалиста. В журнале «Шпигель» № 32 за 1988 год опубликованы заявления и предложения председателя ГКАЭ тов. А. Н. Проценко относительно того, что СССР готов принять отработавшее топливо с АЭС ФРГ. Кстати, об этом писала и гамбургская «Ди вельт». То есть мы уже и капстранам предлагаем использовать себя в качестве помойки. Именно ядерной помойки, потому что, цитирую, «извлеченный после переработки отработавшего топлива плутоний может быть, по желанию западногерманской стороны, направлен ей». Значит, ценный плутоний — в ФРГ, а РАО, с которыми никто не знает, что делать, куда бы запрятать, нам. За денежку, конечно. Но о скромности наших финансовых запросов говорит другой факт. Еще в 1985 году влиятельная швейцарская газета «Нойе цюрихер цайтунг» в номере от 21 марта сообщала, что Госкоматом предложил Австрии захоранивать РАО (если вам больше нравится — отработавшее топливо) с АЭС «Цвентендорф» у нас. Причем цена, которую запросил ГКАЭ, была на 15—20 процентов ниже той, которую требовал за аналогичную услугу Китай. Тогда нас от этого позора и лишних кубометров смертоносных РАО спасло... общественное мнение Австрии. Там просто добились закрытия только что построенного монстра, и станция эта отходов так и не дала. Кстати, об опасности транспортировки: отработавшее топливо перевозится через густонаселенные районы европейской части СССР. Как гарантировать при этом безопасность населения?

Работнов: В зависимости от того, что вам требуется доказать, вы называете хранилища РАО то «ядерными помойками», то «сверхсовременными предприятиями». Истина заключается в том, что сверхсовременными предприятиями должны быть в наше время все «помойки», а являются таковыми только «помойки» ядерные. Это одно из главных преимуществ, а не недостатков атомной энергетики. Не понимаете это, к сожалению, не только вы.

Куркин: Хорошо. Назовем это хранилище дорогостоящей, высокомеханизированной смертоносной «помойкой». Согласны? Слава Богу.

Работнов: Халатное обращение с ядерными материалами недопустимо. Потеря контроля над ними в современных условиях представляет собой — и с этим согласны все страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия,— гораздо больший риск, чем его хранение в национальных границах. Поэтому большинство экспортеров ядерного топлива поступают именно так — забирают его. Доля СССР на очень обширном и прибыльном международном рынке операций с ядерным топливом, включая возвращение на переработку и захоронение, составляет не более 2—3 процентов. Эти операции в масштабах, не сопоставимых с нашими, осуществляют и США, и Англия, и Франция. Удивительно, что вы этого не знаете.

Куркин: Ничего подобного! Мы являемся единственной страной в мире, которая позволяет себе «роскошь» принимать назад проданное в другие страны ядерное топливо после его отработки. Может быть, для пущей безопасности мирового сообщества предложим всем атомным державам свозить свои отходы к нам? Для надежности, для умеиьшения риска? Если мы не поставим ГКАЭ с его «внешнеполитической» деятельностью под жесткий общественный контроль, то, думается, он нам преподнесет еще не один сюрприз.

Хранить отработанное топливо на станциях весьма опасно. Для массового убийства достаточно террористического акта, взрыва, аварии, падения самолета и т. д. Взрыв на четвертом блоке в Чернобыле выбросил в мир около 63 килограммов РАО. Всего-то! А в двух тоннах вынутого из реактора ВВЭР, как вы говорите, вторичного сырья содержится один Чернобыль. Стандартный блок-миллионник производит в год 300 тонн отработанных ТВЭЛов — 4 кубометра РАО. Только в отличие от тряпок, мусора и другого утиля это «вторсырье» угрожает нашей жизни. Значит, его необходимо **срочно** перерабатывать. Но для этого не хватает мощностей существующих заводов. А если даже создадим их, то куда, простите, мы будем девать столько образующегося при переработке ТВЭЛов плутония? Мир вроде бы серьезно готовится разоружаться... А образовавшиеся РАО надо будет на миллионы лет захоронить. Но нет долговременных хранилищ. Если эти отходы, как вы пытаетесь нас убедить, не представляют для Земли опасности, то почему тогда предлагаются еще более дорогие и безумные проекты их «выброса» ракетами на Солнце?

Работнов: В далекой перспективе это может оказаться проще и дешевле. Идею высказал, по-моему, П. Л. Капица...

Куркин: Ракетами на Солнце — дешевле?

Корр.: Простите, Николай Семенович, этот момент нужно разъяснить. Нас долго приучали к мысли, что атомная энергетика наиболее экономична, хотя стоимость ядерного топливного цикла в нашей стране строго засекречена...

Работнов: Что у нас только не засекречено.

Корр.: Но если окажется, что выгоднее сжигать на Солнце ракеты с отходами АЭС?.. Из чего вы исходите, поддерживая тезис об экономичности атомной энергии?

Работнов: Я сошлюсь на опыт тех стран, где деньги умеют считать заметно лучше, чем у нас, и где не Госкомцен, а безжалостная конкуренция определяет, что выгоднее. В Западной Европе и Северной Америке ядерная энергетика в подавляющем большинстве случаев — частный сектор. В семидесятых — восьмидесятых годах она была практически единственной по-настоящему развивающейся энергетической отраслью. Если верить апокалипсическим предсказаниям Б. А. Куркина, все эти страны давно должны были превратиться в «зловонный» радиоактивный ад. А закономерность прямо обратная: чем выше развитие ядерной энергетики, тем богаче, благополучнее и чище страна...

Куркин: Может быть, они все-таки стали богаче и благополучнее до строительства АЭС?..

Работнов: ...И хотя Чернобыль, несомненно, сыграл свою роль, замедление или прекращение строительства объясняется прежде всего тем, что оптимальная доля АЭС в энергетическом балансе этих стран была практически достигнута. Уровень же развития ядерной энергетики в нашей стране скромен по любым меркам, при том, что для ее развития есть все возможности.

Куркин: В каждой стране эта доля разная. А необходима ли она вообще? Вот главный вопрос. В США с 1977 года не

принимаются заказы на строительство АЭС потому, что этому способствовало законодательство, направленное против них, и повышенные требования к безопасности реакторов после аварии на станции «Три Майл Айленд». Эти требования увеличили стоимость и сроки строительства возводящихся станций. Деньги там и впрямь умеют считать: то, что чересчур дорого, невыгодно. В Швеции, Австрии и других странах законсервированы и не дали ни одного киловатта новенькие, «с иголочки» АЭС — под давлением общественности. Единственная страна, кроме СССР, активно развивающая сейчас эту энергетику,— Франция, стремящаяся к наращиванию собственного военного ядерного потенциала. Вы ведь не будете отрицать, что «мирный» и «военный» атомы взаимосвязаны? Но почему у нас «мирный» атом — в самых густонаселенных промышленных районах, у крупных водоемов и на истоках рек?

Работнов: «География нашей атомной энергетики потрясает» — по поводу этого тезиса вашей публикации тоже не могу не высказать свое несогласие. Если мы возьмем только населенные районы СССР, то географическая плотность АЭС у нас будет меньше, чем в США, в 2,5 раза, в Швеции — в 8, в Южной Корее — в 20, во Франции — в 24, чем в Бельгии — в 70(!) раз.

Вы упоминаете о решении Швеции прекратить строительство АЭС, но не говорите, на каком уровне развития отрасли принято это решение. Если заменить абсолютно все наши электростанции ядерными и прибавить еще 20 процентов, только тогда мы получим шведскую энерговыработку АЭС на душу населения — она выше нашей в 12 раз!

Куркин: Эта цифра ни о чем не говорит. У каждой страны своя структура энерговыработки, энергопотребления. Мы, например, тратим в промышленности столько же энергии, сколько и США, а в сельском хозяйстве — в три раза больше, чем они. А что толку? Кроме того, пример Швеции против вас. Шведам, получается, отказаться от АЭС труднее, чем нам, и тем не менее они отказываются...

И вообще такая постановка вопроса — сравнение выработки атомной энергии на душу населения и показателей географической плотности АЭС — кажется мне по меньшей мере некорректной. Все это напоминает ситуацию, когда покойник говорит, например, паралитику: бедненький, эк тебя скрючило, не повезло. До каких пор чужую болезнь мы будем считать своим здоровьем? И не забудем о качестве: разве недостаточно того, что, например, на Смоленской станции швы переваривают по нескольку раз?

Говоря о географии размещения АЭС, прежде всего я имею в виду принципы, а вернее, полное их отсутствие, при выборе площадок для этих станций. Коль уж вы ссылаетесь на зарубежный опыт, то неплохо бы вспомнить исследование американского специалиста Р. Кини, в котором он обосновывает порядка двадцати требований к определению района, подходящего для установки реакторных блоков. Сколько из них используется в СССР? Два: наличие воды и трудовых ресурсов. Почему наши АЭС расположены в истоках рек? Почему вся Волга заминирована? Почему строят на эталонных черноземах, на глине, на карстах, на песке, на болоте? Только Кольская и Нововоронежская из числа наших атомных станций стоят на подходящих площадках.

Тяжелая ситуация сложилась на Смоленской АЭС. А вдруг рванет? У нас ведь преобладают западные ветры. Через несколько часов радиоактивное облако будет в Москве. Куда побежим? В деревню, в глушь, в Саратов? А там Балаковская АЭС. Ровенская станция стоит на карстах, начала проседать, трещины пошли по корпусу здания.

Работнов: Бетон под нее закачали — стоит. И будет стоять.

Куркин: Так ведь «закачали» под нее миллионы и миллионы рублей. Чьи они, Николай Семенович, наши с вами? Или все-таки народные, нужные в другом месте? А что «будет стоять» — не имею уверенности. Вы считаете, что принцип размещения наших АЭС правильный?

Работнов: Принцип правильный, как и в других странах. Строят там и на реках. На Сене, выше Парижа в 80 километрах, недавно пущена АЭС «Кожан» с самыми мощными энергоблоками.

Куркин: ...И отравляют реку.

Работнов: Есть, конечно, у нас и просчеты. Например, недостаточно учитывается сейсмичность района. Но вот Армянская станция выдержала семь баллов...

Куркин: Там было пять...

Работнов: А вот девяти мы в самом деле испугались. И правильно сделали. Поэтому и принято решение о ее остановке и переоборудовании в тепловую. Однако напомню: в Армении людей убили не колебания земли, а рухнувшие девятиэтажки. Надо качественно строить. Вы знаете, где расположена крупнейшая АЭС в мире? Это станция «Фукусима» в Японии. Стоит на берегу моря, в чрезвычайно сейсмоопасном районе — 10 баллов. А японцев никто не может назвать неразумными. Их все время трясет, а небоскребы в 40 этажей спокойно выдерживают.

Корр.: Николай Семенович, вам не кажется, что в ваших словах есть некоторое противоречие. Ведь если у японцев и небоскребы выдерживают, то они могут себе позволить с учетом сейсмичности разработать соответствующий проект АЭС. Если же у нас и девятиэтажки падают, как же можно решаться строить в районе землетрясений атомные станции? Ведь возводили их не японские, а наши руки.

Куркин: Группа независимых экспертов, включавшая академика А. Л. Яншина, эксперта ООН по окружающей среде М. Я. Лемешева и других, высказалась в начале года на страницах «Правды» о недопустимости строительства Крымской АЭС по целому ряду параметров. Под этой станцией ждет своего часа «живой» грязевой вулкан. В глубине залегает жидкая глина, еще ниже — тектонический разлом. Сейсмичность в этой зоне от 9 до 10 баллов, весьма велика вероятность цунами и смерча. Если при таком «букете» станция и устоит, то пристанционное хранилище отработавшего топлива — вряд ли. И что же? Ведомство настаивает: нужно строить. Хотя проект был разработан аж в 1971 году. Теперь решение о возможности строительства передается на экспертизу американским специалистам. Лично у меня ничего, кроме недоумения, это вызвать не может. Получается, что у нас уже некому разобраться в ситуации?

Работнов: Японские АЭС на сейсмике проектировались с привлечением именно американских экспертов. Видимо, наше правительство считает их честными и авторитетными. Как сказал в Киеве М. С. Горбачев, их мнение будет полезно учесть при решении судьбы Крымской АЭС. А решение, конечно, будет принимать Советское правительство.

Куркин: Может быть, вообще откажемся от услуг своих ученых и наймем западных? Кто ответит, если авария в Крыму все-таки случится? Наконец, можно ли себе представить ситуацию, когда американские конгрессмены передают вопрос о финансировании, скажем, СОИ не своим специалистам, а экспертам Министерства обороны СССР?

Но ведомственная политика превыше всего. Так, используя тактику выкручивания рук, и повпихивали станции в самые болевые экологические точки.

Работнов: Какое выкручивание рук? В последние десятилетия никто никого не уговаривал взять станцию. Регионы их из рук рвали. Каждый хотел заполучить АЭС. И разве у нас Минавтопром решал, где ему строить ВАЗ или КамАЗ? Так и Госкоматом возводил станции, где скажут.

Куркин: Вот вы сами все и объяснили. С чем же вы не согласны в моей критике принципа размещения?

Работнов: Согласен, что в каждом конкретном случае нужно разбираться.

Куркин: Так, значит, литовцам не выкручиаали рукн? А сейчас не выкручивают архангельцам, нижегородцам, ярославцам, костромичам, хабаровчанам, а заодно и всей Украине? И потом: то вы говорите, что принцип размещения станций правильный, то ссылаетесь на времена застоя. Давайте что-нибудь одно...

Работнов: Вернемся к обсуждаемой нами публикации. Еще одна нелепость. Вы пишете: «6 блоков АЭС в Татарии будут «выпивать» воды в 42 раза больше, чем вся Казань».

Куркин: Это написал не я, а газета «Вечерняя Казань», материал проходил цензуру...

Работнов: Я, как ученый, не поверю ни одной цифре, пока не проверю ее. Стоящая на берегу Волги Казань погибнет от жажды — нетрудно понять, какие эмоции будят такие сведения у населения.

Куркин: Сколько испаряет воды блок-миллионник в одну секунду?

Работнов: Кубометр. Значит, шесть блоков за секунду испаряют 6 кубометров. За сутки — 0,5 миллиона кубометров: это равно стоку Волги за одну минуту. Если согласиться с вами и «Вечерней Казанью», значит, город за те же сутки потребляет всего чуть более 10 тысяч кубометров воды. Я в это не могу поверить. В Казани могут быть трудности с питьевой водой, но только из-за недостатка водозаборных, водонапорных, сетевых мощностей и станций водоподготовки.

Куркин: У нас написано — АЭС будет «выпивать», в кавычках. Ведь надо считать не только воду, которая идет на охлаждение, но и использованную в процессе работы станции, ведь это — большое промышленное предприятие. Сбрасываемую воду эту пить нельзя, она техническая, ее можно только разводить. Это разве не относится к водопотреблению? Кроме того, она горячая, убивает микроорганизмы, а уж насчет ее чистоты и якобы отсутствия радиоактивности мы можем судить по тому, во что превратились озеро Удомля в Калининской области или Копорская губа.

Работнов: Радиоактивность в контуре, через который проходит вода на АЭС, и «не ночевала». Даже в Чернобыле это третий контур...

Куркин: Как это «не ночевала»? Вы что, шутите? Оказывается, вы до сей минуты полагали, что у реакторов типа РБМК, которые действуют в Чернобыле, три контура, а не один, как на самом деле. И при этом говорите, что вода, выходящая из реактора, не является радиоактивной. Ну, да не в этом дело, не в таких ошибках, каких у каждого может быть много. Я вообще поражаюсь дотошности атомщиков, выискивающих у меня неточности: можно подумать, это я, а не они, подготовил чернобыльскую катастрофу. Или они всерьез думают, что доводить дело до трагедий им «по чину положено»? Сейчас у атомщиков происходит нечто вроде ритуального покаяния: в меру пародийного, в меру циничного. Вот и вы говорите, что в случае нового Чернобыля станете на колени и будете молить прощения. Но тогда это будет уже просто бессмысленно. А теперь давайте сравним статус ваших ошибок (я имею в виду всех тех, кто планировал и осуществлял наши ядерно-энергетические программы) и моих. Как вы думаете, чьи перевесят?

Работнов: Но вы нас пугаете не только радиоактивностью. Например, пишете, что испаренная нашими атомными станциями вода (общий объем в год — 1 кубокилометр) выпадает в виде осадков за пределами радиуса в 1000 километров, то есть за границами СССР, либо в переувлажненных районах страны. Поверим невероятному: что весь пар АЭС, разбросанных по всей европейской части страны, по-снайперски найдет себе дорогу за границу и в переувлажненные места. Оценим, во что это в прямом и переносном смысле выльется. Годовое количество осадков в этом регионе — примерно 2,5 тысячи кубокилометров. Ну что по сравнению с этой цифрой значит один кубокилометр, испаренный нашими АЭС? Ведь это несерьезно.

Куркин: Больше испарять ваше ведомство пока просто не может. Но собирается. Не превращайте нужду в добродетель.

Работнов: Кстати, в вашей публикации почти нет сравнений с традиционными источниками энергии. Я думаю, вы знаете, что сжигание двух тысяч мегатонн органики в год **ежедневно** убивает в стране за счет раковых заболеваний сотни людей.

Куркин: Только по некоторым данным, Чернобыль прибавит нам 30 тысяч смертей от заболеваний раком...

Работнов: Вблизи крупных ТЭС трудно жить без противогаза, там наблюдается «помпейский» эффект — заборы и завалинки врастают в засыпаемую золой и сажей землю, к трем годам коровы стачивают зубы до десен о запорошенную траву. За свет, тепло, возможность быстро передвигаться и пользоваться изделиями современной индустрии человечество по доброй воле платит страшную цену — надо знать и сравнивать **все** составляющие этой цены и минимизировать суммарные потери.

Чернобыльская авария привела к эвакуации десятков тысяч людей. Но для развития, например, гидроэнергетики на равнинных реках пришлось переселять сотни тысяч. В Чернобыль и Припять люди в будущем веке вернутся. В сотни деревень по берегам великих рек они не вернутся никогда.

Корр.: Журнал «Юность» в недавних публикациях выступил с резкой критикой деятельности Минводхоза и Минэнерго, именно против практики строительства гигантских ГЭС. Но до каких пор мы будем ломать голову, решая, какое из зол меньше, вместо того чтобы не творить зло вообще?!

Работнов: И все-таки давайте сравним. Настойчиво предлагают, например, уже построенную Горьковскую атомную станцию теплоснабжения и уже работающую Литовскую АЭС заменить газовыми ТЭЦ. Но газ, который при сжигании чище угля и нефти, является очень опасным топливом. Хотя газовая энергетика всего примерно вдвое старше ядерной, боюсь, что число людей во всем мире, погибших при взрывах, пожарах и отравлениях, вызванных газом, давно превысило число жертв Хиросимы и Нагасаки. А за всю историю мировой атомной энергетики жертвы пока исчисляются десятками.

Происшествие в январе под Тобольском, когда взорвалось вытекшее из трубопровода облако газа диаметром 600 и высотой 100 метров, показывает масштаб возможных происшествий. Тут, к счастью, не было близко жилья. А в 1984 году две аналогичные аварии — в Мексике и Бразилии — унесли по 500 жизней каждая.

Число раненых измерялось тысячами, а потерявших кров — десятками тысяч. Масштабы вполне чернобыльские, а по прямым жертвам — и похлестче.

Куркин: Вы еще забыли железнодорожные и авиационные катастрофы, а также неудачно проведенные хирургические операции. Но разве все то, о чем вы говорите, дает эффект радиоактивного заражения местности и генетические последствия?

Да, ядерная энергетика молода. Раньше нас успокаивали заверениями, что, по самым научным расчетам, аварии на АЭС возможны не чаще чем раз в 10 тысяч лет. А на самом деле? За одиннадцать лет мы имеем две крупные аварии — на американской станции «Три Майл Айленд» и у нас в Чернобыле, не считая сотен более мелких поломок и остановок реакторов из-за технических неисправностей. Что касается жертв, то только Чернобыль дал нам их непредсказуемое количество в отдаленном будущем. И знаете, если в комнате стоят ящик с протухшим кефиром и малюсенькая баночка с цианистым калием, я буду бояться за своего играющего здесь ребенка не из-за кефира. Количественные сравнения, повторяю, тут неуместны.

Кстати, насчет «страшной цены, которую по доброй воле платит человечество» за получаемые тепло и энергию, а также насчет умения считать деньги. Ущерб от аварии в Чернобыле, по официальным данным, оценивается у нас в 8,5 миллиарда рублей. Американцы же посчитали прямые и косвенные убытки от аварии на «Три Майл Айленд», которая была несравненно меньшего масштаба, чем наша,— получили 130 миллиардов долларов.

Работнов: Сколько истрачено денег, обычно лучше всех знает тот, кто платит. Решение о выделении средств на ликвидацию последствий аварии принималось на уровне Политбюро, и цифра 8,5 миллиарда рублей была названа, если не ошибаюсь, на одном из его заседаний. Пока она не уточнялась. Я бы подождал этих уточнений.

130 миллиардов долларов — как раз примерно полная сумма капиталовложений в ядерную энергетику США в ценах 1985 года (100 миллионов кВт установленной мощности по 1,3 доллара за ватт). Авария на «ТМА» вывела из строя единственный энергоблок, в ней не пострадал ни один человек, не было заражения местности и ущерба чьей-либо собственности. Как могла такая авария привести к потерям, равным ущербу от тотального уничтожения всей материальной базы гигантского ядерно-энергетического комплекса США, я понять не могу.

Куркин: Не можете, так не можете. Я же беру эти цифры из официальных источников. Пожалуйте: журнал «Сьянс э ви» № 829, октябрь 1986 года. Из чего складываются 130 миллиардов? Увеличение сроков строительства в связи с необходимостью повышения безопасности и убытки от невводa в срок энергетических мощностей — 55 миллиардов долларов. Вложенный капитал начал приносить доходы на четыре года позже. Стоимость каждого строящегося реактора, опять же из соображений безопасности, увеличилась на 200 миллионов долларов; всего строящегося парка — на 11 миллиардов. В результате установки новых систем контроля, безопасности, переквалификации персонала на всех АЭС — еще 38 миллиардов. И несколько других статей убытков.

Работнов: Но ведь это просто плата за страх...

Куркин: Это плата за безопасность. Все зависит от того, какую цену для обеспечения своей безопасности общество считает для себя приемлемой. Нам «хватило» 8,5 миллиарда рублей. И — вперед, к новым катастрофам, вкладывая десятки миллиардов в реализацию нашей атомной энергетической программы.

Работнов: Но ведь реальной альтернативы развитию атомной энергетики нет. Вы упоминаете «нетрадиционные» источники энергии — ветровые, солнечные станции и т. д. Однако самые горячие, но хорошо знающие фактическую сторону дела их сторонники видят врожденные, неустранимые недостатки этих энергоисточников. Это малая плот-

ность, резкие колебания мощности, а главное, необходимость огромных капиталовложений на освоение.

Куркин: Главная проблема развития альтернативных источников — недостаток средств на разработки и внедрение. Ну, не удивительно ли? На строительство сверхдорогих АЭС, против которых повсеместно протестует общественность, деньги есть. При определенных усилиях ведомства добьются, видимо, и денег на ракеты к Солнцу. А вот на развитие безвредных источников энергии, на расконсервирование старых и строительство новых малых ГЭС, воссозданных во всех развитых странах, сил у нас не хватает. И, главное, наша расточительная энергетика, несущая огромные потери, но продолжающая развиваться затратно, экстенсивно, как огня боится перехода к энергосберегающим технологиям. Весь цивилизованный мир перешел к ним и снизил потребление энергии, продолжая при этом наращивать промышленное производство. А мы по-прежнему тратим ее больше всех на единицу произведенного продукта и остаемся бедной страной.

Корр.: Разве, наведя порядок в отечественном энергохозяйстве, создав совершенные технологии, мы не избавимся от необходимости испытывать в своем доме страх перед возможными ядерными «мирными» катаклизмами? И разве все это не будет дешевле строительства новых АЭС, переработки и захоронения отходов?

Куркин: Вы, Николай Семенович, справедливо высказываете претензии к нашей угольно-мазутной и газовой отраслям энергетики. Но давайте не будем забывать, что именно политика вашего и других ведомств препятствовала внедрению по крайней мере 200 изобретений по рациональному сжиганию органического топлива и очистке выбросов ТЭС.

Работнов: Углекислый газ и сернистый ангидрид все равно никуда не денутся.

Куркин: И РАО тоже никуда не денутся — в течение миллионов лет. Давайте заминируем всю планету хранилищами радиоактивной грязи, вместо того чтобы совершенствовать существующие отрасли энергетики и искать новые, экологически чистые.

Еще в 1975 году американцы закупили у нас лицензии на создание технологий по подземной газификации угля, которые мы сами никак не хотели внедрять. Созданы паро- и газотурбинные установки с кпд до 50 процентов! Нам, увлеченным экстенсивной экономикой, некогда было осваивать их промышленное производство. Еще во время войны немцы наладили производство метанола из угля. Откуда у них был бензин?

Работнов: Ну и что?

Куркин: А то, что это действительно альтернативы. Если мы внедрим ветровые, солнечные станции, парогазотурбинные установки, наладим очистку, создадим энергосберегающие технологии, выясним, наконец, нужно ли нам больше энергии, чем производим сейчас,— вот комплексный подход к энергетике. Мы же пока ударяемся в одно — в наращивание новых мощностей любой ценой. И все — в обстановке строжайшей секретности.

Видели ли вы фильмы «Порог» и «Микрофон»? Нет? Жаль. А то бы воочию убедились, что означает на практике засекречивание информации о радиационной обстановке в районе Чернобыля. А означает оно, помимо всего прочего, и неоказание медицинской помощи пострадавшему населению. Страшные вещи происходят: судя по выступлению Председателя Совета Министров Белоруссии М. В. Ковалева на страницах «Правды» (11.02.89), «структура общей заболеваемости населения Гомельской и Могилевской областей в 1988 году (наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы.—Ред.) не изменилась. Уровень детской смертности за последние три года имеет стойкую тенденцию к снижению... Прирост больных со злокачественными опухолями в Гомельской и Могилевской областях в 1986—1988 годах не отличается от многолетней естественной динамики». Выходит, катастрофа пошла на пользу здоровью людей или по крайней мере детей? Было бы нелишним узнать, как подобрана сия статистика. Если больных детей переместили в другие районы, то тогда действительно можно говорить об устойчивой тенденции к улучшению детского здоровья в этих областях. Но с таким же основанием можно будет утверждать, что и в Чернобыле погиб не 31 человек, а два (остальные, как известно, скончались в Москве, в больнице № 6). А пока попробуйте уверить женщин из пострадавших районов, что их детям не грозит никакая опасность. Кстати, в журнале «Атомная энергия» (т. 61, вып. 5, ноябрь 1986) отмечалось, что публикуется «Краткое изложение информации, предоставленной советскими экспертами в МАГАТЭ». Полный же текст доклада, из которого, естественно, были изъяты наиболее «неприятные» (до 40 процентов) для советских читателей сведения об аварии, так и не был опубликован. Такова официальная «гласность». Ваше ведомство — тоже неудивительно — обвинило режиссера фильма «Порог» Р. Сергиенко ни много и ни мало как в антисоветизме.

Работнов: Под вашим требованием рассекретить данные по атомной энергетике и по последствиям Чернобыля подписываюсь и требую вместе с вами. Люди должны знать и сравнивать, сколько смертей нам дарит уголь, а сколько атом.

Корр.: Что, на ваш взгляд, нужно, чтобы цивилизованный человек, гражданин мог реализовать свое право выбора?

Работнов: Я считаю, что общество должно быть без единой утайки, полностью информировано о всех экологических последствиях любого начинания, любых технических проектов и планов. Людей нужно посвящать во все.

Корр.: Это лишь одна часть проблемы. Но все-таки кто будет принимать решения?

Работнов: Вы имеете в виду референдумы? Я считаю, что этот исключительный способ принятия решения всем обществом работает только на уровне высокой политической и социальной сознательности каждого члена общества. Пусть на меня не обижаются, но пока я такого уровня не вижу. Энергия нужна всем, а электростанции, получается, никому. Проведите опрос людей, которым придется жить около такого объекта,— ответ будет всегда отрицательным. Поэтому выбирать и решать должны все-таки специалисты и эксперты, но за ними нужен строгий контроль.

Куркин: Вот это и есть технократизм в чистом виде. Давайте вспомним, что общество уже наработало определенные экономические, политические, социальные, культурные, религиозные представления о мире, о необходимом, достаточном и желаемом качестве жизни, социальном устройстве и т. д. Наука тоже вносит свой вклад в выработку этого образа мира, но лишь частичный. Технократизм просто гипертрофирует ее роль. В наших же отечественных условиях технократизм обретает вообще какой-то людоедский характер. Против такого взгляда на мир обеспокоенная общественность и выступает. В этом вижу смысл своей публикаторской деятельности и я.

Вы сами себе противоречите: говорите, что людей надо просвещать, давать им право выбора, и тут же отнимаете у них, «темных», это право и отдаете специалистам. Так ведь, простите, специалисты нам «подарили» Чернобыль, затопленные города и деревни, истощенную землю.

Корр.: Вопрос информирования населения и предоставления ему права выбора возник не сегодня и, судя по всему, решится не завтра. Значит, одновременно с решением технических проблем нужно работать и над повышением уровня общественного сознания. До сих пор на этом пути стоит непреодолимое препятствие: чрезмерное увлечение засекречиванием информации, порожденное ведомственными интересами. Поэтому главная цель на данном этапе видится все-таки в упразднении ведомственной структуры нашей экономики и жизни вообще. Именно упразднять, а не перестраивать, потому что, как перестроилось, например, Минэнерго, мы знаем: запланировали «осчастливить» нас еще 93 гигантскими ГЭС. Вот как выглядит перестройка в условиях ведомственной структуры. Вряд ли ведомства возьмут на себя и просвещение народа. Кто долго обманывал, не заинтересован в доступности информации о своей деятельности. Поэтому люди, подобные Борису Александровичу Куркину, а их не так уж много, и взяли на себя тяжелую ношу просвещения людей по особенно тревожным аспектам нашей жизни...

Куркин: Ну, это уж чересчур...

Корр.: Итак, мнения высказаны. Многие вопросы из-за недостатка времени и печатной площади остались, к сожалению, в стороне. Но... дискуссия только начинается. Предлагаем всем заинтересованным читателям и ведомствам принять в ней участие. Чтобы восторжествовала истина.

Беседу вели Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛАЕВ

Всесоюзная независимая комплексная экологическая экспедиция «Юности» продолжается. К числу ее попечителей присоединился и кооператив «Автосток».

Рой
МЕДВЕДЕВ

ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА

ОТ ИЛЬИЧА ДО ИЛЬИЧА

На снимке: Анастас Микоян, Станислав Косиор, Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович в правительственной ложе I сессии Верховного Совета СССР. Январь 1937 года. *Фото Павла Трошкина (из архива Карины Савельевой (Трошкиной).*

Пример политического долголетия

Анастаса Ивановича Микояна уже нет в живых; он умер в октябре 1978 года, не дожив всего один месяц до своего 83-летия. Это был человек поучительной судьбы, показавший пример необычного в нашей стране политического долголетия. Еще в 1919 году Микоян был избран во ВЦИК РСФСР. Затем стал членом ЦИК СССР и Президиума Верховного Совета СССР до 1974 года. Таким образом, в составе высших органов Советской власти Микоян состоял пятьдесят пять лет. Микоян пятьдесят четыре года подряд был членом ЦК партии и сорок лет работал в составе Политбюро ЦК. Ни один из руководителей КПСС и Советского государства, кроме Ворошилова, не мог бы по «стажу» руководящей работы конкурировать с Микояном. Еще в конце 60-х годов, когда Микоян начал публиковать отрывки из своих мемуаров, кто-то пустил в ход меткую шутку: этим мемуарам следовало бы дать название «От Ильича до Ильича».

В наших условиях столь беспримерное политическое долголетие говорит не только о незаурядных способностях государственного деятеля, но и об умении быстро приспосабливаться к резко меняющимся политическим обстоятельствам. Конечно, иногда Микояну просто «везло», но ведь и благоприятную случайность удается использовать не всякому. В партийной среде можно услышать и сегодня немало анекдотов о политической изворотливости Микояна. Вот лишь один из них:

«Микоян в гостях у друзей. Неожиданно на улице начался сильный дождь. Но Микоян поднялся с места и стал собираться домой. «Как же вы пойдете по улице? — спрашивают его друзья.— На дворе ливень, а у вас нет даже зонтика!» «Ничего,— отвечает Микоян,— я пройду между струй».

Большевик из духовной семинарии

Анастас Микоян родился в Армении в селе Санаин в семье бедного сельского плотника. По окончании начальной школы отец отдал учиться способного мальчика в Нерсеяновскую армянскую духовную семинарию в Тифлисе. Это было одно из лучших учебных заведений в Закавказье, оно было доступно для всех слоев населения и давало лучшее образование, чем классическая гимназия. Мало кто из выпускников этой семинарии становился священником, но многие стали видными деятелями армянской интеллигенции. Как ни странно, но именно духовные семинарии дали России множество революционеров. В духовных семинариях учились Чернышевский и Добролюбов. Грузинскую духовную семинарию окончил в том же Тифлисе Сталин. Можно перечислить десятки видных советских государственных деятелей 20—30-х годов, которые окончили до революции духовные семинарии. Ближайшим другом Микояна в армянской семинарии был, например, Георг Алиханян, один из основателей Советской Армении, крупный деятель Коминтерна, расстрелянный в конце 30-х годов. Дочь Алиханяна Елена Георгиевна — жена академика А. Д. Сахарова.

Микоян стал членом социал-демократического кружка еще в стенах семинарии и прочитал здесь почти всю марксистскую литературу на русском языке. В 1915 году он вступил в партию большевиков. В этом же году Микоян блестяще окончил семинарию и в 1916 году был принят на первый курс Армянской Духовной Академии, которая находилась в Эчмиадзине — религиозном центре Армении. Микоян не окончил Академии и не стал священником: началась февральская революция, и именно он был одним из организаторов Совета солдатских депутатов в Эчмиадзине.

Продолжение. Начало см. в №№ 3 и 5 за 1989 год.

Бакинская коммуна

Вскоре после Октябрьской революции Микоян оказался на партийной работе в Баку — этот город был главным промышленным центром и оплотом большевиков в Закавказье. В Бакинский Совет входили большевики, меньшевики, дашнаки, эсеры и другие партии. Незначительное преимущество было все же у большевиков, они создали в апреле 1918 года Совет Народных Комиссаров во главе со Степаном Шаумяном, членом ЦК РСДРП(б), которого Советское правительство, по предложению Ленина, назначило еще в декабре 1917 года Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа.

Молодой Микоян командовал боевой дружиной большевиков, он участвовал в подавлении восстания мусаватистов — азербайджанской националистической партии, которая вошла в союз с турецкими войсками, наступавшими на город. Затем Анастаса Ивановича послали на фронт как комиссара бригады. Оборонять Баку было трудно. Начиналась гражданская война. Восстания казаков на Дону и Северном Кавказе, чехословацкий мятеж, наступление Добровольческой армии Деникина отрезали Бакинскую коммуну от России. Часть Средней Азии (Закаспийская область) была оккупирована англичанами, гражданская власть здесь оказалась в руках правых эсеров. Лишь морем через Астрахань бакинские большевики могли получать кое-какую помощь из Советской России. В этой ситуации эсеры и меньшевики предложили пригласить в Баку английские войска. Еще шла первая мировая война, в которой Англия и Турция воевали друг с другом. Большевики были против. Однако бурное голосование Бакинского Совета не принесло успеха большевикам. 258 голосов против 236 было подано за приглашение английских войск и создание коалиционного правительства из всех советских партий. Часть народных комиссаров предлагала сохранить Совнарком и провести перевыборы Совета. Но Шаумян не пошел на это. Большевики передали власть новому правительству, и скоро в Баку вошли немногочисленные английские отряды. Узнав о перевороте, Микоян поспешил в город. Но здесь его ждало еще одно горькое известие — большинство активных деятелей Бакинской коммуны было арестовано. Впрочем, и новая власть — так называемая диктатура Центрокаспия — продержалась в Баку лишь до середины сентября. Англичане не сумели приостановить турецкое наступление. Началась поспешная эвакуация. В день вторжения турецких войск в Баку Микоян сумел освободить Степана Шаумяна и других большевиков из тюрьмы. С помощью командира небольшого отряда Т. Амирова все они успели занять место на пароходе «Туркмен», переполненном беженцами и солдатами. Корабль отплыл в Астрахань. Однако ни группа дашнакских и английских офицеров, ни многие из солдат не хотели плыть в советскую Астрахань. Они сумели взбунтовать команду корабля и увести его в Красноводск, оккупированный англичанами. Эсеровские власти в этом городе арестовали всех большевиков. Портретов бакинских комиссаров тогда еще не было, документов тоже. Руководствуясь списком на тюремное довольствие, который нашли у Корганова, исполнявшего роль старосты в Бакинской тюрьме, эсеры отделили двадцать пять человек во главе со Степаном Шаумяном. Сюда же включили командира партизан Т. Амирова. Так образовалась знаменитая цифра «26». Все они были увезены из Красноводска якобы для суда в Ашхабад. Но вагон с арестованными не дошел до Ашхабада. В ночь на 20 сентября 1918 года на 207-м километре Красноводской железной дороги все двадцать шесть арестованных были расстреляны. Здесь были и коммунисты и левые эсеры, народные комиссары и личные телохранители Шаумяна. Один из погибших оказался беспартийным мелким служащим. Но все они вошли в историю как «26 бакинских комиссаров». Микояна не было ни в списках на довольствие, ни в списках арестованных, опубликованных бакинскими газетами. Остались в живых и видные деятели Бакинской коммуны С. Канделаки и Э. Гигоян. Ни в Баку, ни в Красноводской тюрьме долго никто не знал о гибели 26 бакинских комиссаров. Турки скоро покинули Азербайджан. Война закончилась победой Антанты. Мусаватистское правительство вступило в сговор с англичанами. Рабочие Баку объявили забастовку, требуя возвращения Степана Шаумяна и его товарищей. Но в Баку вернулись в феврале 1919 года только Микоян, Канделаки и еще несколько большевиков. Лишь через полтора года, уже после восстановления Советской власти в Баку, были перевезены и торжественно захоронены на одной из центральных площадей города останки расстрелянных бакинских комиссаров.

Во главе крупнейших областей РСФСР

Вернувшись в Баку, Микоян возглавил подпольную большевистскую организацию. Осенью 1919 года он побывал в Москве с докладом о положении на Кавказе, познакомился с Лениным, Кировым, Орджоникидзе, Куйбышевым, Фрунзе, Сталиным, Стасовой, был избран во ВЦИК. Весной 1920 года Красная Армия вступила в Баку, и здесь была провозглашена Советская власть. Но Микоян недолго оставался на Кавказе. Неожиданно его вызвали в Москву и направили с мандатом ЦК РКП(б) на работу в Нижегородский губком. Местные руководители встретили двадцатипятилетнего кавказца с недоверием. Положение в городе и в губернии было критическим. Волновался измученный голодом и холодом 50-тысячный гарнизон, недовольство охватило не только крестьян, но и рабочих, месяцами не получавших зарплаты. Опытный пропагандист и агитатор, Микоян действовал не только умело, но и весьма решительно. Вскоре он был введен в состав бюро губкома и стал фактическим руководителем губернии, о которой знал еще недавно только по школьному учебнику географии. Он несколько раз встречался с Лениным, участвовал во всех съездах Советов и съездах партии. В мае 1922 года двадцатишестилетний Микоян был избран в состав ЦК РКП(б).

В 1920—1921 годах Микоян попадает в «сферу влияния» Сталина и еще перед X съездом партии выполняет ряд его конфиденциальных поручений. Летом 1922 года по рекомендации Сталина Микоян был назначен секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). Вскоре он возглавил Северо-Кавказский краевой комитет РКП(б) с центром в городе Ростове-на-Дону. В этом крае проживало около 10 миллионов человек. Сюда входили территории казачьих областей — Кубанской, Терской и Войска Донского, Ставропольской, Астраханской и Черноморской губерний, а также семь национальных округов, в которых проживали люди самых различных национальностей. Проблемы, которые приходилось решать молодому Микояну, были исключительно сложными. Северный Кавказ еще недавно служил ареной жестоких боев гражданской войны, отдельные отряды казаков и горцев еще скрывались в горах Кавказа. И все же в условиях нэпа Северный Кавказ быстро оправлялся от разрухи и становился снова житницей страны. Микоян весьма решительно требовал сближения с крестьянством и казачеством. В станицах сохранялся казачий быт, одежда, поощрялись даже военные учения, джигитовка, спортивные упражнения. Под лозунгом «Сделать казачество опорой Советской власти» эти формирования включались в состав территориальных частей Красной Армии. Крайком разрешил не только горцам, но и казакам носить холодное оружие; было сохранено станичное управление и общий станичный бюджет. Во многих выступлениях Микоян призывал коммунистов не разрушать церквей и мечетей и не ссориться с крестьянами и казаками на почве религии. Хотя богатые крестьяне и крупные торговцы были лишены избирательных прав, Микоян требовал соблюдения предоставленных им в рамках нэпа экономических прав. Для прекращения партизанской борьбы в крае несколько раз объявлялась амнистия. Были приняты меры для развития курортов Минеральных Вод и на Черноморском побережье. Все это создало Микояну репутацию умелого и опытного администратора и партийного руководителя. Он сблизился со Сталиным и выступал неизменно на его стороне в борьбе с так называемой левой оппозицией. Сталину нравились энергия Микояна, его кавказское происхождение и полная лояльность. Еще в 1922 году Сталин, ставший Генеральным секретарем ЦК партии, продолжал поручать Микояну некоторые деликатные миссии, связанные с внутрипартийной борьбой. На объединенном Пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1926 года вместе с Орджоникидзе, Кировым, Андреевым и Кагановичем Микоян был избран кандидатом в члены Политбюро.

Народный комиссар торговли и снабжения СССР

В августе 1926 года один из лидеров так называемой левой оппозиции, Л. Б. Каменев, был освобожден от поста наркома внешней и внутренней торговли и назначен послом в Ита-

лию. Новым народным комиссаром торговли неожиданно для многих был назначен тридцатилетний Микоян. Самый молодой в составе Политбюро, он стал и самым молодым наркомом СССР.

Микоян работал в Наркомторге много и напряженно. Было время нэпа. Не прошло и пяти лет с тех пор, как Ленин назвал торговлю тем «главным звеном», за которое должна ухватиться партия большевиков, чтобы вытянуть всю сложную цепь социалистического строительства. Именно Ленин выдвинул тогда лозунг «Учиться торговать», столь неожиданный для многих большевиков, еще недавно снявших военную форму.

Положение в области торговли в 1926—1927 годах было исключительно сложным из-за недостатка промышленных товаров и связанных с этим трудностей в хлебозаготовках. Микоян решительно выступал тогда за экономические средства разрешения кризиса и против каких-либо чрезвычайных мер в отношении единоличников и кулачества, предлагаемых «левыми». На XV съезде ВКП(б) Микоян заявил, что из создавшегося кризиса нужно выйти «наиболее безболезненным образом». Он предложил получить нужный городу хлеб «путем переброски товаров из города в деревню, даже за счет временного (на несколько месяцев) оголения городских рынков с тем, чтобы добиться хлеба у крестьянства». «Если мы этого поворота не произведем,— предупредил Микоян,— то мы будем иметь чрезвычайные трудности, которые отзовутся на всем хозяйстве».

Но Сталин не прислушался к голосу Микояна и других более умеренных членов руководства. Он пошел на принятие жестоких мер в отношении кулачества и основной части крестьянства, что привело вскоре к политике принудительной «сплошной» коллективизации и экспроприации, выселению и ликвидации кулачества. Эта политика встретила сопротивление не только у многих членов ЦК, но и таких членов Политбюро, как Бухарин, Рыков, Томский, Угланов. Однако Микояна не было среди участников так называемого правого уклона. Вряд ли он сочувствовал новой политике Сталина, имевшей катастрофические последствия для деревни, включая и хлебородный Северо-Кавказский край. И все же он принял сторону Сталина.

К началу 1930 года вся система торговли в стране пришла в полное расстройство. Хлебозаготовки приняли характер продразверстки, ибо закупочные цены уже не соответствовали себестоимости сельскохозяйственной продукции. Наступила инфляция, бумажные деньги быстро обесценивались. Из-за недостатка продуктов в городах было введено строгое нормирование и карточная система. Во многих сельских районах свирепствовал жестокий голод, унесший миллионы жизней. Для рабочих и служащих вводились пайки различных категорий в зависимости от работы, занимаемой должности и т. п. Торговля опять стала уступать место продуктообмену, при котором города снабжались продовольственными, а деревня — промышленными товарами. Новому положению в стране не соответствовали ни старые методы, ни прежнее название наркомата, во главе которого стоял Микоян. В 1930 году он был реорганизован в Наркомат снабжения СССР. Для подавляющего большинства населения страны это снабжение в начале 30-х годов было крайне скудным. Тогда-то и родилась в народе невеселая шутка: «Нет мяса, нет масла, нет молока, нет муки, нет мыла, но зато есть Микоян».

Впрочем, в одной торговой операции Микоян весьма преуспел: в продаже за границу части коллекций Эрмитажа, Музея нового западного искусства в Москве (вошедшего в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) и многих ценных предметов, конфискованных у царской семьи и высших представителей русского дворянства. Как раз в начале первой пятилетки Советскому Союзу остро не хватало валюты, чтобы оплатить импортируемое оборудование. Уменьшение сельскохозяйственного производства сократило до предела экспортные возможности страны. В это время и возникла мысль о продаже за границу картин знаменитых западных мастеров: Рембрандта, Рубенса, Тициана, Рафаэля, Ван Дейка, Пуссена и других. К вывозу были намечены многие золотые и ювелирные изделия, мебель из царских дворцов (часть этой мебели принадлежала еще французским королям), а также часть библиотеки Николая I. Ведавший музеями страны народный комиссар просвещения А. В. Луначарский был решительно против затеваемой операции, но Политбюро отвергло его возражения. Продать ценности Эрмитажа оказалось не очень просто — главным образом из-за протестов видных деятелей русской эмиграции. Аукцион, проведенный в Германии, дал плохие результаты. Во Франции Советский Союз также ждала неудача, потому что по некоторым из выставленных на продажу предметов эмиграция возбудила судебные дела. Первые крупные сделки Микоян заключил с известным армянским миллиардером Гульбенкяном. Затем картины стали покупать и американцы. Крупнейшие сделки были заключены также с миллиардером и бывшим министром финансов США Эндрю Меллоном. В меньших масштабах эти продажи происходили до 1936 года. Общая выручка СССР от них составила более 100 миллионов долларов [1].

Сталин полностью доверял в этот период Микояну. Когда тяжело заболел председатель ОГПУ В. Менжинский, Сталин предполагал поставить на его место Микояна. Но Микоян не горел желанием переходить из сферы торговли и снабжения на руководство карательной системой Советского государства, и это назначение не состоялось.

Микоян не принимал непосредственного участия в карательных акциях времен коллективизации и принудительных заготовок в 1930—1933 годах. Но ему пришлось дать свою санкцию на арест многих беспартийных специалистов — в том числе и занимавших важные посты в Наркомате торговли,— клеветнически обвиненных во вредительстве. Микоян не был инициатором этих репрессий, но и не выступал открыто против них. Показательна история М. П. Якубовича, который еще в Наркомате торговли возглавлял управление промышленных товаров. Составляемые им планы снабжения весьма придирчиво изучал Микоян, потом они утверждались коллегией наркомата. Основные контрольные цифры снабжения рассматривались даже на Политбюро ЦК ВКП(б). Однажды Микоян распорядился увеличить снабжение одних городов за счет других, что было связано с массовыми протестами рабочих. Якубович напомнил, что задания по снабжению уже утверждены Политбюро. Но Микоян сослался на личное указание Сталина. Якубович подчинился. Вскоре, однако, и в других городах произошли вспышки недовольства. В «Правде» появилась статья, обвинявшая Якубовича и его отдел во вредительстве. Якубович был арестован. На первом же допросе он потребовал вызвать в качестве свидетеля Микояна. Но следователь только рассмеялся. «Вы что, сошли с ума? — сказал он. — Разве мы будем из-за вас вызывать наркома СССР свидетелем?» Якубович был осужден и провел в лагерях и тюрьмах более двадцати пяти лет.

Во главе пищевой промышленности СССР

Тяжелый политический и экономический кризис 1928—1933 годов стал все же ослабевать. Раны, нанесенные стране и народу, постепенно затягивались. Одновременно стали давать плоды и те громадные усилия, которые были предприняты в эти же годы для создания промышленности. Хотя и более медленно, чем тяжелая индустрия, развивались легкая и пищевая. В 1934 году в СССР был образован самостоятельный Наркомат пищевой промышленности, во главе которого был поставлен Микоян. В России в урожайные годы не было недостатка в натуральных продовольственных товарах. Однако пищевая промышленность была очень слабой. Почти не существовало и системы общественного питания. Инициативе и умелому руководству Микояна наша страна обязана сравнительно быстрым развитием в годы второй пятилетки многих отраслей пищевой промышленности (консервы, производство сахара, конфет, шоколада, печенья, колбас и сосисок, табака, жиров, хлебопечения и т. д.). Микоян предпринял длительную поездку в США для знакомства с различными видами и технологией пищевой промышленности. СССР в середине 30-х годов производил, например, в сто раз меньше мороженого, чем США. Именно Микоян помог быстрому развитию производства искусственного холода и разных видов мороженого в СССР. Вообще мороженое было настоящим увлечением Микояна. Даже Сталин как-то заметил: «Ты, Анастас Иванович, такой человек, которому не так коммунизм важен, как решение проблемы изготовления хорошего мороженого».

[1] В 30-е годы как покупатели, так и продавцы картин и ценностей избегали гласности. Сегодня большая часть картин из Эрмитажа уже не находится в частных руках. Гульбенкян подарил свою коллекцию Португалии. Картины из коллекций Меллона находятся в Вашингтонской галерее. Часть картин приобретена или получена в дар голландскими музеями и Лувром.

По инициативе Микояна в стране значительно увеличилось производство котлет. Лучшие сорта котлет и сегодня нередко называют «микояновскими». К сожалению, их теперь очень редко продают даже в московских магазинах.

В подчинении Микояна оказалась и вся ликеро-водочная промышленность страны. Выступая на Первом Всесоюзном совещании стахановцев, Микоян говорил: «В 1935 году водки продано меньше, чем в 1934 году, а в 1934 году меньше, чем в 1933-м, несмотря на серьезное улучшение качества водки. Это единственная отрасль производства Наркомпищепрома, которая идет не вперед, а назад, к огорчению работников нашей водочной промышленности.

Но ничего, если огорчаются наши спиртовики... Тов. Сталин давно нас предупреждал, что с культурным ростом страны уровень потребления водки будет падать, а будет расти роль и значение кино и радио».

Огорчаться работникам водочной промышленности пришлось не так уж долго. Сегодня в нашей стране есть не только радио и кино, но и телевидение, а производство водки и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы во много раз превысило довоенный уровень и продолжает расти.

В конце 30-х годов в СССР по инициативе Микояна была издана и первая советская поваренная книга — «Книга о вкусной и здоровой пище». К каждому из ее разделов было подобрано в качестве эпиграфа какое-либо из высказываний Микояна или Сталина. Так, например, перед разделом «Рыба» можно было прочесть такую сентенцию:

«Раньше торговля живой рыбой у нас вовсе отсутствовала, но в 1933 г. однажды товарищ Сталин задал мне вопрос: «А продают ли у нас где-нибудь живую рыбу?» «Не знаю. — говорю,— наверное, не продают». Товарищ Сталин продолжает допытываться: «А почему не продают? Раньше бывало». После этого мы на это дело нажали и теперь имеем прекрасные магазины, главным образом в Москве и Ленинграде, где продают до 19 сортов живой рыбы...»

Перед разделом «Холодные блюда и закуски» можно было прочесть:

«...Некоторые могут подумать, что товарищ Сталин, загруженный большими вопросами международной и внутренней политики, не в состоянии уделять внимание таким делам, как производство сосисок. Это неверно... Случается, что нарком пищевой промышленности кое о чем забывает, а товарищ Сталин ему напоминает. Я как-то сказал товарищу Сталину, что хочу раздуть производство сосисок; товарищ Сталин одобрил это решение, заметив при этом, что в Америке фабриканты сосисок разбогатели от этого дела, в частности от продажи горячих сосисок на стадионах и в других местах скопления публики. Миллионерами, «сосисочными королями» стали.

Конечно, товарищи, нам королей не надо, но сосиски делать надо вовсю».

Перед разделом «Горячие и холодные напитки» Микоян обошелся без ссылки на Сталина, а привел лишь отрывок из собственной речи:

«...Но почему же до сих пор шла слава о русском пьянстве? Потому, что при царе народ нищенствовал, и тогда пили не от веселья, а от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь... Теперь веселее стало жить. От хорошей и сытой жизни пьяным не напьешься. Весело стало жить, значит, и выпить можно, но выпить так, чтобы рассудок не терять и не во вред здоровью».

Как администратор Микоян был обычно вежлив со своими подчиненными. Но он был «сталинским» наркомом. В хорошем настроении этот человек мог одарить посетителей апельсинами из вазы на своем столе. Но в плохом настроении он порой швырял им в лицо подписанные (или неподписанные) бумаги, как это нередко делал и Каганович.

В годы террора

В 1935 году Микоян был избран полноправным членом Политбюро, а в 1937 году назначен заместителем Председателя Совнаркома.

Некоторые из близких друзей и родственников Микояна пытаются до сих пор утверждать, что Анастас Микоян не принимал никакого участия в репрессиях, в терроре 30-х годов, хотя и не протестовал против них открыто.

К сожалению, эти утверждения не согласуются с действительностью. Конечно, Микоян никогда не был столь активен и агрессивен, как Каганович, но он не мог, оставаясь членом Политбюро, вообще уклониться от участия в репрессиях. Во-первых, как член Политбюро, Микоян должен был нести свою долю ответственности за все решения Политбюро, связанные с репрессиями. На многих подготовленных Ежовым списках людей, предназначенных к «ликвидации», Сталин не просто ставил свою подпись, но давал их также и другим членам Политбюро. Во-вторых, каждый из наркомов должен был тогда санкционировать аресты руководящих работников в своей отрасли. Трудно предположить, что Микоян ничего не знал об арестах многих видных деятелей торговли и пищевой промышленности. С. Орджоникидзе, который пытался защитить своих подчиненных, был доведен еще в начале 1937 года до самоубийства. Микоян был другом Орджоникидзе, и младшего из своих пяти сыновей он назвал его именем. Выступая через двадцать лет на партийном собрании завода «Красный пролетарий», Микоян сам рассказал, что вскоре после смерти Орджоникидзе Сталин вызвал его к себе и сказал ему с угрозой: «История о том, как были расстреляны 26 бакинских комиссаров и только один из них — Микоян,— остался в живых, темна и запутанна. И ты, Анастас, не заставляй нас распутывать эту историю».

После такого предупреждения даже путь, избранный Серго, был сомнителен для Микояна, так как над ним все время висела угроза быть обвиненным в предательстве своих товарищей по Бакинской коммуне. И Микоян подчинился Сталину. На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) Микояну поручили возглавить комиссию, которая должна была решить участь Бухарина и Рыкова. Ее определение было кратким: арестовать, судить, расстрелять. Вместе с Маленковым, тогда еще даже не членом ЦК, Микоян выезжал осенью 1937 года в Армению для проведения чистки партийных и государственных органов от «врагов народа». Это была жестокая репрессивная кампания, в результате которой погибли сотни, а если учитывать и районные кадры, то тысячи ни в чем не повинных людей. Республиканская газета «Коммунист» в конце 1937 года писала:

«По указанию великого Сталина товарищ Микоян оказал громадную помощь большевикам Армении в разоблачении и выкорчевывании врагов армянского народа, пробравшихся к руководству и стремившихся отдать армянский народ в кабалу помещикам и капиталистам, презренных бандитов Амаруни, Гулояна, Акопова и других».

«Страстно ненавидя всех врагов социализма, тов. Микоян оказал огромную помощь армянскому народу и на основе указаний великого Сталина лично помог рабочим и крестьянам Армении разоблачить и разгромить подлых врагов, троцкистско-бухаринских, дашнакско-националистических шпионов, вредивших рабочей и крестьянской Армении».

«...Микоян, который по указанию великого Сталина выявил и вышвырнул заклятых врагов трудящихся троцкистов, дашнаков Амаруни, Акопова, Гулояна, Мугдуси и других мерзавцев».

Именно Микоян выступал от Политбюро ЦК на торжественном собрании актива Москвы, посвященном 20-летию органов ВЧК — ОГПУ — НКВД. Он поносил при этом «врагов народа», в число которых к этому времени попало уже большинство членов ЦК ВКП(б), и восхвалял «сталинского наркома» Ежова. «Учитесь,— говорил Микоян,— у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина. Он сумел проявить заботу к основному костяку работников НКВД, по-большевистски воспитать в духе Дзержинского, в духе нашей партии». Микоян даже воскликнул: «Славно поработало НКВД за это время!» Он имел в виду 1937 год.

Один из случайных участников этого заседания вспоминал через несколько десятилетий:

«Доклад читал Микоян, одетый в темную кавказскую рубашку с поясом. Слов я разобрать не мог, наверное, из-за того, что говорил он с сильным акцентом. Сталина в президиуме не было. Буденный появился с большим опозданием, и заседание было прервано овациями, какая-то женщина даже что-то прокричала. Потом снова вспыхнули овации — это Сталин возник в ложе — и не прекратились, пока он не скрылся. Но, пожалуй, самые бурные приветствия достались любимому «сталинскому наркому» Ежову. Ежов стоял потупившись — густая черная копна волос — и застенчиво улыбался, словно не был уверен, заслуживает ли он таких восторгов».

В то же время Микоян оказывал в ряде случаев материальную или иную помощь родственникам некоторых своих

арестованных товарищей или даже обещал «при первой возможности» посодействовать в их освобождении. Так, например, он не забыл о семье Аркадия Брайтмана, ответственного работника Наркомата финансов, которого знал еще по Баку. Сам Брайтман был расстрелян, и ему уже ничем помочь было нельзя. Но его жену и двух малолетних детей все же оставили в Москве, а не сослали, как многих других. После смерти Сталина Микоян устроил жену Брайтмана в один из подведомственных ему институтов и помог вернуться из ссылки ее сестре.

Недавно умерший маршал И. Х. Баграмян, прославившийся в годы Отечественной войны, в 1937 году учился в Академии Генерального штаба. В это время там свирепствовали доносы и поощрялась «сверхбдительность». Между тем в биографии Баграмяна был крайне опасный по тем временам пункт: в 1918—1921 годах он служил в Армянской армии (дашнаков), созданной тогда главным образом для защиты от возможной турецкой оккупации: не прошло еще трех лет со страшного преступления — уничтожения в Турции полутора миллионов армян. Позднее Баграмян вышел из Армянской армии и вступил в Красную Армию, а потом и в Коммунистическую партию. Но сейчас, в 1937 году, он со дня на день ждал ареста. По совету друзей Баграмян написал Микояну, и тот помог своему земляку. Баграмян не был арестован, а следствие, начатое против него, было прекращено.

Показательна в этом отношении и история А. В. Снегова, который подружился с Микояном еще в дни X съезда РКП(б). Оба они были тогда молодыми партийными работниками. Снегов был арестован в Ленинграде и после тяжелых пыток приговорен к расстрелу. Его «однодельцы» были уже почти все расстреляны. В это время пришло известие об аресте начальника Ленинградского управления НКВД Л. Заковского. Еще раньше был смещен со своего поста и Ежов. Через несколько дней Снегов был освобожден и получил справку о реабилитации. Он пошел в Смольный к Жданову и долго рассказывал ему о том, что происходило в недрах НКВД. Жданов был, видимо, осведомлен об этом больше Снегова. Он посоветовал последнему немедленно уезжать из Ленинграда и, если возможно, добиться партийной реабилитации. Снегов выехал в Москву. Здесь он обратился к А. А. Андрееву, который в эти месяцы возглавлял комиссию по расследованию деятельности Ежова. Снегов почти пять часов рассказывал Андрееву о том, что творилось в застенках Ленинградского НКВД. Однако и для Андреева все это было не слишком большой новостью, он в 1937—1938 годах активно участвовал во многих репрессивных кампаниях. Снегов сообщил о своем освобождении Молотову, который сухо принял это к сведению, а также Калинину, который осведомился: «Ну что, здорово попало? Зайдешь?» Микоян, которому позвонил Снегов, попросил его немедленно приехать и внимательно выслушал его рассказ. О расстреле Заковского Микоян сказал: «Одним мерзавцем стало меньше». Узнав о самоубийстве партийного работника М. Литвина, который был назначен на работу в НКВД, но через неделю застрелился, оставив записку, что не желает участвовать в истреблении кадров партии, Микоян выразил сожаление. Анастас Иванович не советовал Снегову идти в КПК. Он выдал ему и его жене путевки в санаторий, немало денег и рекомендовал уехать и отдохнуть. Но Снегов настаивал, и Микоян позвонил Шкирятову, чтобы тот побыстрее решил вопрос о Снегове. И Шкирятов «побеспокоился» об этом. Когда Снегов пришел в КПК, Шкирятов попросил его подождать немного в приемной. Не прошло и получаса, как в приемную вошли четверо сотрудников НКВД. У них был подписанный Берия ордер на арест Снегова. Шкирятов был доверенным человеком Берия, а последний помнил и ненавидел Снегова еще по работе в Закавказье в 1930—1931 годах.

Страшная машина сталинского террора уничтожила в 1937—1938 годах большую часть партийных, советских, военных и хозяйственных кадров высшего и среднего звена. Но страна не могла оставаться без руководства, и на место уничтоженных или отправленных в заключение людей приходили новые. Для многих это было время стремительного продвижения вверх. Показательна в этом отношении судьба А. Н. Косыгина. Скромный работник из системы потребительской кооперации в Сибири, Косыгин в 1930 году поступил в Ленинградский текстильный институт, который окончил в 1935 году. Его направили мастером цеха на фабрику им. А. И. Желябова. Но уже в 1937 году Косыгин был назначен директором Октябрьской прядильно-ткацкой фабрики, в 1938 году он стал заведовать промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома партии, и в этом же году его избрали председателем Ленгорисполкома. В этот период с ним познакомился Микоян. Молодой и энергичный Косыгин понравился Микояну. Когда на следующий год было решено создать общесоюзный Наркомат текстильной промышленности, Микоян сказал Сталину, что в Ленинграде есть энергичный руководитель, который хорошо знает текстильное производство. Сталин согласился с Микояном, и Косыгин был срочно вызван в Москву. По приезде на перроне Ленинградского вокзала Алексей Николаевич узнал, что он уже назначен наркомом текстильной промышленности СССР.

Микоян в годы войны

В 1939—1940 годах, как нарком внешней торговли, Микоян вел переговоры с немецкими экономическими делегациями и следил за аккуратным выполнением заключенных соглашений. Хотя сроки поставок немецкого оборудования срывались уже в 1940 году, поезда с продовольствием и сырьем шли из СССР в Германию едва ли не до 21 июня 1941 года.

Война решительно изменила положение и обязанности Микояна.

Еще перед войной, когда под контролем Микояна находились торговля, снабжение, производство товаров легкой и пищевой индустрии, он заявлял: «Мы можем сказать, что когда Красной Армии потребуются во время войны продукты питания, то она получит вдоволь сгущенное молоко, кофе и какао, мясные и куриные консервы, конфеты, варенье и еще многое другое, чем богата наша страна».

Конечно, снабжение Красной Армии в годы войны было не столь уж обильным, но в основном удовлетворительным. Сразу же после начала войны Микоян возглавил Комитет продовольственно-вещевого снабжения Красной Армии. В 1942 году Анастас Иванович был включен в Государственный Комитет Обороны (ГКО) — высший орган власти в стране на период войны. Заслуги Микояна в снабжении армии были столь бесспорны, что еще в 1943 году, в разгар войны, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вскоре после начала войны Микоян был включен в Совет по эвакуации, во главе которого был поставлен Н. М. Шверник. Этому Совету пришлось провести громадную работу по эвакуации в восточные и южные районы многих миллионов рабочих и служащих и тысяч промышленных предприятий. К началу 1943 года общее число эвакуированных составило около 25 миллионов человек. Когда Красная Армия, добившись перелома в войне, стала продвигаться на запад, Микоян вошел в Государственный комитет по восстановлению хозяйства освобожденных районов.

Мы должны здесь отметить, однако, не только заслуги Микояна в годы войны. Как член ГКО и Политбюро, Микоян должен нести ответственность за все решения, принятые или одобренные этими высшими партийными и государственными инстанциями. Речь идет, в частности, о выселении целых народностей с их национальной территории на Восток — в так называемые спецпоселения. В самом начале войны такая участь постигла немцев Поволжья, да и всех граждан СССР немецкой национальности. Затем были депортированы многие народности Северного Кавказа и татары из Крыма. В каждом случае вопрос о ликвидации той или иной национальной автономии и выселении целого народа Сталин выносил на утверждение Политбюро ЦК ВКП(б) и ГКО СССР. Справедливости ради надо отметить, что и в данном случае позиция Микояна, пусть и очень незначительно, но отличалась от позиции других членов советского руководства.

Еще в 1951 году в журнале «Социалистический вестник», который издавался группой меньшевиков-эмигрантов и считался одним из органов Социалистического интернационала, было опубликовано свидетельство некоего полковника Токаева, осетина по национальности, перебежавшего якобы на Запад в конце войны или сразу же после ее окончания. Он сообщил, что решение о ликвидации Чечено-Ингушской АССР было принято после обсуждения на совместном заседании Политбюро и ГКО 11 февраля 1943 года. На заседании прозвучало два мнения. Молотов, Жданов, Вознесенский и Андреев предложили ликвидировать Чечено-Ингушскую АССР и немедленно выселить всех чеченцев и ингушей с Северного Кавказа. Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили повременить с выселением до полного освобождения Северного Кавказа от немецкой ок-

купации. К этому мнению присоединился и Сталин. Лишь один Микоян, соглашаясь в принципе, что чеченцы и ингуши должны быть выселены, высказал опасение, что депортация повредит репутации СССР за границей.

Трудные послевоенные годы

После окончания войны Микоян продолжал оставаться заместителем Председателя Совета Министров СССР, одновременно занимая и пост министра внешней торговли. Кроме того, Микоян был вынужден решать и некоторые другие весьма «деликатные» вопросы. Именно ему было поручено разобраться в деле бывшего наркома авиационной промышленности Л. М. Кагановича. Не были, конечно, секретом для Микояна и репрессии против большой группы ленинградских руководителей, а также аресты в Москве бывших «ленинградцев» А. А. Кузнецова, М. Родионова, А. А. Вознесенского и председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского, нередко председательствовавшего на заседаниях Совета Министров СССР. Именно с Н. А. Вознесенским Микоян должен был согласовывать свои проблемы. Лишь в редких случаях они обращались к Сталину, который не любил участвовать в заседаниях Совета Министров СССР.

В 1949—1951 годах после конфликта с Югославией волна репрессий прокатилась по странам народной демократии. В период «пражской весны» в Чехословакии были опубликованы материалы, из которых следует, что именно Микоян вел от имени Сталина переговоры с К. Готвальдом, настаивая на отстранении и аресте Р. Сланского.

Репрессии еще раньше коснулись семьи самого Микояна. В конце войны среди детей ответственных работников произошла трагедия. Советский дипломат Уманский был назначен послом в Мексику. С ним должна была выехать из Москвы и вся семья. Однако сын министра авиационной промышленности А. Шахурина, влюбленный в дочь Уманского, запретил своей невесте эту поездку. Она отказалась его слушать, и тот застрелил ее и застрелился сам. Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что «кремлевские дети» играли в «правительство». Они выбирали наркомов или министров, у них был и свой глава правительства. Прокуратура СССР не нашла во всем этом состава преступления, но Сталин настоял на пересмотре дела. В результате двое детей Микояна — младший Серго и более старший Ваио были арестованы и сосланы. Они были в ссылке сравнительно недолго и вернулись вскоре после окончания войны. На одном из заседаний Политбюро Сталин неожиданно спросил Микояна: что делают его младшие сыновья? «Они учатся в школе»,— ответил Анастас. «Они заслужили право учиться в советской школе»,— произнес Сталин обычную для него банально-зловещую фразу.

Мы уже говорили выше о сталинских обедах или ужинах. После войны Сталин часто приглашал к себе на дачу членов Политбюро, некоторых министров и военных поужинать и посмотреть кино. Это была почти всегда чисто мужская компания. Жена Сталина покончила с собой еще в 1932 году, и он после этого уже не женился. Члены Политбюро приезжали к нему также без своих жен. Лишь иногда на этих вечерах присутствовала дочь Сталина — Светлана. Сталин часто заводил патефон, ставил пластинку и приглашал всех танцевать. Танцевали они плохо, но отказаться не могли, тем более, что иногда и сам Сталин начинал танцевать. Единственным человеком, у которого это хорошо получалось, был Микоян, но он под любую музыку исполнял какой-нибудь кавказский танец, похожий на лезгинку.

С 1951 года Сталин все реже и реже приглашал к себе Микояна. Его не вызывали даже на заседания Политбюро. На XIX съезде партии Микоян не был избран и в Президиум съезда. Конечно же, речь Микояна на этом съезде изобиловала восхвалениями в адрес Сталина. Микоян был избран в ЦК КПСС и стал членом расширенного состава Президиума ЦК. Но не вошел в более узкий состав Президиума ЦК. Сталин прямо на заседании Пленума обругал Молотова и Микояна и выразил им недоверие. Они защищались, но многие считали их теперь обреченными людьми. Это не мешало Микояну напряженно работать в Совете Министров СССР.

Микоян в 1953—1956 годах

Сразу же после смерти Сталина составы Президиума ЦК КПСС, Секретариата ЦК и Совета Министров СССР были резко сокращены. Анастас Иванович вновь обрел твердое положение в самых высших эшелонах советского и партийного руководства. В то время членов руководства в официальных сообщениях перечисляли не по алфавиту, а по месту в партийной иерархии. Хрущев стоял на пятом месте — после Маленкова, Молотова, Берия и Кагановича. Микоян занимал в этих списках восьмое место — после Ворошилова и Булганина.

Микоян воздержался, однако, от развернувшейся сразу после смерти Сталина борьбы за власть. Готовясь к аресту Берия, Хрущев посвятил в свой план Микояна в последний момент, уже перед заседанием Президиума ЦК. Но Микоян занял осторожную позицию и не спешил присоединиться к сговору. Позиция Микояна очень беспокоила Хрущева, и он поделился своими опасениями с Маленковым. Но отступать было нельзя, и они открыли заседание Президиума ЦК. Первым выступил Хрущев, подробно обосновал вопрос о необходимости отстранения Берия и выражения ему политического недоверия. После Хрущева выступил Булганин, потребовав удаления Берия из руководства. Все остальные участники заседания также поддержали Хрущева. Иначе выступил Микоян. Он согласился со многими обвинениями в адрес Берия, но тут же добавил, что Берия «учтет эту критику, что Берия не безнадежный человек, что в коллективе Берия может работать и что он может быть полезным».

После устранения Берия Микоян по всем основным вопросам поддерживал Хрущева. Он помог реабилитации и возвращению многих своих прежних друзей и сотрудников, некоторые из которых заняли ответственные посты в партийном и государственном аппарате. Он нередко встречался с родными тех своих прежних товарищей, которые были расстреляны. В 1954 году Микоян совершил поездку в Югославию, чтобы подготовить визит в эту страну советской партийно-правительственной делегации и соглашение о примирении.

Незадолго до XX съезда КПСС Хрущев предложил обсудить на съезде вопрос о преступлениях Сталина. Почти все члены Президиума ЦК были против. Микоян не поддержал Хрущева, но и не выступил против. Однако Хрущев вернулся к этому вопросу уже во время работы самого съезда. Он заявил, что обратится за решением к делегатам съезда. После трудных дискуссий с членами Президиума было решено, что Хрущев сделает доклад о Сталине на последнем заседании съезда, уже после выборов ЦК. Но еще раньше, за десять дней до того, как Хрущев прочитал свой знаменитый секретный доклад, именно Микоян неожиданно, но вполне определенно и остро поставил вопрос о злоупотреблении властью Сталина. «В течение примерно 20 лет,— сказал Микоян,— у нас фактически не было коллективного руководства, процветал культ личности». Микоян подверг критике многие ошибки Сталина во внешней политике и заявил, что «Краткий курс истории ВКП(б)» неудовлетворительно освещает историю партии и что много ошибок имеется в последней работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Микоян не только сказал несколько теплых слов в адрес Косиора и Антонова-Овсеенко, репрессированных и погибших в конце 30-х годов, но и в более общей форме заявил, что в СССР «нет еще настоящих марксистских трудов по истории гражданской войны и что многие партийные деятели времен гражданской войны были неправильно объявлены «врагами народа» и «вредителями». Большая речь Микояна сразу стала центральным событием съезда и вызвала оживленные комментарии международной прессы.

В своей книге «Великий поворот» бывший корреспондент итальянской коммунистической газеты «Унита» Дж. Боффа так описывал выступление Микояна:

«Микоян говорил страстно, быстро, наполовину глотая слова, как будто он боялся, что у него не хватит времени сказать все, что он хочет. Было очень трудно следить за его речью. Но даже немногих фраз в начале речи было достаточно, чтобы захватить общее внимание. Царило абсолютное молчание. Имя Сталина было упомянуто в его речи только один раз. Но критические замечания по адресу умершего вождя были почти свирепы в их категорической определенности. В предшествовавших речах не было ничего подобного этому решительному осуждению. Когда он кончил говорить, зал был охвачен возбуждением. Делегаты громко обменивались мнениями. Следующего оратора никто не слушал».

После XX съезда именно Микоян руководил формирова-